КРАСНАЯ НОВЬ

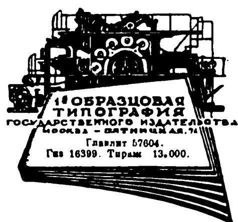
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4

АПРЕЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА – ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит 67604.
Гиз 16399. Тираж 13.000.

Гиперболоид инженера Гарина.

Книга вторая.

Сквозь оливиновый пояс.

Алексей Толстой.

1.

Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя на четвертом этаже, на открытой небольшой веранде. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу под звездами лежала пустынная асфальтовая площадь.

Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окурок сигары:

— Да. Нужно подумать.

— Пожалуйста, — ответил Генрих Вольф. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом, выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента (старое поколение), — стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу, под мешками глаз лежали красные пятна. Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружилось у лампочки, сидели на свеже проглаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей.

Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка в наколке, вся в светло-сером, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали в черной ночи горели окна высокого дома, синеватые звезды вокзальных фонарей, и угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, — ужас, давно прилегший в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы,

и высушил бескровное личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионами. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а — *масса*. Один, как один, — плохо выбритые, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью, они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти.

Фрау Рейхер вспоминала блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице и ленты и цветы. Германия летела к солнцу, в сияющую радость, вместе с веселой бородой Отто, вместе с сумасшедшей гордостью и надеждами. Скоро, скоро весь мир будет завоеван...

Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили двадцать миллионов человеческих трупов. И вот, — появились *массы*. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, не весело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.

На веранде незаметно появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм, массового производства. Появиться вечером у профессора в будничном платье — значило бы лишь подчеркнуть пренебрежение к издавним обычаям воскресного отдыха. И только. Зачем? День отдыха — день покоя после шести дней труда и перед новыми шестью днями. В Москве Хлынов посмеивался над воскресными обычаями немцев. Здесь он понял, что только большая культура могла создать эту еженедельную ванну покоя, где человек распрямляет усталые члены, — этот однообразный ритм воли.

Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Европе нынешних дней, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свеже выглаженной скатерти, предложенной сигарой и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими шиберскими излишествами. В будни, от семи утра до семи вечера, профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сигары». Уходя после этих бесед, Хлынов чувствовал себя вымытым в горном воздухе.

— Да, надо подумать, — опять сказал профессор, закутываясь дымом.

— Пожалуйста, — холодно-вежливо ответил Вольф.

Хлынов развернул парижскую — «Л'Энтрансижен», и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление в Вилль Давре» — увидел снимок, изображавший четырех людей, разрезанных на куски.

«На куски, так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:

«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой либо тепловым лучем огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника; это, как и надо было ожидать, — русский (следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы). В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше — все тайна, все загадочно. Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельных раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищены. Повидимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...».

2.

— Шах! — воскликнул профессор, взмахивая взятым конем. — Шах и мат. Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой колониальной политики.

— Реванш? — спросил Вольф.

— О, нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.

Профессор потрепал Хлынова по колену:

— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Четыре разрезанных француза? Что поделаешь, — победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм, — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отравляет кровь отвратительными токсинами. Они режут людей на куски, вешаются на подтяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни и к жёнщине. Оптимизм, — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все — к лучшему в этом лучшем из миров. Это укрепляет мускулы и вселяет в сердце неомраченное веселье. Не будь я злораден, — стоило бы написать книгу о торжестве оптимизма.

— Подведя под него базу молекулярной физики? — с усмешкой спросил Вольф.

Профессор гаркнул:

— Так точно. Переворот в истоках нашего сознания. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока; безнадежная печаль эллинской цивилизации; разнузданные страсти Рима среди дымящихся развалин городов; изуверство средних веков, каждый год ожидающих конца мира и страшного суда, и наш век, строющий картонные домики благополучия и с самозабвением глотающий нестерпимую чушь кинематографа, — на каком основании, я спрашиваю, построена эта чах-

лая психика царя природы? Основание — извечный пессимизм: убеждение, будто человечество живет на умирающей планете в лучах потухающего солнца, как предсмертная плесень... В прошлом было слишком жарко, слишком буйна растительность и прожорливы мезозавры (60 метров длины). Человеку было не выжить. Но вот юность земли отцвела, и в морщинах леденеющего шара последней вспышкой жизни закопошилось человечество.

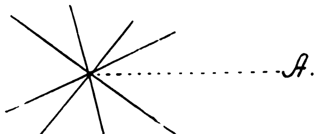
Как вам это нравится? Стоило плесени начинать жить? А тут еще с каждым годом леса редеют, реки высыхают, уголь и нефть подходят к концу. А человечество все плодится, чорт возьми! Вступают в силу законы больших чисел. И жизнь громовым голосом командует: Вперед, полным ходом, — в овраг старую таратайку, хватай за холку необъезженного жеребца, — шпорь, ходу, вперед!.. А где взять силы на это? Где их возьмешь, когда тысячелетним гвоздем засело в голове: «Впереди — красноватое солнце, закутанное морозным паром, звенит снег по ледяной земле, да ветер вечности посвистывает в развалинах отшумевших цивилизаций, — впереди смерть»...

И вот (профессор описал угольком сигары восьмерку, знак вечности в черном небе), — все это не так, позвольте вам заметить. Все это — пуфф, мираж, ложь... Молекулярная физика пришла на помощь одураченному человечеству. И всего-на-всего для этого нужно было постигнуть два принципа: радиоактивность и теорию квант...

— Кванты [1]... — Вольф, а за ним и Хлынов весело рассмеялись, — браво, браво, профессору!

— Так точно, чорт возьми, кванты (уголек сигары начертил бешеный зигзаг). — И вот теперь мы уже не мчимся в смерть и в лед, а двигаемся в бесконечном круговороте смен, — все выше, все головокружительней. И мы — не на умирающей планете, не при конце ее дней. Но земля — в расцвете сил, чудовищных и скрытых то грозная, то милостивая. Впереди — не ледяная ночь, — средневековое понятие. Впереди — миллионы катастроф и ледоходы весны и пышные золотые цивилизации. Гений человечества, не умирая, снова и снова семенами взойдет на прекрасной, зеленой земле...

Профессор засопел. Вольф опустил глаза. У Хлынова билось сердце. Фрау Рейхер из-за лампы старалась рассмотреть лицо сына, морщинистые губы ее дрожали. Профессор сбросил пепел с сигары и как бы начертил ею в воздухе огненные линии...



[1]) Новейшая теория распространения света отдельными зарядами энергии, — квантами.

— В мировом пространстве в различных направлениях двигаются потоки энергии (в просторечии — лучи света), или потоки квант. Существуют точки, где эти потоки скрещиваются (точка А). Что происходит? Энергия становится все более и более плотной в этой точке, ибо в каждую секунду через точку А проходит все больше и больше квант. И вот, где-то в фокусе скрещения (точка А) *напряженность энергии* становится *матерьяльной*, — энергия у лотняется в материю. Рождается матерьяльная частица...

Хлынов и Вольф невольно подняли голову к черному небу, где редко одна от другой светило несколько звезд над Берлином.

— Мы не можем определить, не знаем качественного различия между энергией и материей, — его нет. Материя — одна из форм энергии. Итак, в пространстве возникает эта особая форма, — первый матерьяльный атом. К нему устремляются другие частицы материи, рожденные из света. Появляется туманность, начинает вращаться и сжиматься. Внутри ее образуется чудовищное давление и температура, должно быть, до миллиона градусов. Ведь одна туманность Андромеды больше всей нашей звездной вселенной. Вы представляете — какая чертовщина происходит там у нее, в центре? Там образуются таинственные металлы, чрезвычайно сложного атомного состава и большого удельного веса. Недавно открыли, что загадочный спутник Сириуса обладает удельным весом в двадцать тысяч раз тяжелее платины. А это всего только маленькое небесное тело.

Далее следует двойной процесс жизни небесного тела: охлаждение, — это извне, — и радиоактивный распад, — изнутри. Смерть и жизнь, — борьба. Тело умирает, леденеет, внутренние силы взрывают его, рождают к новой жизни. Вечный круговорот.

То же — и с нашей землей. Она была когда-то пылающей звездой. Погасла, застыла. И снова идет прогревание всей ее толщи радиоактивным распадом от оболочки к центру. И снова она будет звездой...

— Вы полагаете, что центр земли тверд и холоден? — спросил Хлынов.

— Температура центра земного шара должна быть равна *абсолютному нулю*, то-есть температуре мирового пространства, — 273 градуса ниже нуля по Цельсию.

— А вулканы?

— Между земной корой и этим холодным ядром лежит пояс кипящих металлов. Но как далеко зашло прогревание, — мы сейчас не знаем. Мы едва проникли на три-четыре километра, а это все равно, что царапина ногтем по апельсину. Было бы любопытно пробиться сквозь кипящий оливиновый пояс туда, к центру, к распадающимся металлам. Разрешить тайну распада.

Вот, друзья мои, база, которую я подвожу под оптимизм. Бесконечный круговорот жизни. Позади и впереди между катастрофами земли, — малыми и крупными, — лежат цивилизации древние и грядущие. Дух человеческий, порядка световой или электрической энергии, не исчезает, но снова и снова претворяется в материю.

3.

Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Энтрансижен».

— Профессор, вот этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел над Ковной. Задача пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уже невероятна.

— Какое это имеет отношение к разрезанным французам?

— Убийство в Вилль Давре совершено инфра-красными лучами.

При этих словах Вольф молча придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.

— Ах, опять эти лучи, — профессор сморщился, как от кислого, — повторяю вам — вздор, блеф, утки, запускаемые английским военным министерством.

— Аппарат инфра-красных лучей построен русским, я знаю этого человека, — ответил Хлынов, — это талантливый изобретатель и крупный преступник.

Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине: об его работах в Политехническом институте (где он с ним встретился в первый раз), о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.

— Свидетельство на-лицо, — Хлынов указал на фотографию, — это работа Гарина.

Вольф, открыв оба ряда крепких зубов, рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:

— Вы полагаете, что при помощи аппарата инфра-красных лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплавятся и глины и гранит. Очень очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы — можно пробраться глубоко... Виноват, виноват, — а гамма- и бета-лучи? Хотя, можно использовать свинец для защиты. Друг мой, вы меня чертовски взволновали...

До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, курил и развивал планы один удивительнее другого.

4.

Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел с ним рядом, засунув руку в карман брюк, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.

— Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль Давре? — спросил он.

— Да.

— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенебло» не может оказаться Гариным.

— Вы хотите сказать, что Шельга?.. Захватил аппарат?..

— Вот, именно...

— Мне это не приходило в голову... Да, это было бы очень не плохо.

— Я думаю, — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.

Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, — злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:

— Во всяком случае — все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.

— Я понимаю, понимаю.

— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо, — необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в России. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.

— Вы стараетесь меня оскорбить?

— Фу ты, чорт! Хотя — правда! — Хлынов чисто по-российски, — что сразу отметил Вольф, — двинул шляпу на сторону, почесал за ухом.— Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионов семь человек — можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производители машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. А мы — верхоконные. Хлеборобы... Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, что вы только натворите!..

— Германия никогда не примирится с унижением.

— Унижение, не понимаю. Подождите презирать, Вольф... Три миллиона безработных,—это унижение!.. Понимаю. Расхищение Америкой вашей промышленности — унижение!.. То, что вы сидите среди гор из непроданных товаров, как в Сахаре на мешках с золотом, без капли воды, — унижение!.. Но мечтать — наложить Франции или Англии!.. Не по адресу гнев!.. Мы не рыцари, не крестоносцы, — им пристало топорщиться, кровь за кровь — они этим хлеб добывали!..

— Вы — мужик, герр Хлынов.

— Вот, что верно, то верно, спасибо. Не так, чтобы мы, мужики, были уж очень хороши. Избы соломой кроем. Обманываем, ругаемся. По пьяному делу вывертываем оглоблю и по голове — тюк? Но — ничего себе, со сметкой. Подтягиваемся. Когда вас мертвой хваткой возьмет Америка, когда рванутся из фабричных ворот немцы под американские пулеметы... увидите, какие отличные ребята в богатырских шлемах встанут на восточной границе... Вперят глаза в страшные туманы грядущего... Нет, Вольф, мы все-таки народ хороший. Нас полюбить нужно, нас еще не любил никто. А что у нас портки рваные, заведем добрые штаны, в полоску. А вы знаете, — сейчас в каждом уездном городишке устраиваются в зимнее время доморощенные университеты, съезжаются из деревень Митюхи с Васюхами, Сашки с Машками. Хотят умными быть? А?

Вольф странно, раскосо, взглянул на Хлынова.

— Вольф, у вас, у немецкого народа, — сейчас один только друг... Запомните это... Вы — в кольце смертных врагов. И в одном месте — прорыв. Чорт знает куда прорыв! Ах, если бы каждый из вас понял, всей кожей почувствовал...

Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились крепким рукопожатием. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял медленно, катая между зубами погасшую сигару.

Вдруг окно в первом этаже распахнулось и Хлынов взволнованно высунулся:

— А!.. Вы еще здесь? Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану не скоро. Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд».

— Я еду с вами, — быстро сказал Вольф.

5.

На белой, слегка колеблющейся, шторе бегали тени листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листов платана перед окном.

Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору. Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки, — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.

Но вот крякал неподалеку автомобиль, или раздавались шаги по коридору, — Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь, перекатывая зрачки к окну. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.

Разбудила сестра-кармелитка, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды. Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки, после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло.

Его уже два раза допрашивал следователь, и Шельга через переводчика дал следующие показания:

«В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню».

«Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?»

«Их лица, — вся нижняя часть, — были закрыты платками».

«Вы защищались также и тростью?»

«Просто это был сучек, — я его подобрал в лесу».

«Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?»

«Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился».

«Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?»

«Значит — преступники приехали на автомобиле».

«Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?»

«Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег у меня с собой немного».

«Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?»

«По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках, или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами».

На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:

«Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России».

«Вы могли бы говорить со мной более откровенно?»

«Нет. Это не моя тайна».

На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность. Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Даврe», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке, подносимом к губам нежными руками сестры-кармелитки.

Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте, чтобы облегчить таинственную работу заживления изломанного, израненного тела.

6.

...Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шопотом:

— Шельга, сворачивайте. Сейчас будет поляна. Там...

Грузно тряхнувшись на шоссейной канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.

Под звездами лежала извилистая поляна. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.

Мотор выключен. Остро запахло травой. В стороне скал сонно плескался ручей, — над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем вглубь поляны.

Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монроз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.

— Ну, вылезайте же! — резко сказал Гарин.

Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его, как у собаки, блестел золотой зуб.

Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно, в кулачек, и заговорил с сильным английским акцентом:

— Если здесь готовится смертный приговор, — я протестую. Во имя права. Во имя человечности... Я протестую, как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.

Зоя стояла спиной к нему. Гарин открыл рот, глотнул ночной сырости:

— Убить вас я мог бы и там...

— Значит — выкуп?

— Нет.

— Участие в ваших... (Роллинг помотал котелком)... в ваших странных предприятиях?

— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб. Я говорил.

— Хорошо, — быстро ответил Роллинг, — завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваши предложения.

Зоя сказала негромко:

— Роллинг, не говорите глупостей.

— Мадемуазель, — Роллинг подскочил, котелок его свихнулся, — мадемуазель... Ваше неслыханное поведение!.. Предательство!.. Разврат!..

Так же тихо Зоя ответила:

— Ну вас к чорту. Говорите с Гариным.

Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Низко на свет нырнула ночная птица. Плескалась, бормотала вода в камнях...

—...но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель, — долетел резкий голос Роллинга...

. . . .

— Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь сон пробормотал Шельга и проснулся. Зрачки его были во весь глаз.

Перед ним на белом стульчике, — шляпа на коленях, — сидел Хлынов.

7.

— Не предугадал хода... Думать времени не было, — рассказывал Шельга, — сыграл такого дурака, что — ну.

— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга, — сказал Хлынов.

— Какой чорт я взял!.. Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле, — ощетинился двумя кольтами... Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом мистеру... Роллинг струсил, зашипел, зашуршал зубами. Наотрез отказался выходить из

машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гариным свернули ему руки... Долго возиться было некогда, — я вскочил за шоффера и — ходу...

— Когда вы были уже на поляне, и они совещались около дуба, — неужели вы не поняли?..

— Понял, что мое дело ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, — я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарина, с десятью визами... Аппарат его, — рукой взять, — в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..

— Ну, хорошо... Они сговорились...

— Роллинг подписал какую-то бумажку, — я хорошо видел. После этого — слышу, — он спросил на счет четвертого свидетеля, то-есть меня. Дело — пепел. Я — шаг вперед и говорю Зое Монроз:

«Сударыня, ни ваш Гарин, ни ваш Роллинг машиной править ночью не могут. Если меня сейчас убьют, — вы никуда не уедете, к утру все трое будете в стальных наручниках».

— Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя:

«Хорошо, я приму это к сведению».

— А до чего красива... Бесовка... Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как ни в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и, как птица, что-то проговорила по-английски. Гарин — мне:

«Товарищ Шельга, теперь — валяйте полный ход по шоссе на запад».

— Я присел перед радиатором... Вот где ошибка... У них только и была одна эта минута... Когда машина на ходу — они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо, — завожу машину... Вдруг, в темя, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только, — мелькнула перекошенная морда Роллинга... Сукин сын. Американец!.. Четыре пули в меня запустил... Потом, — открываю глаза, вот эта комната.

Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:

— Где может быть сейчас Роллинг?

— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Миллиарды лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или — яда в соуснике. Он меня, все-таки, пришьет, конечно...

— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.

— Товарищ дорогой, вы с ума сошли. Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.

8.

— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?

— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, — тут не один Гарин... Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.

Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на черных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.

— А то — предоставить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии — Роллинг и Гарин, — и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо... Здесь одни дрозды живут разумно. А человек?

Хлынов отвернулся от окна.

— Человек каменного века был значительнее, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Чорт знает, как это было почтенно... Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой чорт им летательные машины? Посадить бы франта с Капуцинского бульвара в пещеру, напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты д о д у м а л с я за эти сто тысяч лет?»... «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, все больше наслаждаюсь, господин пращур... Сижу в бархатном кресле, и передо мной по экрану бегут, бегут, бегут тени... И я — в сладкой предполовой дремоте. А вся остальная жизнь, — ну там — войны, бросание в города нарывного газа, затем — вечная борьба, извиняюсь, и противный труд, — все это — к одной цели: сесть с пикантной дамочкой в кресла и наслаждаться тенями»... «Ух ты! — сказал бы на это пращур, впиваясь во франта горящими глазами, — а мне нравится дууууумать, я вот сижу и уважаю мой мозг, — он гораздо замечательнее, чем даже у обезьяны».

Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:

— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Американские товары будут иметь свободное хождение по земле. Остатки человечества окончательно задремлют уже не в бархатных, а в золотопарчевых креслах. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда, — с повидлой и с маргарином, — на завтрак, и отварной картофель с солью к обеду. Такова плата за мозговой труд... И так будет, покуда мы не взорвем на всей земле пороховые склады, не утопим на глубине девяти тысяч метров в Тихом океане все оружие, Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга — бухгалтером в наркомфин... Разумеется, вы правы, Шельга, — нужно бороться... Что же, — я готов. Я все это продумал еще по дороге в Париж... Аппаратом Гарина должна владеть Россия...

— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга.

— С какого конца приступить к делу?

— С разведки, как полагается.

— В каком направлении?

— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если успеет построить, — тогда его трудно взять. Первое, — нужно узнать — где он строит аппараты.

— Понадобятся деньги.

— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Эта баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала на смерть. В ней вся пружина их махинации.

— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.

— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами. Она много еще крови прольет. А хороша, обольстительна, — берегитесь...

9.

Зоя Монроз вышла из круглой и низкой, в самом полу, ванной, подставила спину, — горничная накинула на нее мохнатый халат, — Зоя села на мраморную скамью, вся покрытая пузырьками морской воды.

Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная, Фернанда, осторожно вытирала, как драгоценности, ноги Зои, — надела чулки и белые, на плоской подошве, туфли.

— Белье, мадам?

Зоя лениво поднялась, — на нее надели почти несуществующее белье. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в широкую белую юбку и белый, морского покроя, пиджачек с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трехсоттонной яхты в Средиземном море.

— Грим, мадам?

— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на шканцы, иными словами, на палубу, где с теневой стороны на низком камышевом столике был накрыт завтрак, — кофе, поджаренный хлеб, масло во льду, креветки, фрукты.

Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем.

На выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчевыми, вышитыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.

Зоя вздохнула и принялась кушать.

Расставляя ноги, мягко подошел капитан, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Твердо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко, на одно ухо:

— С добрым утром, мадам Ламоль! (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)

Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до шелковых носок. Осталась удовлетворена:

— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь доложить, — курс — Норд-Вест-Вест, широта и долгота такие-то, на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через два часа.

— Садитесь, Янсен.

Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышевую банкетку. От завтрака отказался, — он ел уже в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе. Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно понемногу залилось краской, чашечка задрожала. Не отхлебнув, он поставил ее на скатерть:

— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.

— Как, — заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.

— Есть, на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.

— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?

— Да, мадам.

— Как это было интересно, должно быть! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?

Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргнули. Рот поджался. По лбу пошли складки.

— Ну?

— Я получил хорошее воспитание, мадам.

— Верю.

— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелойяльные поступки?

— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов. И все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой, скучной луже. Фу!

— Но, мадам...

— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...

— Есть.

— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камни.

— Есть, посадить яхту на камни...

— Вы серьезно это намерены сделать?

— Если приказываете...

Он взглянул на Зою. В глазах его была влага обиды и еще чего-то. Она потянулась и положила руку ему на белый рукав:

— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан. (У него сжались челюсти.) И кто все же способен на поступки, выходящие из пределов лойяльности, если они дают опьянение жизнью...

В это время на лакированной, сверкающей бронзою, лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:

— Время, мадам...

Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:

— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...

(Продолжение следует).

Разин Степан.

А. Чапыгин.

(Продолжение).

IV. К Астрахани.

На лесистом, среди Волги, острове Катерининском Разин собрал круг.

В круг пришли старый казак Иван Серебряков, седой усатый с двумя своими есаулами, статный казак донской Мишка Волоцкий, да есаул Разина Иван Черноярец — светло-русый кудряш, а за дьяка сел у камени матерого и плоского «с письмом» бородатый, весь в черных кольцах кудрей боярский сын Лазунка.

В сумраке летнем за островом плескались струги и боевые челны со стрельцами, да судовыми ярыжками в гребцах.

Круг ждал, когда заговорит атаман.

Разин сказал:

— Соколы! А не пришлось бы нам в обрат здыматься за стругами и хлебом, как шли к Самаре?

— Пошто, батько?

— Стругов мало — людей много.

— Лишних, батько пустим берегом.

— Тогда не глядел я — хватит ли пищали и пороху?.. помнить не лишне: с топором кто — не воин.

Сказал Черноярец:

— О пищали не пекись, батько! Имал я у Царицынского воеводы кузнечную снасть — то заедино приказал шарпать анбары с мушкетами и огнянные припасы.

— Добро! теперь, атаманы-соколы, изведаны мы через лазутчиков, что пущен из Астрахани воевода Беклемишев на трех стругах со стрельцы: повелено им от Москвы на море нас не пущать. Яицкие до сих мест в подмогу нам и на наш зов не вышли — хлеб надо взять из запасов воеводиных, на море в Яик продти — так где будем имать воеводу?

— У острова Пирушки — подале мало что отсель!

Волоцкий, играя саблей, вынимая ее и вкидывая в ножны, тоже сказал:

— У Пирушек, батько, сокрушим воеводу!

Молчал старый Серебряков, подергивая белые усы, потом, качнув решительно головой, сказал веско:

— У Пирушек Волга чиста, тот остров не затула от огня воеводы!

— Эй, Иван! то не сказ.

— Думай ты, батько Степан! я лишь одно знаю: Пирушки не гож для бою...

— Соколы! У Пирушек берега для бокового бою несподручны: круты, обвалисты; думаю я, дадим бой подале Пирушек, в Митюшке. Большие струги станут у горла потока на Волге, в хвосте — один за одним — челны с боем боковым пустим в поток... берега меж Митюшки и Волги поросли лесом, да челны переволокчи на Волгу не труд большой. Воевода к нашим стругам кинется, а от выхода потока в Волгу наши ему в тыл ударят из фальконетов и на взлет к бортам пойдут... Мы же будем бить воеводу в лоб — пушкари есть лихие, да и стрельцы воеводины шатки — то проведал я...

— Вот и дошел, так ладно, атаман, — ответил на слова Разина Серебряков. Другие еще молчали.

На бледном небе вышел из-за меловой горы бледный месяц — от белого сияния все стало призрачным: люди в рыжих шапках, в мутно малиновых кафтанах, их лица, усы и сабли на боку рядом с плетью в мутных очертаниях. Лишь один в черном распахнутом кафтане, в рыжей запорожской шапке, в желтеющем, как медь, зипуне был явно отчетливый, не дожидаясь ответа круга, он широко шагнул к берегу, отводя еловые лапы с душистой хвоей, подбоченился, встал у крутого берега — белая, как меловая, тускло светясь на плесах, перед ним лежала река.

Разин слышал общий голос круга за спиной.

— Батько! Дадим бой в Митюшке.

— Говори, батько!

И слышали не только люди — сонный лес, далекие берега, струги и челны голос человека в черном кафтане.

— Без стука, огней и песни итить Волгой!

Уключины, чтоб не скрипели, поливали водой, а по реке вслед длинному ряду стругов и челнов бежала глубокая серебряная полоса.

Встречные рыбаки, угребая к берегу, забросив лодки, ползли в кусты. В розовом от зари воздухе, колыхаясь, всхлипывали чайки, падали к воде бороздя крыльями и, поднявшись над стругами, вновь всхлипывали... Из встречных рыбаков лишь один столетний, серый, в сером челне тихонько шевелил веслом воду, таща бичеву с дорожкой. Старик курил, не выпуская из рта свою самодельную большую трубку, и лицо его было окутано облаком дыма...

Упрямый и грубый приятель князя воеводы Борятинского, принявший на веру слова своего друга — «что солдата, да стрельца боем по роже, по хребту пугать чем можно — то и лучше», облеченный верхними воеводами властью от царя, Беклемишев шел навстречу вольному Дону не таясь. Его матерщина и гневные окрики команды будили сонные еще берега. С берегов из заросли следили за ходом воеводиных стругов не мирные татаре — лазутчики. В кусту пошевелились две головы в островерхих шапках, взвизгнула тетива лука, и две стрелы сверкнули на Волгу.

— Царев шакал лает!

— Шаитан — урус яман!

По воде гулко неслись шлепанье весел и гул человеческого говора.

Приземистый, обросший бородой до самых глаз, в розовом — приказа Кузьмина — стрелецком кафтане, воевода стоял на носу струга, сам вглядываясь на поворотах в отмели и косы Волги.

— Эй, не посади струги на луду! [1]) — пригнувшись слышал, как дном корабля чертит по песку, кричал с матерщиной: — Сволочь! Воронью наеда ваши голо-о-вы!

В ответ ему за спиной бухнула пищаль, за ней другая. Пороховой дым пополз в бледном, душистом воздухе. Воевода повернулся и покатился на коротких ногах по палубе. Его плеть без разбора хлестала встречных по головам и плечам.

— В селезенку вас, сволочь! С кем бой?

— По татарве бьем, что в берегу сидит!

— Стрелы тюкают!

— Стрелов, — што оводов!

— Я вам покажу!

Воевода вернулся на нос струга, а выстрелы редкие бухали и дымили. Стуча тяжелыми сапогами, крепко подкованными, слегка хмельной, с цветным лоскутом начальника на шапке к воеводе подошел стрелецкий голова.

— Воевода-боярин! Чого делать? Стрельцы воруют — бьют из пищали по чаицам.

Воевода держал строгий вид. Через плечо глянул на высокого человека: высокие ростом злили воеводу. Голова не держал руки по бокам, а прятал за спиной и пригибался для слуху ниже.

— Бражник! А, в селезенку родню твою!

Воевода развернулся и хлестко тяпнул голову в ухо.

— Не знаешь, хмельной пес, что так их надо?—и еще раз приложил плотно красный кулак к уху стрельца. В бой по уху воевода клал всю силу, но голова не шатнулся, и, казалось, его большая башка на короткой прочной шее выдержит удар молота. Стрелецкий голова нагнулся, поднял сбитую шапку, отряхнув о полу шапку надел и пошел прочь, но сказал внятно:

---

[1]) Мель.

— Мотри, боярин! к бою рукой несвычен, да память иному дам.

— Голова! брякни его чорта?

— Хто кричит? Сказывай хто? Бунт зачинать! Не боюсь! Всех песьих детей перевешу вон на ту виселицу!

Воевода рукой с плетью показал на берег Волги, где на голой песчаной горе чернела высокая виселица.

— А чьими руками свесишь? — голос был одинокий, но на этот голос многие откликнулись смехом.

Воевода еще раз крикнул:

— Знайте-е! Всякого, хто беспритчинно разрядит пищаль, за ноги на шоглу [1]) струга.

Команда струга гребла и молчала. Воевода, стоя на носу струга, воззрясь на Волгу, сказал себе:

— Полаял Прозоровского, Ваньку, он же на зло дал мне воров, а не стрельцов! Ништо-о — в бою остынут...

Там, где поток Митюшка воровато юлил, уползая в кусты и мелкий ельник, Разин поставил впереди атаманский струг с флагом печати войска донского, сзади встали остальные. Раздалась команда:

— Челны в поток!

Челны убегали один за одним, казаки легко, бесшумно работали веслами. Люди молчали. Много челнов скользнуло в поток с Волги, чтоб другим концом потока быть снова на Волге под носом у воеводы.

И все молчали долго, только один раз отрывисто и громко раздалась команда Ивана Черноярца:

— Становь челны! Здынь фальконеты! Хватай мушкет — лазь на берег!

И еще:

— Переволакивай челны к Волге!

Шлепанье весел, ругань воеводы стали слышнее и слышнее

Слышна и его команда:

— Пушкари, в селезенку вас! Готовь пушки, прочисть запал и не воруйте противу великого государя-а!

Таща челны, казаки слышали громовой голос Разина:

— Стрельцы воеводины! Волю вам дам... Пошто в неволе нищете служить? Аль не прискучило быть век битыми? Пришла пора — мститесь над врагами начальниками вашими-и!

Впихивая челны в Волгу, боковая засада казаков из потока зычно грянула:

— Не-е-чай!

Отдельно, звонко, с гулом в берегах прозвенел голос есаула Черноярца:

---

[1]) Рея.

— Сарынь на взлет!

— Кру-у-ши!

Бухнули выстрелы фальконетов, вмахнулись, сверкая падающим серебром, весла, стукнули, вцепившись в борта стругов воеводиных, железные крючья и багры...

— Стрельцы! Воры-ы! Бойтесь бога и великого государя-а!..— взвыл дрогнувший голос воеводы.

В ответ тому голосу из розовой массы кафтанов послышались насмешки:

— Забыл матерщину, сволочь?!

— Нынь твоя плеть по тебе пойдет, брюхатой!

— Воры! Мать в перекрест вашу-у.

— Цапайся — аль не скрутим!

— Эй, голова! Спеленали-и, — подь, дай в зубы воеводе.

Выжидая ночи, струги Разина стоят на Волге, — три стрелецких воеводина струга в хвосте, на них ходят стрельцы и те, что в гребях были, разминают руки и плечи — обнимаются, борются. С головного воеводина струга на берег перекатили бочку водки — пять боченков с фряжским вином перенесли на атаманский струг. На берегу костры: казаки и стрельцы варят еду. Под жгучим солнцем толпа цветиста — голубые кафтаны стрельцов Лопухина, розовые приказа, Семена Кузьмина, смешались. К ним примешаны синие куртки, зипуны и красные штаны казаков в запорожских выцветших из красного в рыжее шапках. Прикрученный к одинокому сухому дереву, торчащему из берегового откоса, согнулся в голубых портках шелковых без рубахи воевода Беклемишев — его ограбили, избили, но он спокойно глядит на веселую толпу изменивших ему стрельцов.

Казаки кричат:

— А вот, стрельцы! Ужо наш батько выпьет да заправитца, мы вашему грудастому брюхану-воеводе суд дадим.

— На огоньке припекем!

— Дернем вон на ту виселицу, куда воеводы нашего брата, казака, вольного дергают.

У воеводы мохнатые, полные, как у бабы, груди. Казаки и стрельцы трясут, проходя, за груди воеводу, шутят:

— Подоить разе брюхана?

— Чорт от него — не молоко!

— А не ладно, что без атамана нельзя кончить?

— Мы б его, матершинника!

Воевода глядит смело: над ним взмахивают кулаки, сверкают сабли и бердыши, но лицо боярина неизменно. На голову выше самых высоких, подошел голова в распахнутом розовом кафтане.

— Петруша Мокеев — голова!

— Эй, голова, брызни воеводу за то, что тебя бил!

— Не, робята! Ежели тяпну, как он меня, то суда ему не будет: копать придетца.

— Закопаем — раз плюнуть!

— Дай-кось — поговорю ему.

Голова шагнул к воеводе, сказал:

— И дурак ты, воевода! Кабы не вдарил, умер бы на палубе струга — не сдался...

— Вор ты, Петруха, а не боярский сын!

— Пущай вор — дураками бит не буду!

— Пожди, будешь...

— Эх, а поди страшно помирать?

— Мне ништо не страшно — отыди, вор!

С атаманского струга над Волгой прозвенел голос есаула Черноярца:

— Товарыщи-и! Атаман дает вам пить ту, воеводину, водку-у...

— Вот-то ладно-о! — Спасибо-о! — Вертай бочку! — Сшибай дно, да не порушьте уторы! — Чого еще — я плотник! — Шукай чары, а то рубаши [1]).— Рубашами с бересты — во!

Стало садиться солнце, с песчаных долин к вечеру понесло к Волге теплым песком, с Волги отдавало прохладой и соленым. Песком засыпало тлеющие костры. Стрельцы и казаки, обнявшись, пошли по берегу, запели песни.

Высокий голова крепко выпил. Стрельцы подступили к нему:

— Петра! Ты хорош — ты с нами.

— Куды еще без вас?

— Голова-а, кажи силу!

— Нешто силен?

— Беда силен!

— Сила моя, робята, невелика, да на бочке пуще каждого высижу.

— Садись!

— Пошто сести даром? Вот сказ: ежели Яик или Астрахань: на што пойдем — заберем, то с вас боченок водки.

— Садись!

— Стой, с уговором — а ежли не высидишь?

— Сам вам два ставлю! Два боченка... чуете?

— Садись, Мокеев, голова!

— Сюды ба Чикмаза с Астрахани, тож ядрен!

— Чикмаз — стрелец из палачей, башку сшибать мастер.

— Сила Чикмаза невелика есть.

— Садись, голова! Яик наш будет, высидишь — водка твоя...

---

[1]) Свернутый из бересты или коры кулек.

В желтой от зари прохладе голова скинул запыленный кафтан, содрал с широких плеч кумачевую рубаху, обнажилось бронзовое богатырское тело.

Голова сел на торец бочки.

— Гляди, што бык! Бочка в землю пошла — чижел чорт?

— Эй, чур давай того, кто хлестче бьет!

Длиннорукий, рослый стрелец скинул кафтан, засучил рукава синей рубахи, взял березовый отвалок в сажень.

— Дуй коли!

Голова надул брюхо, стрелец изо всей силы ударил голову по брюху.

— Ай да боярской сын!

— Знать ел хлебушко, не одни калачи.

После первого удара голова сказал:

— Бей не ниже пупа, а то стану и самого тяпну!

Гулкий шлепок покатился эхом над водой.

— Дуй еще!

— Сколь бить, товарыщи?

— Бей пять!

— Мало, ядрен — бей десять!

Голова надулся и выдержал, сидя на бочке верхом, десять ударов. Одеваясь и слушая затихающие отзвуки ударов на воде, сказал:

— Проиграли водку!

— Проиграли — молодец голова!

— Атаман!

На берег из челна сошли Разин с Черноярцем, стрельцы сняли шапки, казаки поклонились.

— Что за бой у вас?

— Голова сел на бочку.

— Играли, батько!

— Проиграли — высидел бес!

Разин подошел, потрогал руки и грудь головы, спросил:

— Много, поди, Петра, можешь вытянуть? Руки — железо.

— Да, вот, атаман, — почитай что один, с малой помогой, с луды струг ворочал.

— Добро! А силу береги — такие нам гожи... Сила, это — клад. Эй, стрельцы! Как будем судить вашего воеводу?

— Башку ему, что кочету, под крыло!

— И ножичком эк, половчее...

Разин распахнул черный кафтан, уперт руки в бока:

— Накладите поближе огню: рожу воеводину хорошо не вижу.

Ближний костер разрыли, разожгли, раздули десятками ртов.

— Гори светло!

Сизый дым пополз по подгорью.

От выпитого вина Разин был весел, но не пьян, из-под рыжей шапки поблескивали, когда двигался атаман, седеющие кудри.

— Вот-то растопим на огне воеводин жир! — раздувая огонь, взвизгнул веселый голос.

Разин обернулся на голос, нахмурился, спросил:

— Кто кричит у огня?

— А вот казак!

— Стань сюда!

Стройный чернявый казак в синей куртке, в запыленных сапогах, серых от песку, вырос перед атаманом.

— Развяжите воеводу!

Разин перевел суровые глаза на казака:

— Ты хошь, чтоб воеводу жечь на огне?

— Хочу, атаман! Вишь, когда я в Самаре был, то тамошний такой же пузан воевода мою невесту ежедень сек...

— Этот воевода не самарский.

— Знаю, атаман! Да все ж воевода ен...

— Ты, казак, тот, что в ярыгах на кабаке жил?

— Ен я — атаман-батько! И листы твои на торгу роздал, и людей в казаки подговаривал...

Лицо атамана стало веселее.

— Добро! Дело хорошее худом не венчют, а невесту тебе все одно не взять, куда нам с бабами в походе? Но я тебе говорю — жив попаду на Самару, то и воеводу дойду и невесту твою тебе дам, а теперь слушай — ежели, как хочешь ты, мы из воеводы жир на огне спустим, то ему тут и конец! Я же хочу известить царя с боярами, что на море нас хошь не хошь — пустишь.,. теперь хочешь ли ты, Самаренин-казак, чтоб я тебя послал гонцом к воеводе Астраханскому? Сказываю, будет с этим воеводой так, как хочешь ты! не обессудь — ежели Астраханский воевода тебя на пытку возьмет, а потом повесит на надолбе [1]) у города.

Казак попятился и сбивчиво сказал:

— Атаман-батько, так-то мне не хотелось ба...

— Кого же послать гонцом? Стрельцов, взятых здесь, или казака в изветчики наладить? — Мне своих людей жаль! Молчишь? Иди прочь и не забегай лишним криком — берегись!

Казак быстро исчез.

— Гей, стрельцы Беклемишева, — что чинил над вами воевода?!

— Батько! Воевода бил нас плетью по чем ни попади.

— Убил кого?

— Убить? Грех сказать не убил, сек — то правда.

— Материл!

— Убивать воеводу не мыслю! По роже его вижу — смерти не боится, но вот, когда его вдосталь нахлещут плетью по боярским бокам, то ему позор худче смерти и впредь знать будет, как других сечь, и терпеть легко ли тот бой?

---

[1]) Частокол.

— Стрельцы! Берите у казаков плети, бейте воеводу по чем любо — глаз не выбейте, жива оставьте и в кафтанишко его, что худче, оденьте, да сухарей в дорогу суньте, чтоб не издох с голоду — пущай идет, доведет в Астрахани, как хорошо нас на море не пущать!

— Вот правда!

— Батько! Так ладнее всего.

— Эй, плети, казаки, дай!

Разин с Черноярцем уплыли на струг.

На песке мутно-желтом при луне, черный, от пят до головы в крови, лежал воевода, скрипел зубами, но не стонал. По берегу также бродили пьяные стрельцы с казаками в обнимку — никто больше не обращал внимания на воеводу — рядом с воеводой валялся худой стрелецкий кафтан.

Воевода щупал поясницу, бормотал:

— Сатана! Тяпнул плетью, кажись, перешиб становой столб? Вор, а не голова, боярской сын — чорт!

У самой Волги ногами к челну, рыжея шапкой, длинная, тонкая, пошевелилась фигура казака. Воевода думал:

«Ужли убьют? Вишь окаянный ждет, когда уйдут все».

Над играющей месяцем, с гривками кружащих около камней Волгой раздался знакомый казакам голос:

— Не-е-чай! Струги налажены, гей, в ход!

Люди, голубея, алея кафтанами, синея куртками, задвигали челны в Волгу. Берег затих, лишь по-прежнему рыжея шапкой у челна лежал казак. Поднявшись на ноги, воевода пошатнулся, застонал, кое-как накинул на голые плечи кафтан, побрел не оглядываясь, придерживая кафтан левой рукой, правой махая, чтоб легче итти. Почувствовал боярин страх смерти, избитые в рубцах голые ноги задвигались сколь силы — спешно, услыхал за собой шаги; не успел подумать, как правую руку его прожгло будто огнем — за воеводой стоял казак в синей куртке, в руке казака блестел чекан [1]).

— Сволочь! Молись, что атаман спустил, я б те передал поклон родне на тот свет.

Из руки воеводы лилась кровь, он, шатаясь, сказал:

— Вишь, казак — я нагой...

— Нагой да живой — то дороже всего — пес!

Казак повернул к челну и исчез на Волге. На стругах гремело железо, подымали якоря.

Воевода сел на камень в густую тень, упавшую под гору полосой. От того ли, что боярин был унижен и избит до жгучей боли, что привязанный к дереву каялся про себя, дожидаясь смерти, и потому не ругался,

---

[1]) Сталь ной острый молоток на длинной рукоятке, принадлежность военачальника и атамана.

стараясь не изменить лица. У дерева вспомнилось ему — как и где обижал он многих, а когда били его, то мелькнула мысль о какой-то иной холопьей правде... и теперь отпущенный казаками воевода не злился, но больше и больше радовался жизни. Что рука ноет, кровоточит, то и это выкуп за чудо — «жив он!».

«Едино лишь — в Астрахань, снесут ли ноги? Кровь долит, мясо ноет все... не загноилось бы? Нет вишь сырой овчины, а то ништо... жив — слава тебе, создателю!»

Зубами и не битой рукой боярин оторвал кусок полы кафтана, засыпал рану песком, окрутил тряпкой. Все еще боясь за жизнь, оглянулся на Волгу. Струги ушли. В светлеющем от месяца воздухе где-то очень далеко звенели голоса, как будто певшие песню. На серебристой, водной ширине чернея плыли двое убитых, дальше еще и еще...

Левой рукой боярин перекрестился:

— Чур! чур!

Он не любил покойников и утопленников. Отвернулся, глянул на гору.

«Туды итти?» — И тогда увидал, что сидел в тени виселицы. Виселица на песчаном сгорке голая, без веревок — веревки воровали татаре на кодолы для лошадей. Вид виселицы напомнил воеводе о крестном целовании царю на верность, он подумал:

«Холопьей правды быть не должно! Мы, бояре, — холопи великого государя... черный народ закупной ли, тяглой, наш с животом — холоп! — пошарил рукой в кармане кафтана, ущупал жесткое, вспомнил, что в дорогу даны сухари, сунул сухарь в рот и не мог жевать — болела шея, мускулы челюстей, выплюнул сухарь, медленно встал, укрепился на ногах, его шатало, подумал: — Ой, битой воевода! Тут не дально место — была рыбацка хижа, ежели не зорила ее татарва? А ну, — на счастье цел, так рыбак до города в челну упихнет?»

V. Яик-городок.

«От царя-государя и великого князя всеа Русии Михаила Феодоровича на Яик-реку строителю купчине Михаилу Гурьеву и работным людем всем:

На реке на Яике устроить город каменной мерою четырехсот сажен, кроме башен. Четырехугольной, чтоб всякая стена была по сту сажен в пряслах между башнями. По углом сделать четыре башни, да в стенах меж башен поровну — по пятидесяти сажен. Да в двух башнях быти двоим воротам, а сделати тот каменной город и в ширину и в толщину с зубцами, как Астраханской каменной город. Стену городовую сделать в толщину полторы сажени, а в вышину и с зубцами четырех сажен, а зубцы по стене делать в одну сажень, чтоб из тех башен в приход воинских людей можно было очищать на все стороны. А ров сделать около того города — копати новой и со всех сторон от Яика-реки, по Яик-реку

сделать надолбы крепкие, а где был плетень заплетен у старого города, там сделать обруб — против того, как сделан в Астрахани. А на той проезжей башне Яика-города сделать церковь шатрову во имя спаса нерукотворного, да в верхних приделах апостола Петра и Павла, а башни наугольные сделать круглые...»

В рытом ночью, бурдюжном [1]) городе поместились Разин с есаулами — землянки выкопаны на берегу моря вдали от Яика, чтоб видеть струги и челны. Разин, уперев ноги в сапогах с подковами в потухший огонь, полулежит на ковре. Справа перед глазами атамана шипит от порывов волн и ветра с моря, как несжатая, спелая нива — камыш. Слева на горе видно в оконце синеют верхи стенных башен городка. Ковер под Разиным накинут на земляную подушку — плечи атамана упираются на выступ, с одной руки Разина боченок водки, с другой — на окованном медью сундуке горит восковая церковная свеча, перевитая блестками. Свеча воткнута в высокий серебряный шандан. За боченком Лазунка; боярский сын время от времени наливает в железную кружку водки.

Разин, не глядя, протягивает в сторону Лазунки большую руку, молча принимает налитое, пьет. По золотистому атласу зипуна атамана проползают вспышки оранжевым золотом от углей костра. На груди атамана темные пятна — брызги с усов и седеющей курчавой бороды. Лазунка иногда встает, шевелит угли костра, да лопаткой посыпает сырого песку, чтоб хозяин не сжег сапоги... Разин пьет не закусывая, полузакрыв глаза, лишь иногда остро, не мигая, глядит в далекий, морской простор. Казалось бы, что дремлет атаман, если б не протягивал руки к водке.

Слышен долгий, пронзительный свист за землянкой из оврага — там залег дозор. Боярский сын лезет из бурдюги. Разин, вскинув глазами, видит впереди часть фигуры — синий подол куртки, красные штаны и сапоги. Лазунка лезет обратно, говорит тихо:

— Батько! Должно, что наши языка уловили?

— Чую шаги... ведут...

Лазунка садится, прислушивается, но шагов не слышит — услыхал лишь, когда стали подходить близко, кто-то сказал:

— К атаману ведите!

Разин трогает ручку пистолета в кармане красных шаровар.

— Батько! Лазутчик из Яика.

— Подайте — кто таков?

Перед землянкой хрустит песок, взмахивают руки. Высокий, бородатый, согнувшись, пролезает в землянку. У лазутчика в казацкой одежде есаульской с перехватом плеть и ножны без сабли. Лицо худощавое,

[1]) Бурдюга — землянка.

загорелое и зоркие глаза. Разин, не шевелясь, колет глазами вошедшего. Руки лазутчика скручены за спиной.

— Гей, путы с него прочь!

Казак влезает в землянку, освобождает руки лазутчику.

— Поди на дозор, сокол! Ненадобен ты.

Казак уходит из бурдюги.

Атаман снова вскидывает глаза на пойманного, говорит:

— Сядь, Федор!

— Ой, батько атаман! Думал не упомнишь меня — раз видел, ой, и приглядист ты!..

— С чем пришел?

— С чем итти, батько? Без городовых ключей, да то нам не надо — ждем тебя сколь!

— Как мы зайдем в город?

— А и впрямь надо сести!

Гость сел, подогнув по-турецки ноги.

— Мыслю я, вот как тебя пустить, Степан Тимофеич... седни ночь, завтре день — жди, послезавтре Петру и Павлу, будет служба согласно праздника в воротной башне придела апостолам, а как ударят ко всенощной, ты тогда со своими поди к воротам городовым, да кафтанишки, что худче на плечах чтоб, и топоры за опояской — человек эко с тридцать — сорок, а протчим укажи залечь и как отопрут ворота — на свист выдти. Я же из казаков, кои ждут тебя на Яик, караул поставлю, заходить зачнете, они уйдут. Городовыми ключами ведает Ванька Яцын,— голова, а в город зайдете — голову того кончить надо: он стрельцов за царем держит, он же сыщиков, лазутчиков ведает и с вестьми к боярам он посылает... пить, есть, одеваться в чужое любит... я его убаю, подпою да сговорю плотников пустить крепить надолбы.

— Люблю, Федор, своих людей!

— А я? Даром что ли писал к тебе, Степан Тимофеич! Федька Сукнин на ветер слова не пустит!

— Добро! Гей, Лазунка, гость важный у нас — открой скрыню, есть ли фряжское? Тащи!

— Есть, атаман!

— Подай, брат! Ха, ха, ха! Так ты, Федор, лазутчик? Ха, ха, ха! — Ну, давай обнимемся? Я тут лежал и думу думал о море — теперь будем пить!

— Пир пировать, Степан Тимофеич, нынь мне невместно... ладом пить будем, как в город зайдешь... я же спущен на время и до света зари — ночью не пустят, а быть в городе скоро надобно — дела вишь много с головой Яцыном — хитрой бес и кабы не бражник был и не столь жадной на корм — угонил бы меня в Москву в пытошную...

— Не держу! Пей на дорогу и поспешай, ежели дело такое...

Позвонили железными кружками во здравие друг друга, обнялись, есаул добавил:

— Степан! Чтоб твои люди не полошили яицких стрельцов и боя с пищали, гику или свисту близ города не казали...

— Таем, Федор, к делу подходить я и люди мои свычны.

— Ну, дай бог! Прости.

Тощий, с худым желтым лицом, пьяный голова примерял развешенные на бревенчатой гладко струганной стене хозяйские кафтаны. Есаул Сукнин Федор сидел за большим столом под образами в углу. Хозяйка, нарядная казачка, с двумя дочерьми носили и ставили на стол кушанья.

— А не в обиде ли, Федор Васильев, что гость, голова, твою рухледь на себя пялит?

— Да полно, Иван Кузьмич! Да бери любой кафтанишко — дарю, бери, что по сердцу... ты хозяин в городовых делах и мы все тебе поклонны... ведаю честь твою от царя...

Голова, мотаясь на тонких ногах, сбросил с худых плеч на лавку кафтан осинового цвета, надел малиновый, сел за стол, разглаживая жидкую бородку одной рукой, другой залезая в крупитчатый пирог со щукой, жуя проговорил:

— Ем вот много, а ежа меня ест!

— Что ж так?

— От хорошей ежи не стало ни кожи, ни рожи!

— Да пошто? Ешь благословясь и на здоровье!

— Клисты извели... проезжий на Терки немчин дохтур дал вишь о том клисте цедулу, что она есть во мне.

Голова полез рукой в карман штанов, долго шарил, достал желтый, затасканный листок, подал хозяину, подавая прищурился пьяно и хитро.

— Чти-кось, воровской есаул Федько Сукнин!

— С чего такая кличка на мою голову? А честь я худо могу!

— Ой, мошенник! Говорить того не можно, да не боюсь, скажу: государевы сыщики докопались, будто не кто иной ты вору Стеньке Разину письмо писал, звал его прийти на Яик? Не можешь чести! Чти — дружбу веди со мной и дари, а я тебя не выдам.

— Не в чем выдавать, Иван Кузьмич... но водится часто: ни за что, ни про что выдают людей, — это мне ведомо, — пей!

— Пью и ем! Дело служилое мое выдать, — да вишь тут дружба наша... дело мое поневольное... отпишут... прикажут, но я за тебя! Чти-кось, ведаю, что грамотен, много не таись — чти, какую сулему мне иписал немчин?

Есаул медленно начал читать, а голова жадно ел и пил, иногда вставлял свои слова:

«Сказка мекленбургского доктора Ягануса Штерна бургомистру Яицкого штадта Ивану Яцыну: у бургомистра Яцына внутри есть глиста и у кого такая болезнь бывала и он-де разными лекарствами такую болезнь поморивши и на низ пругацею сганивал. Которые глисты бывали

по три и по четыре, по пяти аршин длиною, а у многих людей такая болезнь не бывает, а зачинается она от худой нутреной мокроты и растет подле самых кишек и бывает без мало, что не против кишек длиною, а шириною на перст и кормится от того, что человек ест и пьет».

— Через толмача сказку ту писал немчин, а что он молыл мне, того я ни чорта не понял... и вот ежели, Федор, то правда, так ведь мне не излечиться, а помереть от того нутреного гада? Только и надея одно, что немчин лжет!

Есаул Сукнин читал дальше:

«И для того, что она возле кишек близко бывает, запрет те жилы у человека, от которых жил печень, силы и кровь к себе принимает и от того бывает тем людям, у кого такая болезнь, что они тощи и бессильны бывают, хотя бы много пьют и едят».

Зазвонили в воротной башне ко всенощной. Сукнин крикнул:

— Бабы! Дайте огню к образам, служба в церкви идет.

Встал и закрестился. Встал и голова, пьяно махая длинной рукой, крестясь, сказал:

— А думаю я, Федько Сукнин, что мы, как бусурманы — под праздник пьем, едим, от того и болести — бога не помним?

— Пить, есть бог не претит, Иван Кузьмич! Материться за столом, да зло мыслить на друга своего — то грех.

Вошел стрелец, поклонился хозяину и голове, сказал:

— Там, Иван Кузьмич, работные люди, плотники лезут в город свечу поставить-де, да помолиться угодникам — пускать ли? Пускать — так ключи надоть!

— Гоните! Воров много круг города, какие там плотники?

— Ежели то плотники, Иван Кузьмич, пошто не пустить? Надолбы городовые погнили, крепить не лишне от приходу воинских людей опас, да и по городу есть поделки — мосты, в церкви тож... — сказал Сукнин.

— Сколь их там, стрелец?

— С тридесять человек, Иван Кузьмич!

— Пойдем, глянем... казакам твоим, Федько, — я малую веру даю — стрельцы, те иное, государеву службу несут справно, казаки твои воры!

— Неужто все казаки — воры? На-ко дохтурскую сказку!

— Давай, пойдем, стой! Ключи от надолбы в старом кафтане.

— Забери их, Иван Кузьмич!

Голова вынул из старого кафтана, сунул в новый ключи, распахнув полы скорлатного кафтана, пошел к воротной башне. Сукнин шел за ним и, если Яцын пошатывался, сдерживал услужливо под локоть.

В башне ширился и растекался в далекие просторы колокольный звон.

Яцын мотал головой, бодая воздух:

— Перепил голова! Должно перепил? Не гоже... глаза видят, язык мелет, ноги, руки чужие.

— Сатана попадет в этот Яик! Стена, рвы да надолбы высоченные — ворота с замком, а глянь — надолбы-т из дуба слажены в обхват бревно.

— Ужо как атаман? Ен у нас колдун, сабля, пуля не берет его...

— Должно, служба идет в церкви в воротной башне?

— Забыл, што ль? Петров день завтре!

— О, то попы поют, звонят, а широко тут звону — море, степи...

— Заведут в город — вчерась наши лазутчика поймали.

— Поймали, саблю, пистоль сняли с него, да отдали и его в Яик спустили.

— Должно так надо?

— Эх, а дуже таки, недоходя сюды — полковника, ляха Ружинского, расшибли.

— Углезнул вишь чорт в паузке с малыми стрельцами, большие к нам сошли, все астраханцы.

— Сколь, их стрельцов?

— С три ста досчитались и больши.

— Астраханцы.

— Да, годовальники.

— Тю... глянь, никак атаман?

— Ен!

— По походке он, по платью не он?

— Ен! И Черноярец тож в худом кафтане.

— Гляди! а есаулы все — тож в кафтанишках без оружья, едино лишь топоры...

— Ни гунь! молчи... атаман наказал не разговаривать.

Разин подошел к лежащим в кустах, сказал:

— Соколы! чую говор — не давайте голоса, закопайтесь глубже, свистнем — не дремлите — кидайтесь с пищалью к воротам города.

— Чуем, батько!

Разин с есаулами пошел в гору. Перед входом в город бревенчатый мост, за мостом дубовый частокол, в нем прочные ворота с засовами и замком снутри.

Подошли к частоколу вплотную, сняли шапки.

— Гей, добрые люди! яицкие милостивые державцы! стрельцы, казаки, горожане!

В воротной башне из окна караульной избы высунулась голова решеточного сторожа:

— Чого вам, гольцы?

— А помолиться ба нам, добрый человек, свечу поставить Петру да Павлу! хрестьяне мы и божий праздник завтре.

К словам Разина пристал Черноярец:

— Разбило нас в паузке! сколь дней море носило, света не видели — в Терки вишь наладились...

Сторож, благо ему было время, пошутил над Черноярцем:

— Эх, парень! и рожа у тебя разбойная, а наши бабы разбойников охочи, приодеть тебя — беда, всех девок с ума сведешь, а глазищи — пра разбойник! в Терки плыли грабить, аль кусочничать?

— Пошто, милый, кусочничать! плотники мы — работные люди!

— По рожам не работные, а разбойные, да ладно — голову стрелецкого упрежу — он хозяин, ежели пустит, четом вас много?

— С тридцать голов наберетца!

Окно задвинулось. Прошло не мало времени. С моря к вечеру гуще шли сумраки по низинам, но город до половины стенных башен еще светился в зареве меркнувшего дня...

Завизжали городские ворота, звякнуло железо — к надолбе подошел в темно-красном сам голова. Шапка на затылок сдвинута стрелецкая, опушенная бобром. Казаки сквозь пролеты меж столбами заметили, что голова шатается, глаза пьяны и сонны, сказал:

— Чого ищете, гольцы?

Пьяные глаза уперлись в толпу из-за надолбы подозрительно; за столбами мотались головы без шапок.

— Батюшко! ищем работы... в Черном Яру плотничье дело справили, крепили от воров сторожевые башни, да после дела на Терки удумали — море растрепало нас...

— Мы на Яике хлебом скудны — не довезут хлеба, голодать зачнете?

— Сколь вас?

— С тридцать голов и меньши, — кои сгибли в море, не чли!

Голова, рыгая и сопя, долго звенел ключами, попадая в замок, но никому не доверил дела — отпер. Хмель одолевал его, обычная подозрительность дремала в нем, не обернувшись, не оглядев идущих, толкнул железные створы ворот, прошел. Решеточный сторож с упрямым лицом стоял под воротами на ступени сторожевой избы, голова подошел, отдал сторожу ключи, сказал:

— Пропустишь гольцов — считай! не боле тридцати и ключи принеси к Сукнину в дом...

За воротами голову подхватил под локоть есаул Федор Сукнин, обернулся к караулу казаков у ворот, махнул рукой — знак сменяться. Голову, поддерживая, увел к себе в дом.

Разин, проходя надолбы, сказал:

— Задний от нас останется за стеной — свистнет.

— Чуем!

— Чикмаз зычно свистит!

На площади в помутневшем сумрачном воздухе еще двигалась призрачно толпа горожан, торгуясь около деревянных ларей. Проходили казаки в бараньих шапках, в синеющих балахонах, стрельцы с пищалью или бердышем на плече в светлых осинового цвета кафтанах.

В шатровой церкви торжественно звонили. Разинцы входили в город... Пропуская идущих вперед, Разин встал под сводами башни. Никто

из горожан не глядел на шедших в Яик, только сторож, получивший от головы ключи и как бы власть коменданта, стоял на прежнем месте с упрямым и в сумраке темным, будто серый гранит, плоским лицом, кричал:

— Эй, гольцы! сказано вам тридцать — у вас же пошто сорок петь?

— Не ведашь чет!

— По букварю церковному считаю до тыщи — лжоте!

— Худо, мужик, чтешь!

— Эй, кой разбойник от вас свистит?

— На то рот да губы!

— Пошто не свистать?

Люди теснились мимо сторожа все гуще — шли рваные кафтаны, потом заголубело, заалело в сумраке...

— Не пойму — мать их с печи — эй, кто свистит? черти!

— То Ивашко Кондырь дудит!

— С того света стал на другой ряд Яик зорить!

— И колоколо на тот грех дует — спаси бог, не слышно!

— Не тамашись, решеточный!

— Измена, я чай? — сторож забегал по ступеням лестницы: — караул! гей, козаки! куды их чорт снес? вот-то беда!

— Из одной лебеды — две беды!

— Не было б лебеды — быть без беды!..

— Да што вас, проклятых! будет ли край?

— Будет край, ворот не запирай!

Сторож сбежал со ступеней, толкаясь с идущими, лез за ворота. В город поехали на лошадях...

— Измена! спаси бог! измена!

От вспышек огня трубки в глазах сторожа синели, голубели, краснели пятна невиданной им до того одежды. Бескрайняя громада мрака вместе с движущимся людом шла на город — с моря ползли синие тучи, из туч сверкало желтым и мутно-палевым.

— А, вот я надолбу? ой, окаянные!

К надолбе по мосту шла новая толпа, впереди высокий, тугой и темный, звеня подковами сапог, широко шагал, курил. Перед ним сторож захлопнул надолбу, быстро юркнул вниз за опущенными засовами, но черный пнул бревенчатые ворота, пыхтя трубкой. Надолба с шумом распахнулась, сторожа ударило в темя, он отлетел, упал без крика, не доходя ворот. Голова, Мокеев Петр, колотя трубкой по прикладу пищали, не взглянул на убитого, перешагнул. Сзади его идущий стройный казак видел сторожа, видел, как он запирал надолбу. Казак нагнулся, поднял решеточного, вынес за стену, перекинул через перила моста в ров. Из рук сторожа на мост звеня упали ключи.

— Стой! целовальник самарской ключи ронил — я подбирал, эти от города, не с кабака, тож потберу?

Казак уложил тяжелые ключи в карман широких штанов, догнал идущих в город... Люди все шли, чернели, неся на плечах и таща оружие. На море с отзвуками гудело:

— Не-ча-й-й!..

И далеко со слабым звоном в берегах откликнулось:

— Не-е-ча-й! и-де-ет...

В синем просторе сверкнули огоньки, появились черные, крупные пятна стругов. Над городом — где только что звонили торжественно — завыл набат. Раздался голос, слышный за ворота и на площади:

— Гей, снять набатчика!

Вверх воротной башни забрякали подковы сапог, набат гукнул и смолк.

В город еще входили, кричали:

— Бурдюги ненадобны! нынь в городе..

— Залазь, бра-а-ты!

— Глянь! черти пробудились, болотные огни зажгли? По площади мелькали факелы.

— А может, то наши?

— Наши не в светлых кафтанах, то яицки стрельцы.

Светлые кафтаны, мелькая огнями, разворачивались, строились в ряды; тревожны были голоса светлых кафтанов.

— Где Яцын?

— У Сукнина, пьет!

— Пропил город! измена!

— В городе воры.

— Кличьте казаков и горожан, кто поклонен великому государю!

— Государевы-ы! занимай угловые ба-шни-и!

Ряды огней пылающими цепями протянулись к угловым башням.

— Дуй с пушек по городу от подошвенного и головного боя!

— Ждите ужо! — где голова?

— Сказано — пьет!

— Тащите — каков есть — эй, голову! Я-а-цына дайте на башню-у!

Голоса яицких стрельцов покрыл один, снова слышал тот голос город и струги у берега моря:

— Гой, соколы! у ворот учредить караул из наших — никого не впущать и не выпущать за город без заказного слова!

— Чу-е-ем, ба-а-тько-о!

—

В голубой расшитой шелками рубахе есаул Сукнин сидит за столом. Пьяный голова в дареном кафтане лежит на лавке, уткнув в шапку лицо.

— Убери, хозяйка, рыбьи кости, смени скатерть!

Скатерть переменили.

Сукнин прибавил:

— Долей вина в братину, баба, да поставь братину с медом только не с тем, коим гостя потчевала...

— Ужли еще мало вина?

— Не слышишь? сваты в город наехали!

— Наслушаться вас! ежедень у вас, бражников, свадьбы аль бо имянины.

— Пущай сегодня будет по-твоему — имянины... Разин Степан в город зашел.

Голова открыл широко глаза, сел на лавке.

— Федько! ты изменник, то я давно сведал... жди — сукин! Завтря с караулом налажу в Астрахань...

— Ой, Иван Кузьмич! ушибся поди — никак с печи пал? — Сукнин спрашивал с усмешкой.

— Спал я, не отколь не свалился... и все слушал за тобой — знаю! Стеньку Разина в город ждешь — пришла тебе пора!

— Скинь-ко с плеч мою рухледь, голова!

— Кафтан твой, Федько, я взял и не отдам — все едино по государеву указу заберут твои животы.

В сенях звякнула скоба дверей, задвигались ноги, четверо стрельцов заскочили в избу, один светил факелом.

— Голова! пошто в город воров пустил?

— Кто? воров? где?

— Беги, Яцын, на площадь! — укажи что зачинать?

— Наши сидят в угляных башнях!

Голова, как слепой, шарил на лавке шапку — его шапка и кафтан валялись на полу.

— Эй, что сидишь? не ждет время!

Яцын поднял пьяную голову.

— Робята! бери вон того вора.

— Кого?

— Федьку Сукнина! сукина вора.

— Хо, дурак!

— Тьфу ты чорт!

— Пойдем! наши ладят дуть по городу с пушек.

— А, так вы за воров? так-то меня слушаете и государю царю!..

Стрельцы уходили. Голова кричал, встав, топал ногой:

— Пошли изменники?!

Стрельцы ушли, Яцын обернулся к хозяину, грозя кулаком:

— Федько, быть тебе, брат, за караулом нынче...

Сукнин вылез из-за стола, перекрестился широко двуперстно на темные лики икон с пылавшими лампадами, шагнул к голове, взял за воротник дареного кафтана:

— Выпрягайся, Иван, из моей рухледи! помирать тебе в старом ладно...

Голова молчал и казалось не слыхал хозяина, глядел тупо, икал, силился вспомнить что-то необходимое. Он покорно дал с себя стащить красный кафтан. Сукнин поднял с полу одежу и шапку головы, натянул на него, пристегнул ножны без сабли.

— Поди, Кузьмич! углезнешь от сей жизни — дедку моему бей поклон. — И вывел стрельца. Вернулся скоро.

Круглолицая, тугая, как точеная, хозяйка стояла задом к печи, держа под крупными грудями голые руки. Глаза смеялись. Сукнин подошел к ней.

— Ну, и мед, баба, сварила! дай поцолую — ах, ты моя кованая!— Облапил жену сильными руками, стал целовать, громко чмокая.

— Просил какой — такой и сварила.

— С четырех кубков голова ошалел, до сей поры разума нет и пути не видит!

Есаульша засмеялась, толкнула мужа слегка от себя, сказала:

— Прилип, медовой? Ночью так не цолуешь, скорее все, да спать!

Стрельцы в зеленоватых кафтанах мелькали в свете факелов, теснились к башням. Разинцы учинили с ними перестрелку.

С факелом в руке, с бердышем в другой голова Мокеев Петр, распахнув розовый кафтан, кричал:

— Не прети им в башни лезть, пущай! волоки доски — ломай для, — лари-и!

На площади под дрожащим огнем факелов застучали топоры, с треском и скрипом гвоздей посыпались доски, валились под ноги стрельцов и казаков товары, никто из ломающих лари не подбирал смятого богатства, лишь какие-то фигуры, похожие на больших собак, мохнатые взвизжали и выли, ползая у ног разрушителей, вскрикивали женскими голосами:

— Мое-то добришко-о!

— Вот-те! вот животишки наши-и!

— Ой, пропали! ой, окаянные! — и в охабках таскали из-под ног стрельцов в цветном платье — от ларей, за хмурые дома — куски мяса, холст, материю, одежду.

Ворох досок и брусьев, натасканный, дыбился у темных, враждебных башен.

Голос Мокеева забубнил трубой:

— Держи огонь! — голова передал стрельцу факел, схватил под мышку бревно — торцом с размаху ткнул в двери башни — запертая плотно дубовая дверь вогнулась внутрь. — А вот-те еще!

Вторым ударом сорвал двери вместе со стойками, крикнул коротко и резко:

— Кидай доски в башню! запаливай их — дру-у-ги-и!

Стрельцы накидали досок внутрь подножия башен, подожгли — из амбразур подошвенного боя пошел дым.

Разом выявилась кирпичная стена башни, порыжела от огня — раздался залп из пушек вверху — сверкнули саженные зубцы стены.

— Товарыщи! плотно к стенам!

— Ни што, батько! в небо дуют, а мы их, как тараканов из щелей...— кричал Моксев. Двери другой башни также выломал — и в другой башне, в темноте, среди пестрых, мелких огней затрещало дерево, задымили амбразуры, широкий огонь разинул свой красный зев.

Разин хлопнул по спине Мокеева:

— Молодец, Петра!

Голова с факелом в руке глядел вверх.

— А ну еще, браты козаки, стрельцы, киньте огню!

В выломанных дверях башен жарче и жарче пылал огонь. Над городом, сверху взвыли голоса:

— Казаки! уберите огонь, сдаемси-и!..

И из другой башни также:

— Сдае-мси-и! браты-ы!

Мокеев сказал:

— У-гу! должно что припекло? стащите огонь баграми, бердышами — пущай дьявола сойдут.

Стрельцы в светлых кафтанах посыпали из башен — отряхивались, чихали, дышали жадно свежим воздухом.

— Эй, соколы! у правой башни накласть огню.

На голос Разина кинулись стрельцы в голубых и розовых кафтанах — держа в зубах факелы, таскали в кучу бревна и доски. Затрещал огонь — темная башня порыжела, оживилась.

— Ройте у огня яму!

Бердышами и где-то найденными лопатами рыли, — не далеко от огня зачернела яма

— Шире, глубже ройте! — гремел голос. — Крепите плаху.

Над ямой, с краю, хлупнуло длинное бревно, концом в яму поперек бревна проползла толстая плаха.

— Гей, Чикмаз! Астраханец!

— Тут я, батько!

Длиннорукий стрелец приказа Головленкова в малиновом кафтане подошел к плахе.

— Свычен рубить головы?

— Москва обучит — сек!

— Скидай кафтан, бери топор!

— Чую...

— Эй, вы, стрельцы яицкие, кто из вас идет к нам, а кто на тот свет хочет? — сказывайте.

К черной фигуре с упертыми в бока руками, мечущей зорким взглядом, подошел седой, бородатый стрелец, кинул шапку, склонил низко голову, ткнул к ногам атамана бердыш.

— Вот я — вольной ты орел! Молюсь тебе — спусти того, кто не хочет твоей воли в Астрахань.

— Видал я! Ты стрелял из башни?

— Стрелял, атаман! Я пушкарь...

— К нам не сойдешь?

— Стар я, дитя! И царю государю завсегда был поклонен и правду вашу не знаю... не верю в ее, да иные есть, кто не пойдет с вами — пусти того в Астрахань?

— Судьба! С тебя начнем — а ну — старика!

Вметнулись полы и рукава кафтанов, сверкнули зубы тут, там — старого стрельца подхватили, распластали на плахе. Чикмаз вмахнул топором. Дрыгнули ноги над ямой — стука тела никто не слыхал кроме атамана.

— Теперь черед голове!

Светлый над черной ямой все еще пьяный голова Яцын в удивлении развел тонкими руками:

— Кто меня судит? Сплю я, аль не...

— Не спишь! Будешь спать, — ответил Чикмаз. Легонько и ловко сверкнул топором, голова отлетела за яму, а светлая фигура скользнула под плаху.

Кинув оружие, ряд стрельцов в светлых кафтанах, потупив глаза, шел к яме...

Сапоги и колени Чикмаза взмокли от крови. Он набирал в широкую грудь воздуха и, глядя только в затылок сунутому на плаху — рубил.

— Прибавь огню! — крикнул грозный голос.

Притихший, расыпавшийся под синевато-черным небом вметнулся огонь, и снова ожила рыжая стена башни — по ней задвигались тени людей... К черной, растопыренной в локтях фигуре, в запорожской сдвинутой на затылок шапке, в зипуне, отливающем под кафтаном медью, жутко было приступиться — хмуро худощавое лицо, опушенное курчавой с серебристым отблеском бородой, но один из казаков с упрямым неподвижным взором, с глубоким шрамом на лбу, синея зипуном, подошел, кинул к ногам шапку, сказал громко и грубо:

— Батько! Я тебе довольно служил, а ты не жалостлив — не зришь, сколь ты крови в яму излил?

Разин сверкнул глазами.

— Ты кто?

— А Федько Шпынь! Упомни — на Самаре в кабаке угощал, с мурзой к тебе пригонил я — упредить...

— Помню! Пошто лезешь?

— Сказываю — стрельцов жаль!

— Ведаю я — кого жалеть и когда — ты чтоб не заскочил иной раз — гей, на плаху казака!

В дюжих, покорных руках затрещал синий зипун, сверкнула вышибленная из ножен сабля. К Разину придвинулись, мотнулись русые

кудри Черноярца, забелели усы и обнаженная голова есаула Серебрякова.

— Батько! Не секи казака.

— Я тож прошу, Степан Тимофеевич!

— Чикмаз! Жди — что скажут есаулы?

— Батько! Ты брат названный — Васьки Уса?

— А, ну — Иван! Брат, клялись...

— Казак Федько любой Ваське, и Васька Ус — удалой казак...

— То знаю!

— Васька Ус загорюет по Федьке тому и кто знает — зло помыслит?..

— Злых помыслов на себя не боюсь! А ты, белой сокол, что молыш?

— Молвлю, батько, вот: много видал я на веку удалых — кто ни огня, ни воды, ни петли не боится, кто на бой идет без думы о себе, о голове своей, так Федько Шпынь, Степан Тимофеич, из тех людей — первой! — сказал Серебряков.

Разин опустил голову. Казаки, стрельцы и есаулы, кто знал привычку атамана, ждали — двинет ли он на голове шапку, тогда конец Федьке. Разин сказал:

— Шапка моя съехала на затылок, и шевелить ее некуда! — отдайте казаку зипун и саблю — пущай идет.

Атаман поднял голову. Отпущенный, стараясь не глядеть на атамана, взял с земли свою шапку и спокойно, переваливаясь, зашагал в темноту.

В городе среди стрельцов у Шпыня были родственники...

Вот уж с моря на город побежали по небу заревые клочья облаков.

Чикмаз опустил топор, огляделся, размял плечи, подумал:

— Эх, там еще голов много! — но увидал, что стрельцы в осиновых кафтанах с такими же зеленоватыми лицами машут шапками, кричат:

— Сдаемси атаману-у!

— С вами идем!

Чикмаз, оглядывая лезвее топора, сказал себе:

— Сдались? То ладно! Топор рвет — затупился, а думал я валить сто семьдесят первого и еще...

В пятнах крови на лице и руках Разин с есаулами пришел в гости к Федору Сукнину.

Есаул расцеловал атамана.

— Вот нынче, батько Степан, будем пировать честь честью и не в бурдюге, в избе.

— Добро, Федор, дело сделано, и, как писал ты, «отсель за зипуном пойдем в море».

— Хозяйка! — крикнул Сукнин, — ставь на стол, что лучше, ну гости жданные — садись!

— Умыться бы? — сказал Серебряков, и за ним, кроме Разина, все потянулись в сени к рукомойнику. Хозяйские дочери принесли гостям шитые гарусом ширинки. В сенях просторных, с пятнами солнца на желтых стенах пахло медом, солодом и вяленой рыбой.

— Широко и сыто живет Федор! — проворчал, сопя и отдуваясь от воды, Серебряков. Умытые со свежими лицами вернулись к столу. Нарядная веселая хозяйка вертелась около стола, ставила кушанья когда сели гости, разостлала на колени ширинки.

— Кафтаны не замараете! — Разину особо поклонилась, низко пригибая голову на красивой шее.

Разин встал, обнял и поцеловал хозяйку.

— Наши кафтаны, жонка, таковские! — взглянул на Сукнина: — она у тебя, Федор, — золотая...

— Кованая, Степан Тимофеевич, сбита хорошо, да не знаю, из чего сбита? — бесценная.

На столе сверкали серебряные братины, кубки, яндовые, ковши золоченые — появились блюда с заливной рыбой, с мясом и дичью.

— Эх, давно за таким добром не сидел, а сидел чуть ли не в младости, да на Москве в стрелецкой — ой, время, где-то все оно? — по лицу атамана замутнела грусть...

— Ну, да будет, Степан Тимофеич, старое кинем, новое зачинать пора, а нынче — пьем!

— Выпьем, Федор Васильич, мало видимся — и свидемся — не всегда вместях пируем, пьем, хозяин! за здоровье, эй, есаулы!

Весь круг осушил ковши с водкой.

От гладкой струганой двери избой побежали светлые пятна — в избу зашел высокий старик Рудаков с жесткими, еще крепкими руками, сухой, с глазами зоркими как у ястреба.

— Эй, соколы, место деду! — есаулы подвинулись на скамье.

— Судьба! Радость мне — с кем пить довелось? Батьку моего Тимошу помнит...

— Не забываю его, атаман, и сколь мы вместях гуляли с саблей, с водкой, с люлькой в руках — не счесть, а удалой был и телом крепок, на Москву скрегчал зубами — ну, за здоровье орла от сокола!

— За здоровье, Григорий, грозен и я на Москву, да и Москва Разей без ведома не кидает, и иду я воздать поминки отцу... сжили бояре со свету старика на пиру отравой, брата Ивана засекли на дыбе на моих же очах и вытолкнули из пытошной замест человека — ком мяса! — атаман стукнул по столу кулаком, сверкнул грозно глазами. — Может статься, возьмут и меня, дешево не дамся я, и память обо мне покажет народу путь — как ломать рога воеводам. Кому на Руси ладно, вольготно живется? Большим боярам, что ежедень у царя, как домашние псы, руку лижут... вот он голова, боярской сын, а пущай скажет — лгу ли?

Мокеев забубнил могучим голосом:

— Берут в вечные стрельцы детей боярских — и одежа и милость царская им, как нищим, а чуть бой где-либо, поспевай — конно, оружно и за это одна матерщина тебе от воевод, и часом бой по роже... с доводом к царю кинешься, через больших бояр не пройдешь, они же оговорят и ежели был чин какой на тебе, снимут и бьют в батоги: «за то дескать, что государевой милостью недоволен».

Голова легонько тронул кулаком по столу, заплясала вся посуда пустая и с водкой.

— Да ну их к сатане, бояр и царскую милость! — противу больших бояр я, Мокеев Петруха, рад голову скласть.

— Выпьем же, Петра?!

— Выпьем, батько!

Стало жарко — избу распахнули дверью в сени. В избу вошел стройный казак в нарядной синей куртке, черноусый, помолился на бледный огонь лампад, кланяясь атаману, сказал, махая шапкой:

— Честь и место кругу с батькой атаманом!

Хмельной Разин откинулся на стену, хмуро глядя, спросил:

— Опять ты, Самаренин? Заскочил спуста, или дело?

— Перво, батько, не кому как тебе ведать ключи от города! — подошел, положил на стол ключи. — Сторожа подобрал, ключи не в ров кидать.

— То добро! За сметку твою еще скажу — слово мое есть... живой верну на Самару — невесту твою сыщу и дам! Нынче же пригляди в городу какая баба заботна по красивом казаке... ха, ха!

— Еще, батько, вот, народ боевой к кабаку лезет — я не дал до твоего сказу шевелить хмельное... ждут!

— То ладно! Дай им, парень, кабак... пропойную казну учти, и ежели нет целовальника — отчитайся, сколь денег?.. коли же целовальник, бери того за караул, пущай он отчитается... деньги занадобятся на корм войску.

— Будет справлено, батько!

— Налейте казаку Самаренину вина!

Налили кубок. Казак выпил не полный, сказал, беря закуски:

— Еще, батько, слово есть!

— Ну, ну, толкуй — что?

— Попы для ради праздника просятся в воротную башню службу вести Петру-Павлу в приделе — пущать ли?

— Ха, ха, ха! Самаренин мой город к рукам прибрал — и то добро! Никто о хозяйстве опричь его не думает... — атаман загреб рукой над столом широко воздух, — пусти попов! Идет к ним народ поклоны бить, да богу верить — пущай идет! Не мне перечить, кто во что верит — лишь бы справляли и мою службу — пущай бьют поклоны кому хотят — я изверился, но молится мой народ, и я иной раз — крещусь. Пусти, парень, попов!

— И я скажу, Степан батько, перечить тут нечему... — вставил слово Сукнин, наливая в ковши водку.

— Поди, сокол, верши, как сговорено нами.

Казак ушел.

— Пили, ели — плясать надо, душу отряхнуть, — сказал атаман.

— То можно!

Федор Сукнин вылез из-за стола, подошел, пошарил за старинным шкапом, вытащил пыльную домру, провел смуглой рукой по струнам, стирая пыль, попятился на лавку и запел, позванивая домрой:

Кабы мне, младой, ворона коня —
То бы вольная казачка была,
Плясала бы, скакала по лужкам,
По зеленым по дубравушкам!

Черноярец пошел плясать. Солнце в узкие окна пробивалось пыльно-золотистыми полосами, и, когда в пляске кудряш приседал, солнце особенно вспыхивало в шелке его волос. Есаул незаметно, почти беззвучно скользил — дрожала изба от тяжести тела, но топота ног не было слышно, лишь от разбойного свиста плясуна дребезжали стекла в щелеобразных окошках, и ног пляшущего не было видно, только вилась туманом белая пыль от сапог.

Оборвав игру, Сукнин крикнул:

— Батько, чул я — лихо ты пляшешь?

— Эх, Федор, много нынче отстал в пляске, а ну для тебя попомню молодость.

Разин скинул кафтан. Зазвенели подковы на сапогах с серебром осыпанные, вздыбились кудри, пятна золотистого зипуна светились парчей. Рука привычно сверкнула саблей — плеснула атаманская сабля в стену и не вонзилась, ударила голоменью [1]), пала на лавку.

— Спать! Устала душа, соколий глаз притупился.

Раздвинув богатырскими руками толпу есаулов, привычно согнувшись и заложив руки за спину на пляшущих, жадно глядел хмельной голова Петр Мокеев, двигая тяжелыми ногами. Черноярец, уступив место атаману, тронул по спине Мокеева:

— А ну, Петра, спляши!

— Не, Иван, един раз плясал в Москве в терему у боярыни, хмельной был гораздо, да много шуму из того вышло...

— Пошто так?

— Скажи, пошто, какой тот шум?

— А не стоит поминать!

— Да скажи, Петра!

— Вот... повалились, а ну ее к чорту!

— Скажи!

— Поставцы с судами повалились и кои поломались, вишь под ноги мне пали... столишки тож были, оно и дубовые, да, должно, рухлые, а меня тогда как бес носил. По коему столу удумал в плясе кулаком тюкнуть,

---

[1]) Плоская сторона сабли и меча.

тюкну, он же, сатана, скривился, аль бо столешник лопнул, а я ношусь да дую кулаком... много-мало разошелся я, дверь помешала — пнул я в тое дверь, за дверьми ее дворецкий стоял, хлынуло его по черевам, слетел он вниз терема в сени, руку, ногу изломил, еще глаз повредило... и за то по извету царю от боярыни, через большую боярыню Голицыну, ладили меня в Холмогоры, да наладили, не снимая чина, в Астрахань, а семья за мной не двинулась... жена заочно через патриарха развелась, вдругорядь замуж пошла, и будет плясать Петрухе Мокееву — шалит в пляске гораздо...

Разин сказал:

— Судьба, Петра! счастливо плясал... был бы на Москве, не сошел к нам...

— Може, и судьба? Загоревал я, батько, первы недели — гляжу, стухлая по берегам рыба гниет, вонь, жара, да свыкся... вонь и место облюбовал — воды де много и душу в простор манит...

Есаулы захмелели — с пеньем, бормотаньем каждый про себя разбрелись. Старый Рудаков давно спал на лавке ногами к дверям, синий казацкий балахон сбит на пол, расстегнулись штаны, сползли к сапогам, виднелось тело в седой щетине. С лавки на пол протянулась смуглая рука в бесконечных узлах синих жил с шершавой старческой кожей. Лицо старика уткнуто в шапку, от неровного дыхания подпрыгивал и топырился седой пушистый ус. На месте хозяина под образами сидел Разин, ни одной морщины не было на его лице, лишь значительнее углубились шадрины на щеках и лбу — глаза глядели сонно и мрачно, большие кулаки, замаранные кровью, лежали на столе у серебряной яндовой с медом. Атаман сказал сам себе громко:

— Федько казак — сатана! «Стрельцов жаль?» Дом запален, не гляди сколь вниз, — кидай рухледь! Что цело есть, считай после...

— Гей, хозяйка, атаману опочив в горнице — скоро-о...

— Ой, медовой, чего ты — чай не глухая? — постель ждет гостя.

— Кричу от вина и радости, что ворогов наших умяли в грязь! А дай еще песню?

Хмельным, но все еще приятным голосом, сидя на лавке и топая ногой, Сукнин запел:

Посею лебеду на берегу,
Свою крупную росадушку;
Погорела лебеда без воды,
Моя крупная росадушка;
Пошлю казака за водой —
Ни воды нет, ни казаченьки-и!

Разин поднялся из-за стола, не шатаясь, шел грузной походкой. Встал и Сукнин, с дребезжанием струн кинул ворчащую домру.

Атаман обнял хозяина:

— Кажи путь, Федор, — сон побивает.

(Продолжение следует).

Вопросы пола.

Этюд.

Пантелеймон Романов.

I.

Когда доктор прочел записку жены, он некоторое время стоял перед столом в пальто с поднятым воротником и потирал лысину рукой в вязаной перчатке.

Потом сел в кресло, рассеянно опустил воротник и стал медленно снимать с рук перчатки.

Вот и на его голову обрушилось то, что как зараза распространяется теперь повсюду и разбивает жизнь целых семей.

Порывистая, прямая натура жены и очень логический и принципиальный ум сказались здесь, в этой записке, во всей резкости.

Но доктор не чувствовал сверх ожидания ни ужаса, ни отчаяния. У него было только какое-то притупленное состояние равнодушия. Он сидел и тщательно вытирал суконной тряпочкой перо, которым жена писала записку, потом стал пробовать на ногте это перо.

В этом состоянии его застал зашедший приятель, заведующий биологической станцией, на которой он работал.

— Что вы так странно сидите? В чем дело?

Доктор молча подал письмо, в котором жена писала, что она никогда принципиально не лгала перед своим чувством и перед тем человеком, с которым живет. В данном случае перед доктором. Тем более, что она сейчас близка к самоубийству, так как человек, которого она полюбила (полюбила зачеркнуто и сверху написано: с которым сошлась), бросил ее. Этот человек — архитектор Ростиславцев.

— Вопросы пола?.. Таково наше время, — сказал приятель, кончив читать и присев на минутку в кресло. — Мы, передовые люди, должны прямо и смело смотреть в глаза даже таким фактам. А кроме того, что мы — передовые, мы еще — естественники. А что из этого следует — вы сами понимаете... Личность теперь настолько выросла, что старые рамки брака и все прежние установления, регулировавшие половые отношения, ей не годятся. Она уже сама помимо участия коллектива может

регулировать свою жизнь в этой области. И не только государству или вообще коллективу, а и близкому человеку нельзя угоняться за потребностями внутреннего мира личности. И в этом счастье, потому что это доказывает богатство внутреннего мира.

— Да, это верно, — сказал, вздохнув, доктор

Приятель поговорил еще немного и ушел, напомнив доктору, чтобы он не забыл про свой доклад в эту пятницу.

А доктор снял, наконец, шубу и долго ходил по комнате.

Что ему в данном случае делать? Устроить сцену ревности? Но ревность — это атавизм, и ему, интеллигентному человеку, да еще естественнику, поддаваться этому чувству — нелепо.

Покончить самоубийством? Эта мысль на секунду мелькнула в его голове, но мелькнула скорее из приличия перед каким-то внутренним оком, которое могло наблюдать за его внутренним миром и за его мужским достоинством. Тем более, что она была нелепа в виду только что начатого большого и интересного ученого труда.

Конечно, он прежде всего исполнит свой долг передового интеллигентного человека. Передового не в современном смысле, когда каждый полуграмотный чумазый пролетарий считает себя передовым, а передового в обще-культурном смысле. А там видно будет.

Доктор решительно сел к столу и, достав из бокового ящика почтовую бумагу, стал писать письмо.

Написав его, он оделся и вышел на улицу.

Он знал, где живет архитектор Ростиславцев, но не был знаком с ним, даже не знал его в лицо.

Дойдя до его дома, деревянного в три окна, приютившегося между двумя многоэтажными домами, доктор заглянул во двор и, увидев женщину в платке, шедшую через двор с ведром помоев, попросил передать письмо. А сам стал ходить по улице перед окнами. Потом ему показалось неловким часто поворачивать на коротком пространстве — могут принять за жулика или за человека, вышедшего на свидание, — и он прошел дальше по переулку.

«Как в сущности все просто и гадко, если не становиться на естественную, научную точку зрения, а смотреть на это со стороны обычной морали; случайная связь с каким-то архитектором и в то же время жизнь с ним, как с мужем. И еще говорят, что женщина всегда ревниво пряма в своем чувстве. А эта спокойно жила сразу с двумя мужчинами. Но, с другой стороны...»

Доктор вспомнил, что далеко отошел от дома, и, оглянувшись, чтобы увидеть, не следит ли кто за ним, повернул опять к дому.

«Но, с другой стороны, — повторил он, — не нужно быть врачом и естественником, чтобы знать, что у одного индивидуума может быть влечение к двум-трем другим индивидуумам. И каждое влечение может иметь свой собственный оттенок. Я, слава богу, тоже материалист, а не идеалист, чтобы не помнить и не признавать этого факта. А потом, если,

так сказать, поражена одна сторона ее существа (архитектором), то осталась другая, которая может быть более ценима (мною), т.-е. доброе отзывчивое сердце, мягкая душа...»

Тут доктор остановился, невольно отметив, как что-то роковое, что его научный материализм, вечно каким-то образом упирается в самый вульгарный идеализм.

Когда он подходил к дому, из парадного крыльца вышел довольно полный румяный человек в серой шапке и в незастегнутом пальто, под которым виднелось накинутое на шею полосатое кашнэ.

Он несколько времени смотрел на доктора и, наконец, подойдя к нему, нерешительно сказал:

— Я — архитектор Ростиславцев...

II.

— Очень приятно, — сказал доктор и тут же подумал об обывательском автоматизме мысли и речи, так как совсем мало приятного для него в этом свидании.

— Я позволил себе беспокоить вас, — проговорил он, — потому что решил, что между интеллигентными людьми в подобных положениях не должно быть таких отношений, какие имеют место среди людей низшей ступени развития. Мне кажется, мы вполне можем мирно и откровенно обсудить изложенный мною в письме интимный вопрос, раз он возник между нами. Надеюсь, я не ошибаюсь, отнесясь к вам таким образом? — прибавил доктор, взглянув сбоку на своего собеседника, с которым они шагали по улице в сумерках холодного осеннего вечера.

Архитектор молча поклонился.

Доктор почувствовал к нему расположение оттого, что его простое, интеллигентное обращение, как человека к человеку, оправдало себя.

— Мне особенно ценно, — сказал он, — что среди всеобщего огрубения, озверения нравов, пролетаризации всего, встречаешь какие-то островки культурного сознания.

Они дошли до перекрестка, и доктор, оглянувшись туда и сюда, как бы выбирая, куда итти, выбрал почему-то самый узкий и темный переулок и сказал:

— Пойдемте сюда.

Архитектор покорно пошел за ним. Большая, сутуловатая фигура доктора была на целую голову выше его. И одну минуту он почувствовал себя нехорошо: у него вдруг мелькнула мысль, что вдруг доктор заведет его в какой-нибудь темный закоулок и пристукнет.

— Я вам изложил суть дела в письме, — продолжал доктор, — вы изменили моей жене...

И он опять сбоку взглянул на своего спутника.

— Да...—нерешительно ответил архитектор. Но сейчас же поправился: — То-есть, нет... что значит «изменил»?

— Я вас понимаю, — мягко и поспешно сказал доктор, — я машинально, автоматически употребил обывательский термин, который, конечно, для нас не имеет смысла. — Ну, одним словом, вы сошлись с другой женщиной.

— Я женат, — сказал архитектор.

— Значит, вы вернулись к жене?

— Я и не уходил от нее.

— Но моя жена пишет об измене... Это что же, значит третья женщина?

— Третья... — покорно и сконфуженно ответил архитектор.

Доктор остановился. Архитектор тоже остановился.

И оба посмотрели друг на друга.

Доктор только пожевал губами. И они тронулись дальше.

— Я вам открою все, — сказал архитектор, — отчасти сконфуженный, отчасти тронутый мягким тоном доктора. Ему стыдно было показаться в таком невыгодном свете этому, повидимому, прекрасному, высокой души человеку.

И он рассказал ему все: как он сначала, имея жену, сошелся со студенткой девушкой Катей, т.-е. он сошелся, когда она еще не была студенткой, а он ей потом помог поступить. Потом она уехала, и тут он полюбил Маргариту Петровну. Теперь Катя опять вернулась. И он сам в затруднительном положении, так как относится прекрасно ко всем.

Доктор слушал, и ему пришла в голову мысль, что перед ним дрянной аморальный субъект, лишенный всяких нравственных основ, но сейчас же его перебила другая мысль о том, что если смотреть на это с естественной точки зрения, то перед ним просто индивидуум с повышенной возбудимостью, каким его устроила природа. И в этом ничего преступного нет.

— Да, так это третья, — сказал он в раздумьи.

— Третья...— беззвучно повторил архитектор. И вдруг ему пришла мысль о том, что совершенно напрасно, глупо он выболтал все этому незнакомому человеку, поддавшись размягченному чувству. А если тот подаст на него в суд? Тогда он просто окажется дураком, так как сам же разболтал и сознался во всем. Если родится ребенок, хотя бы от кого-нибудь другого, платить все равно заставят его.

— А жена ваша знает об этом? — спросил доктор.

— ...Н-нет... пока не знает.

«Значит, конечно. лгал своей жене, — подумал доктор. — Хотя ложь тоже не объективно преступная вещь, если принять в соображение психологические предпосылки».

— Я не знаю, как в этом случае разобраться, — проговорил он вслух. — Жена, очевидно, находится в крайне тяжелом состоянии. Она ушла неизвестно куда. Я не деспот, я вполне понимаю, что человеку, как и всякому животному организму, свойственно иметь те или другие влечения. К тому же у человека остается еще другая область — опять прибегаю к обывательскому термину — духовная. И каждый человек волен распо-

лагать собою и одному давать одно, другому другое. В данном случае — вам и мне. Вам одно, мне — другое. Мы достаточно просвещенные люди, чтобы иметь смелость смотреть в глаза фактам естественного порядка. Мне кажется, вы должны вернуться к ней, хотя бы успокоить ее. Приходите завтра к нам, и мы придем к какому-нибудь соглашению.

III.

Архитектор, возвращаясь домой, чувствовал себя в нелепом, запутанном положении.

Уже десять лет он был женат. Но не в этом, конечно, дело. Он не считал брак какой-то святыней и не был настолько сантиментален, чтобы терзаться своей неверностью, так как полагал, что его индивидуальная жизнь имеет свои права, и он не обязан отдавать в ней отчет кому бы то ни было. Он не коммунист, который смотрит на свою личную жизнь как на что-то второстепенное, подчиненное интересам коллектива. Он просто свободный индивидуум, который работает для своих культурных и прочих потребностей.

Все было хорошо, легко до этого времени. И он был хорош и мягок с своей женой. Хорош именно потому, что не стеснял себя излишней верностью. Если бы он сдерживал себя во имя долга морали, то неизбежно в нем накоплялось бы раздражение против жены, как против вечного препятствия, стоящего на его пути.

И в конце концов ведь не выяснено, какая форма общения между полами правильна: что́ лучше, — иметь одну жену и терзать ее от неудовлетворенной, стесненной потребности более широкого и разнообразного общения на стороне, или иметь связь с несколькими женщинами, как у него, — быть удовлетворенным и не портить жизнь другим.

Может быть, начавшееся теперь многоженство, постоянные разводы как раз ведут к правильным отношениям, потому что вытекают из нестесненных потребностей природы.

Ведь, в самом деле, разве найдется хоть один мужчина, хоть одна женщина, которые на протяжении всей жизни довольствовались бы только своей парой? Нет, не найдется.

Да это и вполне правильно, если смотреть с точки законов природы а не с точки зрения человеческой морали. Правильно потому, что мужчина женщину и женщина мужчину воспринимает только какой-то известный срок. Тогда их душа цветет, силы напрягаются до творческих подъемов. А если они продолжают сожительство и тогда, когда это цветение кончается, то делают противное природе, так как в угасшем состоянии остается только животное, т.-е. супружеское, удовлетворение потребности, что и есть во всех супружествах. И природа за это мстит несчастными браками.

Так что если смотреть фактам смело в глаза, то нужно собственно сходиться с женщиной только на то время, пока длится этот подъем.

Это его глубокое убеждение.

Он собственно так и делал. И все было хорошо, вплоть до того момента, как жена доктора узнала про его третью связь. Но какая же это третья связь, когда ее два года не было здесь, она неожиданно приехала, и они всего два раза виделись, скорее как старые друзья, чем как любовники.

А тут эта вздорная женщина с никому не нужной прямотой и принципиальностью, а вернее, в скрываемом припадке ревности, выпалила все мужу.

Да и он оказался не лучше ее: сбитый с толку неожиданным приходом мужа и в радости, что он оказался очень хорошим человеком, тоже выболтал ему все. И теперь в случае суда, ему, как порядочному человеку, только придется подтвердить все сказанное.

Вот эта истерическая слабость чувства и отсутствие задерживающих центров всегда заводят в какой-нибудь тупик. Сначала взвесь, потом говори.

Теперь ничего больше не оставалось, как принять предложение доктора и пойти к нему для этого нелепого объяснения. Но вдруг он придет, а эта особа отравилась или бросилась с шестого этажа. Тогда вся эта история, конечно, станет достоянием улицы. Скандал. Разговоры.

И он среди холодного осеннего вечера и полутемных улиц почувствовал себя несчастным, потерявшим то сокровище тишины и спокойствия семейной жизни, которого он так легкомысленно не ценил.

Как было бы хорошо, если бы сейчас ничего не было, — чорт с ними, с подъемами! — он пришел бы по крайней мере с чистой совестью, сел с женой за чай, в комнате тихо, тепло, мирно, уютно. На душе светло. А теперь он так нелепо запутался и не может даже притти и, как другу, пожаловаться жене на жизнь.

IV.

Когда он пришел домой, жена была в столовой и готовила чай. Она, очевидно, только что пришла из больницы, где работала целый день, так как на ней было ее рабочее синее платье.

Когда архитектор увидел самовар, лампу на столе и жену, которая после шестичасовой работы прежде всего заботилась о нем, — так как знала, что он любит пить чай в это время, — он почувствовал щекотание в горле. А кроме того его настроение требовало участия и жалости.

Он обнял жену, посадил ее на диван и, сев перед ней на полу на ковер, сказал:

— Ты мое прибежище от всех зол и неустройств жизни. И как я гадок, что временами забываю об этом и не ценю этого. Как я гадок! Говорю это вовсе не из каких-либо моральных соображений, которые для меня не имеют цены, а как честный человек, умеющий ценить...

И он ей рассказал про свою измену, которая была совершенно случайна, так как он любит только ее, свою жену, единственную женщину,

и не знает, как ему разделаться, развязаться с той, случайной. При этом он уткнулся в колени жены, терся щекой об ее сморщенные, сухие от кислот руки и говорил с растрогавшим его самого покаянным увлечением.

Жена, сначала с ласковым удивлением гладившая его голову, вдруг остановилась и сидела неподвижно. Когда он кончил, она встала, сняла его голову с своих колен и, отойдя к окну, долго стояла, глядя в темноту ночи.

— Лида! — сказал архитектор, сидя на ковре.

Ответа не последовало.

Он вскочил и, подойдя к жене, повернул ее лицо к себе, взяв руками за щеки.

Но она отняла его руки и, не взглянув на него, вышла из комнаты в свой приемный кабинет, и он слышал, как в двери щелкнул ключ.

Этого архитектор не ожидал. Он вдруг почувствовал, что всего минуту назад эта женщина, бывшая ему близкой, теперь смотрит на него, как на чужого, как на врага. Все порвалось. Может быть, ей даже противно его присутствие.

Над дверью кабинета было вделано стеклянное окно. Оно оставалось темным. Она не зажгла огня. Что она делает там?

Ему вдруг пришла мысль, что жена в состоянии аффекта может взять и выпить какой-нибудь подвернувшийся под руку яд. И тогда нужно будет бежать за врачом, в аптеку ночью, а на лестнице будут тесниться испуганные и любопытные лица.

— Лида! — крикнул он в отчаянии.

Ответа опять не было.

Он схватил стул, подставил к двери и, приподнявшись на цыпочки, заглянул через стекло в кабинет.

Ее темная фигура неподвижно стояла у окна.

Тогда он в исступлении стал стучать кулаками в дверь и кричать:

— Лида, открой, или я сейчас покончу с собой!

Вдруг замок щелкнул, дверь открылась, и на пороге показалась она. Лицо ее стало совершенно чужим, непризнававшим его.

— Что тебе нужно? — спросила она сухим, каменным тоном.

— Дай объяснить...

— Объяснять нечего. Факт останется фактом, — сказала она, вздохнув.

И он был ей благодарен за этот вздох.

— Пойдем сюда.

Он взял ее за руку и поспешно потащил в столовую. Она вяло, равнодушно шла.

Архитектор усадил ее опять на диван, на то же место, где она сидела, и стал говорить о том, что для него этот факт не имеет никакого значения, что это была чисто случайная физическая связь, и при их взгляде на вещи это не должно испортить их отношений, потому что он любит только ее.

— И я рад, что это произошло, потому что я сейчас чувствую к тебе совсем незнакомое мне прежде чувство какой-то новой нежности и морального освобождения, когда я сделал этот шаг и не стал от тебя скрывать это, а просто, как другу, рассказал.

Он действительно ощущал какой-то подъем, и если бы она сейчас без всяких сцен и слез погладила его по голове и, примирительно поцеловав, пошла бы разливать чай, у него осталось бы изумительное чувство радости, признательности и восхищения перед ней и сознание своей чистоты и необычности их отношений.

И хотя он был только наполовину чист, так как умолчал о Кате — и хорошо, что умолчал, — все же он чувствовал, что сбросил с плеч тяжелый груз.

Но жена по прежнему сидела и смотрела в одну точку мимо его головы. Наконец, она медленно вздохнула и, не глядя на него, спросила:

— Что же ты с той окончательно порвал?

— С какой?.. — спросил в рассеянности архитектор, думавший о Кате.

И сейчас же, покраснев, поправился:

— Да, да, конечно, — проговорил он поспешно.

— И ты ее больше не будешь видеть совсем?

Архитектор подумал о том, что как раз завтра ему придется итти к ней, но решил, что этот последний раз можно не принимать в расчет, и сказал:

— Конечно. Больше я ее никогда не увижу. Ну, куда же ты пошла? — прибавил он, когда жена, еще раз вздохнув, встала. — Ну, выпей чаю...

При его словах о чае она повернула к мужу лицо и несколько секунд смотрела на него, как бы изучая его. Потом горько усмехнулась и, ни слова не сказав, пошла в коридор.

Действительно — сказать такую глупость, предложить чаю после всего того, что произошло.

— Дай мне подумать неделю, — сказала она, повернувшись в дверях. — Сейчас я ничего не могу. И... не подходи ко мне...

— Как неделю!?.

В самом деле, когда особенно нужны участие и ласка, целую неделю видеть эту молчащую, угнетенную фигуру перед собой... Это ужасно!

Но жена, не ответив, ушла. Архитектор несколько времени смотрел на закрывшуюся дверь, потом, повернувшись, сказал:

— Ну ее к дьяволу, не могла понять! За коим лешим, спрашивается, разболтал все! Сколько раз говорил себе: сначала взвесь, потом скажи. Нет, точно чорт какой-то дергает! Вот теперь извольте.

Он, пожав плечами, оглянулся на стол.

На столе стояли налитые его стакан и ее чашка, икра, сыр, масло.

Ему хотелось пить, но после той истории было как-то неудобно сесть и начать закусывать.

Через час вошла жена и стала стелить себе постель отдельно на кушетке, потом достала простыню и начала завешиваться ею, протянув от шкапа к окну.

Архитектор смотрел на нее, и его охватывало раздражение.

«Извольте радоваться, — целый развод, — думал он, почти с ненавистью смотря в спину жены, — я уже для нее — посторонний мужчина. Подумаешь, какое несчастье случилось. Вот уж женщина всегда останется женщиной. А ведь тоже естественные науки проходила. Вот на зло взять напиться и наесться»...

Но он решил, что не притронется ни к чему, чтобы она видела, что он из-за нее мучается.

Легли они совершенно молча. При чем жена неожиданно погасила лампу, чтобы он не видел ее раздетой, и архитектор некоторое время стоял по середине комнаты, моргая в темноте.

V.

Когда доктор вернулся домой, он долго снимал в передней шубу. Предстояло совершенно непривычное объяснение.

Но когда он вошел в комнату, жены не оказалось.

Возможно, что она была у знакомых. Она делала это и раньше при мелких ссорах, исчезала на целый день, оставив какую-нибудь тревожную, неясную записку. И когда он, забыв уже про ссору, метался по городу и искал ее, она оказывалась у какой-нибудь подруги или у знакомых.

Поэтому он решил сесть за начатую работу и по крайней мере до 12 часов никуда не звонить.

Но пробило 12, а ее все не было.

Тогда доктор оставил работу и решил обдумать предстоящий разговор и свою линию поведения в данном случае.

Несмотря на то, что его миросозерцание, как ученого и естественника было вполне ясно и определенно в вопросах, не требовавших действия, ему каждый раз перед всяким действием приходилось обдумывать все с начала.

Отсутствовала одна резко выраженная — раз-на-всегда — руководящая линия. А было несколько таких линий, но все наполовину негодные.

Христианская мораль, которой он, впрочем, ни одной минуты не мог руководиться, говорила о том, что все это грех и мерзость. Но в то же время рекомендовала прощение.

Бытовая мораль его предков умалчивала о грехе, но говорила о чести и крови, как средстве восстановить утерянное равновесие.

Интеллигентская мораль (неписанная) отрицала и грех и честь и говорила о запросах индивидуальности, ее правах, глухо обходя молчанием обязанности. Тут же впутывалась точка зрения ученого-естественника. Эта естественная точка зрения не говорила ни о личности, ни о грехе,

ни о морали. Она рассматривала только п р о ц е с с ы. И для нее все процессы были одинаково хороши.

Где-то сбоку прививалась еще четвертая или уже пятая мораль, говорившая о крепком, здоровом коллективе и рекомендовавшая во главу угла ставить не личность с ее запросами в области физиологии, а движение этого коллектива вперед и вкладывание своей основной творческой сущности в это движение.

Но эта, последняя мораль, очень плоская и буднишняя, низводила личность на степень второстепенного существования и потому была просто абсурдна.

Тем не менее все эти четыре или пять основных руководящих линий, живших у него где-то под спудом, в подобных случаях обнаруживались все разом и сплетались в такой клубок противоречий, что могли закружить голову даже самому беззаботному на этот счет человеку. Он знал твердо только одно, что он не имеет морального права оказывать давление на волю свободной человеческой личности, в данном случае — жены. Если она полюбила того господина, то он обязан ее отпустить к нему.

«Но, может быть, она раскаялась и будет умолять о прощении? При чем тут п р о щ е н и е? — подумал доктор: — если бы вот этот моллюск оплодотворил ту, а не эту самку, смешно было бы видеть в этом трагедию».

В передней послышался звонок.

Доктор вздрогнул. Прислуга открыла дверь. Он услышал, что это пришла о н а. И у него тяжело забилось сердце, и потемнело на секунду в глазах от волнения.

Сдерживая дыхание, чтобы лучше слышать, доктор сидел, не обертываясь, у письменного стола. Он слышал, что дверь комнаты осторожно отворилась, и жена вошла. Опять все замолкло. Очевидно, она стояла у двери, смотрела на него и ждала, что он к ней повернется и улыбнется.

У доктора еще тяжелее забилось сердце. Но он не обернулся, так как считал, что в его положении, несмотря на его взгляды, первому к ней повертываться и встречать улыбкой, по меньшей мере, глупо.

Тогда она сама решительно подошла к нему и остановилась перед ним, так что доктор покраснел и смутился, точно он, а не она была виновата.

— Что же ты молчишь? Ты прочел мою записку? Может быть, с известной точки зрения, я преступная, падшая или как это вам будет угодно назвать, но я смотрю на вещи так, как я смотрю, и не могла поступить иначе, чем поступила... Я думаю, что вы меня не будете казнить за мою личную жизнь.

Она выпалила это почти залпом в том раздраженном состоянии, когда ждут малейшего противоречия, чтобы иметь повод не отвечать за себя.

— Ты знаешь мою точку зрения, — сказал доктор.

— Но ты меня считаешь преступницей и...

Доктор почему-то вспомнил о моллюсках и сказал:

— В этом нет никакого преступления. Просто ты прежде чувствовала так, а теперь чувствуешь иначе. Нельзя обвинять человека за то, что у него один процесс заменился другим.

Пока доктор говорил, жена смотрела на него испуганно расширенными глазами, как бы ожидая, что он скажет что-нибудь ужасное. Когда же он кончил, она перевела дыхание и сказала:

— Я знала, что ты так скажешь. Ты должен был так сказать. И я тебя очень уважаю. Ты говоришь, что один процесс заменился другим. Нет, Тими, не заменился. Это чисто физическая минутная слабость... В этом нет ничего странного: человек — животный организм...

— Знаю, — перебил доктор, — я сам только что думал об этом. Но ведь ты ходила к нему довольно долгое время?

— Кто тебе сказал? — испуганно спросила жена в свою очередь.

— Я думаю, что, если бы это была минутная слабость, ты не страдала бы так от его измены.

— Да, я видела его несколько раз. Он приходил сюда. Я была оскорблена, как женщина... хотя это глупо, но я не знала, что он такой пошлый субъект! — сказала она с выражением гадливости.

— Так значит, вы и здесь виделись? — спросил доктор.

При мысли о том, что, может быть, тот мужчина, с которым он так проникновенно говорил, сидел на этом кресле и, пользуясь его отсутствием, целовал его жену, — при мысли об этом доктору показалось, что факт подвинулся вплотную к нему. Но он сдержал себя и сказал:

— Надо быть справедливым. Из разговора с ним я не вынес впечатления, что он дурной человек.

— Как из разговора с ним?.. Ты с ним говорил?

— Да, я с ним говорил.

— И он знает, что ты все знаешь?

— Да, он мне и сам все рассказал.

— Как все рассказал?.. — покраснев, спросила жена, — что именно?

— То, что ты мне написала.

— Ну, и что?

— Мы условились, что он завтра зайдет, и мы объяснимся.

Жена несколько времени молча смотрела на доктора, потом сказала:

— Он не отказывался видеть меня?

— Нет, не отказывался. Он только был очень смущен, главным образом, как мне показалось, от того, что ему пришлось признаться мне в близости к трем женщинам.

Молодая женщина закусила губы.

— О, как это мерзко! Это могут только мужчины!

— Но ведь и ты тоже... ты знала, что он женат...

— Это совсем другое...— поспешно ответила она.— Законная жена,— против этого не могу же я возражать... Что он тебе говорил про эту, третью?

— Я не спрашивал.

— Боже мой, и я сошлась с этим негодяем... Я говорю прямо, что сошлась, потому, что ты поймешь, и я не могу делать из этого тайны. И ты превзошел все мои ожидания. Я даже не представляла всей твоей духовной высоты. И если хочешь... вдруг — сказала она, остановившись на секунду, как перед чем-то решительным, — я никуда от тебя не уйду. А его я не хочу видеть даже.

Доктор, вынужденный великодушием жены тоже итти на уступки, сказал, что он прежде всего не хочет ни в чем стеснять ее индивидуальности, так как индивидуальность выше всего, а потом, может быть, она сейчас говорит в порыве, как это с ней часто бывает, а потом будет раскаиваться.

— Нет, не в порыве! Я его ненавижу. Ненавижу за то, что он меня поставил в положение лжи перед тобой, таким исключительным человеком... Я с первого дня хотела сказать, а он упросил не говорить.

Доктор опять счел было необходимым указать ей на несправедливость такого отношения к этому мужчине, в особенности при ее взглядах, но она затрясла головой, потом вдруг вскочила и убежала за ширму.

Доктор сначала не знал, оставаться ему на месте или итти за ней.

В это время послышались ее рыдания. И он пошел к ней. Она билась на постели.

Доктор расстегнул ей кофточку, гладил по лицу, успокаивал и говорил, что он понимает и не осуждает.

Она долго рыдала, потом стала стелить постель, сказав доктору, чтобы он спал на диване, так как она после всего случившегося не может теперь спать с ним на одной постели.

Доктор хотел было сказать, что ведь она спала тогда, когда был в наличности факт, но ничего не сказал и постелил себе на диване.

Когда разделись и легли, — доктор вспомнил про назначенное назавтра свидание с архитектором и сказал:

— Я все-таки прошу тебя принять его и переговорить с ним, а то я окажусь в неудобном положении: сам его позвал, он так был деликатен, согласился притти и вдруг его не примут.

— Я его ненавижу, — сказала жена.

VI.

Прошел день, наступал вечер. Архитектор помнил, что в восемь часов он должен итти к доктору, т.-е. к своей любовнице, совместно с ее мужем выяснять положение.

Но его тяготило и выводило из равновесия состояние жены. Она встала рано и ушла, пока он еще спал, так что он пил чай один. Потом она пришла. Он обрадовался. Но у нее был такой чуждый, отсутствующий вид, что это его приводило в отчаяние.

Привыкший к ласке, к заботе и предупредительности, он видел, что стал для нее совершенно чужим человеком, существование которого

ее нисколько не интересует... А главное, что ее отношение не давало ему необходимого импульса и решимости покончить с той женщиной. Могло кончиться тем, что пойдет искать участия у той.

— Ах, ты пришла, — сказал он, обрадовавшись ей в первую минуту.

— Да, я пришла, — ответила она холодно.

— Садись же обедать.

— Я не хочу обедать.

Она села у окна и смотрела остановившимся взглядом на улицу.

Это было самое невыносимое: видеть, как вчера еще близкий, любящий человек сидит около него непроницаемый и недоступный. Он был готов вскочить и закричать от истерического отчаяния.

Он прежде думал, что если откроется какая-нибудь его связь, он спокойно скажет ей, что не любит ее, и уйдет. И он, конечно, не любил ее, потому что десять лет под-ряд нельзя чувствовать любовь к одной женщине. Но его мучило, выводило из равновесия ее молчание. Если бы она сейчас ушла от него без всякого скандала, без слез и страданий, без такого трагического лица, а просто как-нибудь по-товарищески, то он почувствовал бы себя только счастливым от сознания свободы.

А вот она теперь будет сидеть и молчать день, другой. Вот что невыносимо.

— Но ведь я же тебе сам открылся, я поступил, как честный человек по твоим понятиям, я дал тебе слово, что больше не увижу ее, — сказал архитектор.

Он чувствовал, что у него в горле от нервного напряжения что-то нервически дрожит и он каждую минуту может издать какой-нибудь нелепый звук: взвизгнуть или завыть.

Жена молчала и сидела неподвижно.

Было уже семь часов. Через полчаса нужно было итти к доктору для объяснений. Не пойти было невозможно. Хотя если не пойти, тогда эта история сама собой ликвидируется. Но для него это было невозможно: он не мог обмануть ожидания человека, отнесшегося к нему в высшей степени интеллигентно.

Он посмотрел на жену. Она сидела в прежнем положении.

Если бы она хоть посмотрела на него, хоть бы улыбнулась, тогда он счастливый, облегченный обнял бы ее, пошел к той и твердо сказал бы, что это была минутная физическая слабость, он раскаивается в своем легкомыслии, вернее — непосредственности.

А теперь, когда она сидит и молчит, ему и отойти-то от нее неудобно. В самом деле странно будет, если он в такой трагический момент жизни вскочит и, выдумав какой-нибудь предлог, например, что ему нужно сходить на пятнадцать минут к приятелю, переговорить о часе завтрашнего заседания в строительном кооперативе, уйдет, оставив ее в таком положении.

— За ночь и за это утро, — сказала жена, медленно повернув к нему голову, — я все обдумала и прихожу к заключению, что наша дальнейшая

совместная жизнь не имеет никакого смысла. Там, где нет любви,— бессмысленно продолжать сожительство.

Она сказала это совершенно спокойно, именно так, как минуту назад об этом думал архитектор.

Но под прямым взглядом жены, обвинявшей его в отсутствии любви, у архитектора сказалось совершенно другое:

— Лида! Зачем ты так говоришь? Ты же знаешь... что я люблю тебя. Что без тебя я не могу...

Архитектор почувствовал, что прежнее дрожание в горле нашло выход в этих словах, и он, все усиливая тон, продолжал:

— Ты знаешь, что я люблю только тебя...

— А та, другая?..

— Она для меня ничто.

— Так как же ты ради ничто ставишь на карту такие отношения, которые ты, как ты уверяешь,... ценишь?

Архитектор растерялся и не знал, что сказать.

— Просто легкомыслие, — сказал он. Но тут же подумал, что совершенно напрасно так говорит, так как у него на этот счет свое твердое убеждение.

— Какая гадость!.. И ты после этого... приходил ко мне!

На это архитектор мог бы сказать, что не только после этого, а и после того, т.-е. после Кати, но он приложил руку к груди и сказал:

— Лида, не будь... не смотри с таким ветхозаветным ужасом на это. Иначе ты исключаешь всякую возможность правдивости в наших отношениях.

— Мне кажется, правдивость должна заключаться в том, что если ты полюбил, то приди, скажи и уходи к той, которую ты любишь, а не приходи в то же время спать к жене.

— Ой, как вульгарно! — сказал архитектор, сморщившись и схватившись за макушку. — Какая там любовь! Любви у меня ни к кому... кроме тебя, нет.

— А что же это?

Собственно на это он бы должен был ответить так: ни к ним любви, ни к тебе любви, а просто я тебя не воспринимаю, за давностью лет ты меня не волнуешь, как женщина; а всякая посторонняя женщина меня волнует, когда я подхожу к ней, так как это непривычно и более свежо, чем ты. Наконец, он мог сказать: это — мое убеждение, а убеждение вытекает из моей индивидуальности. Но он сказал не это, а совсем обратное:

— Глупость, слабость... Как ты не можешь понять, что человек иногда по слабости может делать то, что совершенно противно его убеждениям.

Жена с выражением гадливости молчала, а его уже охватывало раздражение при мысли, что уже скоро сутки, как длится это нудное на-

строение... Один час можно выдержать, можно и уверять и успокаивать от чистого сердца, но когда это продолжается столько времени, то порыв добрых чувств и раскаяние начинают уступать место совсем другим чувствам...

Архитектор каждую минуту поглядывал на часы и видел, что уже половина восьмого, а он ни на чем еще не кончил, ни на волос не сдвинулся с места. При этом он чувствовал, что от торопливости и оглядок на часы, у него начинает накопляться раздражение и пропадает искренний тон покаявшегося, вместо него появляется нетерпеливый тон, что грозит еще лишней затяжкой.

Но в это время жена повернула голову и долго смотрела на него уже не прежним мертвым, чужим взглядом, а тем, когда борются с собой и хотят, как утопающие за соломинку, ухватиться хоть за какую-нибудь надежду.

— Поклянись мне, — сказала она медленно.

Архитектор вдруг почувствовал, что наступил перелом и сейчас кончится это томительное, давящее молчание.

— Поклянись мне, что у тебя есть ко мне серьезное чувство, что больше ты никогда не будешь видеть эту женщину.

— Клянусь тебе... Честное слово! — поспешно сказал архитектор. — Как ты не можешь понять?.. Неужели у тебя хоть на минуту было сомнение в этом! И как бы я мог с тобой жить, если бы у меня не было к тебе серьезного чувства? Ты знаешь мои взгляды.

Он подошел к жене, сел перед ней на ковер и взял ее руку.

Рука еще была холодная и безучастная к нему, но она уже не отнимала ее. И, не проявляя сама ни нежности, ни видимого прощения, позволяла ему гладить ее.

— Боже мой, уже восемь часов! — воскликнул архитектор.— Мне нужно только сговориться о собрании строительного кооператива. Через пятнадцать минут я вернусь. Я сию минуту вернусь. Я так рад, что кончилось это ужасное. И мы с тобой хорошо, мирно поговорили.

Он порывисто обнял неподвижно сидевшую жену и торопливо поцеловал ее, как бы желая этим энергичным движением за двоих закрепить состоявшееся примирение и не дать ему вернуться опять на прежнюю точку тягостной неподвижности. Теперь *там* он кончит решительно и скоро.

VII.

Когда раздался звонок архитектора, жена доктора Маргарита Петровна вскочила и сказала с испуганным лицом:

— Это он! Я не могу видеть этого человека!

Ушла за ширму и легла на постель лицом к стене.

Доктор, растерявшись, не знал, что делать, итти открывать, или успокаивать и уговаривать жену принять архитектора.

— Успокойся, нехорошо, встань, — говорил он, стоя над женой и растерянно потирая руки.

— Я его ненавижу и никуда не встану! — ответила она в подушку.— Я могу убить себя. Ты знаешь меня.

— Ну, я прошу, возьми себя в руки, потому что...

Звонок зазвенел опять. И доктор, не договорив, вышел в переднюю открыть дверь.

Это действительно был архитектор. Он был смущен. Молча поздоровался, как здоровается врач, когда приходит с визитом к трудно больному.

Хозяин тоже был смущен тем обстоятельством, что не знал, как будет себя вести жена,—вдруг она выгонит его вон. Обстоятельство усложнялось тем, что комната была одна и архитектора некуда больше было пригласить, чтобы предупредить его о том, что жена очень тяжело восприняла эту историю и находится в состоянии невменяемости. Говорить об этом в передней, где каждую минуту шныряли какие-то ребятишки и жильцы, — было неудобно.

И поэтому, чтобы как-нибудь обдумать положение и выиграть время, хозяин очень внимательно отнесся к калошам гостя и просил его поставить их дальше от двери, так как их могут украсть. Даже сам взял их и переставил под вешалку.

— Она в очень тяжелом положении, — сказал доктор, устроив калоши и закрыв дверь в коридор, откуда выглядывали рожи соседских ребятишек. — Я, пра́во, не знаю, что делать. Войдите, попробуйте осторожно поговорить, — может быть, ваше присутствие успокоит ее. Ваше имя-отчество?

— Михаил Николаевич, — сказал архитектор и почувствовал себя виноватым перед доктором.

Хозяин пропустил гостя в комнату, и когда тот остановился невдалеке от двери, доктор торопливо прошел за ширму и остановился потирая руки.

— Риточка, Михаил Николаевич пришел, — может быть, встанешь?..— сказал он таким тоном, каким говорят больному о приходе врача.

Она ничего не отвечала и продолжала лежать.

Доктор вздохнул, пожал плечами и, выйдя из-за ширмы к архитектору, молча посмотрел на него.

Если бы хозяин ушел из дома, тогда Ростиславцев прямо начистоту сказал бы ей, что он просит оставить его в покое, так как возвращается к жене, а их связь считает ошибкой и минутным увлечением. Но теперь, когда здесь был муж, ему невозможно было так поступить.

Кроме того, она была, повидимому, действительно, в тяжелом состоянии. Что́ же ее — добивать?

— Пройдите к ней, — шепнул хозяин.

Архитектор прошел за ширму.

Молодая женщина продолжала лежать, не переменяя положения.

Ростиславцев не знал, что ему сказать, и поневоле должен был сказать самую шаблонную фразу:

— Маргарита Петровна, успокойтесь. Зачем так?..

Та ничего не ответила.

Архитектор вздохнул и оглянулся, чтобы посмотреть, где муж. Тот сидел у письменного стола в боковом кресле для посетителей в напряженной позе, с устремленным в сторону постели взглядом и с готовностью каждую минуту встать и подойти, если это понадобится.

Архитектор почувствовал себя в безвыходном положении. Утешать ее в присутствии мужа он мог только самыми официальными фразами. А эти фразы ничего, кроме раздражения, конечно, не могли в ней вызвать. Шопотом тоже было неудобно говорить.

Тогда он молча положил ей руку на плечо. Она руки не отбросила. Но вовсе не в его намерениях было поглаживать и успокаивать ее, т.-е. ставить ее на путь примирения, когда он уже рассказал об этом жене и помирился с ней. Тем более, что он рассчитывал все кончить в пятнадцать минут и бежать домой, а эта история грозит затянуться надолго.

В это время муж вышел из комнаты. Архитектор понял, что он сделал так, чтобы не стеснять их.

— Рита, ну будет, успокойся, — сказал он.

— Оставьте меня, вы мне гадки! — сказала молодая женщина, оттолкнув его руки и зарывшись головой в подушки.

Архитектор сел боком на постель и стал тихонько гладить молодую женщину по спине...

— Как ты не можешь взглянуть на это иначе! Это была моя давнишняя привязанность. И у меня с ней теперь ничего не было...

— Но вы любили ее... раз бросились к ней, едва только она показалась.

— Ничего подобного! — сказал архитектор, невольно отметив, что говорит эти пошлые избитые слова, — ничего подобного, просто было минутное увлечение.

— Так у вас и ко мне, может быть, тоже минутное влечение?

— Рита! Как тебе не грех! Ты знаешь мое отношение к тебе?..

— Да, я знаю ваше отношение к себе. Оно таково, что вы можете меня променять на каждую встречную женщину, если она будет достаточно интересна.

Тут архитектор невольно мысленно отметил, насколько это верно она говорит, сама того не подозревая.

— А я из-за вас оскорбила ложью этого великолепного человека, перед которым вы — ничто. И пошла против своих убеждений...

— Ну, чем же оскорбил?.. И он настолько интеллигентный человек, что смотрит на это совершенно не так...

— Все равно... Вы для меня теперь чужой. Делиться я ни с кем не могу. — Она высунула голову из-под подушки и взглянула на своего любовника.

«Вот и прекрасно, — подумал архитектор, — только это и нужно».

— Ну, почему же чужой? — сказал он вслух. — Как тебе не грех!

— Потому что... потому что я не могу без отвращения себе представить, что вы от меня пойдете к ней и будете ее так же ласкать, как меня.

— Кто тебе сказал? Я с ней и видеться не буду.

Маргарита Петровна несколько времени молчала.

— А если она сама придет к вам?..

— Ну, не придет. А если придет, я скажу, что меня дома нет.

— В этом вы уступаете? — сказала, саркастически усмехнувшись, молодая женщина, — но если бы я сказала о жене, то вы, конечно, испугались бы?..

— Нет, почему же, — ответил архитектор, — если у меня к тебе серьезное чувство, а тебе это неприятно, то что же, я могу... Я потому и сошелся с тобой, что с ней уже... два года не живу.

Она как будто ждала этого и, приподнявшись на постели, горячо обняла его за шею, прижавшись вплотную к нему теплым боком. Но сейчас же прибавила:

— Хотя это вздор! Все вздор: и жена, и третья. Это все обывательская психология.

— Так зачем же ты рассказала ему все? Это не обывательская психология?

— Не обывательская психология, а мои принципы. Кроме того, у меня была такая горечь обиды, оскорбления, что я не могла, мне казалось что он единственный человек, который как-то может утешить, понять.

— Вот уж напрасно — «горечь обиды и оскорбления», все это чистейшая фантазия.

В это время в комнату вошел хозяин.

— Ну, что? — шопотом спросил он, когда архитектор поспешно вскочил с постели, на которой сидел, и отошел от нее на некоторое расстояние.

Молодая женщина при стуке двери спрятала опять голову под подушку.

Архитектор успокоительно кивнул головой.

Доктор подошел ближе к постели и положил руку на плечо жены. Та, не вынимая головы из-под подушки, сжала руку мужа. Потом откинула с головы подушку и сказала с счастливым выражением человека, достигнувшего примирения и успокоения:

— Ты — редкий человек. Я рада, что все так случилось, потому что только теперь я вполне оценила тебя.

— Ну, вот и хорошо, — сказал доктор, — давайте теперь поговорим и выясним все.

VIII.

Все перешли к диванному столу.

Доктор сел на диван. Его жена рядом с ним и, взяв его руку, держала ее не выпуская, как бы из чувства признательности и благоговения перед его высокой душой.

Архитектор сел в кресло.

Несмотря на то, что в его интересах было такое отношение Маргариты Петровны к мужу, ему все-таки было неприятно видеть, как она сидела около мужа, точно под его крылышком, жалась к нему, а он, архитектор, ее фактический муж, сидел в стороне, в качестве какого-то постороннего лица, и должен был созерцать это проявление нежности, направленное на другого человека.

— В жизни все бывает, — сказал доктор, — а наше время таково, что мы должны смело и прямо смотреть на вещи. Личность интеллигентного человека нашего времени созрела и настолько сама может регулировать свою жизнь, что совершенно не нуждается в рамках, поставленных ей государством, обществом или коллективом, как теперь принято выражаться. И не только коллективом, а и близким лицом.

Архитектор вдруг вспомнил, что его жена, вероятно, в полном недоумении по поводу его нелепого исчезновения в самый серьезный момент их примирения. Вскочил почему-то, как обожженный, и убежал.

— Конечно, — продолжал доктор, — мы должны признать, что стоим перед вопросом сложным и запутанным. Но мы прямо смотрим в глаза этой сложности. Мы видим, как брак на каждом шагу терпит крах, как расходятся люди, часто прожившие вместе много лет, как мужчина или женщина не могут удовлетвориться одним объектом, а имеют их два... три даже. Что это значит?

Архитектор даже не мог узнать, который теперь час. В комнате стенных часов не было, а посмотреть на свои было неудобно. А вдруг этот субъект так разговорится, что раньше 12 часов не кончит!.. Хорош он будет, заявившись к жене только глубокой ночью вместо 15 минут.

— Как ваше мнение на этот счет? — спросил доктор, обращаясь к архитектору.

Тот, пропустивши все, что говорил в это время доктор, покраснел и сказал, что он вполне согласен.

Доктор несколько удивленно поднял брови, из чего архитектор заключил, что сказал невпопад. Но тот больше ничего не спросил.

— Итак, я должен сказать, что моя точка зрения такова: для меня выше всего личность и ее внутренний мир. Выше этого вообще ничего не может быть. И здесь не место вмешательству посторонней воли. Поэтому, если вы хотите жить вместе, то живите, — неожиданно заключил он, обращаясь к жене и к архитектору.

Архитектор растерянно почесал бровь и, сбитый с толку своей предыдущей невнимательностью, потерял нить разговора и не знал, что сказать.

Но в это время Маргарита Петровна отклонилась от мужа и, посмотрев на него, сказала:

— Успокойся, Тими, это не нужно.

— Но как же тогда? — начал было доктор: — как же тогда будет?..

— Я не знаю, как будет, но я говорю непосредственно. Я слишком интеллигентный человек, чтобы не ценить проявление в человеке высшей духовной сущности. А в тебе я ее увидела. Вот и все. Я выска-

залась. Я рада, что теперь все стало ясно и не будет ничего скрытого от тебя. — Тими, мы все время (она взглянула на архитектора, как бы соединяя его этим взглядом с собой). мы все время мучились тем, что не могли рассказать тебе всей правды. Случайное недоразумение (она с улыбкой опять переглянулась с архитектором) заставило меня сказать тебе ее. И твое отношение показало мне, что я в тебе не ошиблась.

Доктор встал, подошел к архитектору и с чувством протянул ему руку.

Архитектор в рассеянности не сразу понял, в чем дело, и в первый момент опоздал подать свою руку и встать, поэтому получилось так, что, сидя, нерешительно дал доктору руку, как будто еще не зная, что тот с ней будет делать.

Но это прошло почти незамеченным.

Когда архитектор уходил, доктор, как бы нечаянно, задержался в комнате. И в переднюю вышла Маргарита Петровна. Она, торопливо оглянувшись на дверь, обхватила архитектора обеими руками за шею и жадно, как вновь нашедшая потерянное, целовала его лицо, глаза, щеки торопливыми, беззвучными поцелуями.

Потом шепнула:

— Завтра...

— Только днем, — вечером не могу, — сказал архитектор.

Маргарита Петровна, оглянувшись на дверь, еще раз обхватила его голову своими обнаженными руками. И в это время архитектор из-за ее завитой головы увидел в дальней комнате часы, показывавшие половину двенадцатого.

«Вот будет история...» — подумал он, отвечая на поцелуй.

В переднюю вышел доктор.

Маргарита Петровна в это время стояла далеко от архитектора и, закинув руки, встряхивала и оправляла сзади свои остриженные и завитые пушистые волосы.

Архитектор ушел, при чем доктор сердечно пожал ему руку, посмотрел, не забыл ли он калоши, и сказал вслед:

— Заходите, пожалуйста.

Супруги вернулись в комнату, как возвращаются хозяева, проводив гостей.

При чем Маргарита Петровна остановилась по средине комнаты, долго смотрела на мужа, потом, положив ему руки на плечи, поцеловала его в голову.

— Я счастлива и горда тем, что ты такой необыкновенный человек и благодаря тебе я могу жить полной жизнью и не лгать перед своим чувством.

Она стала приготовлять постель, а доктор ходил по комнате и ему лезли в голову беспорядочные мысли об архитекторе, о моллюсках, о животном организме.

Пока здесь был архитектор и шел самый разговор, для доктора все было ясно и трогательно.

Но как только архитектор ушел, положение стало менее ясно.

В самом деле: как распределятся теперь роли? Ведь хорошо было бы, если бы жена, после открывшейся измены, вернулась к нему, порвав с тем. Тогда это примирение звучало бы изумительно заключительным аккордом.

Но повидимому этот аккорд был совсем не заключительный. Он, движимый порывом высших чувств, сам помирил свою жену, разошедшуюся было со своим любовником.

И что же — она теперь будет продолжать видеться с ним? И, конечно, ей придется скрывать это от него, потому что в самом деле, если даже смотреть на это с естественной точки зрения, но если они каждый раз будут ему объявлять, то... это уж слишком.

Ну, хорошо, допустим, что все это устроится: она душой будет принадлежать ему, мужу, а всем прочим — тому. Тогда является вопрос материальный: кто же ее будет содержать? Он или архитектор? Ему содержать ее для архитектора — странно, хотя он и будет пользоваться целой половиной ее существа, может быть, бесконечно более ценной... И все-таки тут какая-то невязка, даже несмотря на большую ценность этой другой половины ее существа.

Но, с другой стороны, если ее будет содержать архитектор, то он-то что же — будет играть роль сторожа при ней?..

В это время жена стелила постель и положила его подушку рядом с своей.

Доктора почему-то поразило это.

Как он должен реагировать на это, когда только сейчас выяснилась ее измена, ее связь с другим мужчиной?

Что это — полная картина человеческой аморальности или высшая степень человечности, лишенной всяких предрассудков?

И что, если он примет это, его достоинство, как мужа, унизится или возвысится от этого?

С одной стороны, оно должно возвыситься, потому что он показал себя человеком, свободным от грубых примитивно-собственнических инстинктов.

С другой — его возможно упрекнуть в атрофии самолюбия, в тряпичности души. И доктор почувствовал, что он должен с гневом вырвать свою подушку и бросить ее на диван.

Он подошел к постели и, так как гнева у него почему-то не было, молча переложил ее на диван.

Жена, ни слова не говоря, взяла подушку с дивана и хотела положить опять к себе на постель, но доктор перехватил ее на пол-дороге, схватился за подушку и уже набрал было в грудную клетку воздуху, чтобы крикнуть громовым голосом что-то о геркулесовых столпах аморальности, но в этот момент ему пришла мысль о грубости и примитивности охвативших его чувств.

— Впрочем... если смотреть на это с естественной точки зрения...— подумал доктор и, не докончив своей мысли, выпустил подушку из рук.

Архитектор, раскатываясь в калошах по грязи темных улиц, спешил домой; он каждую минуту смотрел на часы. Они показывали без четверти 12. Он, обливаясь потом и налетая на тумбы, старался попасть домой до 12, потому что в данном случае даже 10 минут имели большое психологическое значение: то он придет, когда еще не было 12 или он явится в первом часу.

Когда он пришел, жена еще не ложилась спать и ходила по столовой, нервно потирая и сжимая руки. Это показывало на высшую степень возбуждения. И самое лучшее сейчас войти и сказать ей: «Очевидно, психика современного человека стала слишком сложна, чтобы ее можно было уложить в рамки верных супружеских отношений и согласовать со старой моралью. И я нашел людей в лице моей любовницы и ее мужа, которые смотрят на это достаточно широко. Поэтому положение дела остается прежнее: я не могу лгать и заявляю, что живу с той женщиной. Хочешь — живи со мной, хочешь — порви». Вот что логически должно было быть сказано.

Но жена при виде его остановилась посредине комнаты и смотрела на него такими глазами, какими смотрят в самые трагические минуты жизни, когда каждое неосторожное резкое слово может повести к какой-нибудь катастрофе или причинить острую нечеловеческую боль.

Архитектор испугался. У него мелькнула мысль о том, что если он скажет жене то, что действительно есть, он убьет ее, потому что она, очевидно, находится в состоянии невменяемости. Лучше потом... когда-нибудь, постепенно. Иначе в лучшем случае ему придется бегать в аптеку за успокоительным, не спать ночь и т. д. Он с вдруг просветленным лицом подошел к жене, взял ее холодную руку и сказал:

— Лида, я тебя обманул. — Она вздрогнула, хотела вырвать свою руку, но он силой удержал ее. — Я тебя обманул, я ходил не на заседание, а к той женщине сказать ей, что я порываю с ней навсегда.

Жена, находившаяся, очевидно, в состоянии крайнего напряжения, когда уже мысленно решала, что все кончено, быстро вскинула глаза на мужа и стояла некоторое время неподвижно. Потом в ее лице что-то дрогнуло, из глаз брызнули слезы и она, охватив обеими руками шею мужа, забилась у него на груди и заплакала от счастья.

А всего каких-нибудь пять минут назад она так твердо решила, что счастья нет на земле и что свою судьбу нельзя строить на любви к одному человеку, потому что эта любовь есть только призрак и обман.

Обояньские повести.

Николай Никитин.

Восстание мертвых.

И когда кинет месяц в Черную речку звонкий серебряный ключ, то и начнешь поневоле воображать, верить во всякую нечеловеческую чертовщину, во всяких нечеловеческих духов, в бесов, в покойников, и ведь знаешь, что все это вздор, бессмыслица, чепуха, что все это недостойно современности, что человеческий ум велик, что наука организована и не допустит такого спиритического произвола, — но логика, конечно, одно, а чувство — совсем другое, — вот почему я решаюсь рассказать гражданам эту историю, посвященную более чувству, нежели уму.

Черная речка течет у нашего обояньского кладбища, кладбищу стукнуло уже 200 лет, а какие кресты, а какие могильные холмы, какая растет там высокая нечеловеческая трава, какой репей, какой лопух, какая пышная гвоздика — гвоздика ползет розовыми по земле кустами,— ну, не кладбище, а настоящий ковер из Тегерана — или нежится лукавая и знойная персидка. Нет там ни линий, ни мостков; не обозначено — что это мол для мертвых людей такого-то разряда. Похоронены мертвые люди без всяких категорий, как кому полюбилося. У лозняка ли вдоль речки, или повыше на песчаном холму, поближе к курганам, к степи, или в низинке, чтобы не беспокоил траву на могиле злой ветер.

На дубовых крестах обозначено: здесь, мол, покоится поручик Онисим Онисимович Птицын, мир его душе. А здесь — обояньский мещанин Филипп Антипов Козолуп — и под незабудкою стишок:

Был тверд без сожалений
Сей храбрый Козолуп,
Погиб от треволнений,
И ныне мертвый труп.

Наверно, где-либо в портерной, получив удар зеленою бутылкой в брани — скончался. И рядом с ним: «Вдова обояньского мещанина Параскева Пудовна Козолупа. Господь с нею!».

Что означает — «Господь с нею»... То ли она надоела родственникам, будучи старою язвою; умерла, мол, и хорошо, давно пора, и дочки, избавившись от матери, — написали так двусмысленно. То ли — жила она аккуратною, беленькой старушкой в чистых воротничках, в шелковой, черной наколке — и «Господь с нею» следует понимать, что, дескать, мир и чистота всегда пребывали возле нее.

Пусть в этом разбираются стилисты. Наше дело сказать — кладбище было прекрасное. Хорошо, действительно, умереть, если знаешь, что тебя не сожгут вроде какой-либо лягушки, а похоронят — с травой, с цветами, обозначат, что ты есть и почему и на каком основании умер. Пусть и меня, читатель, так же похоронят — с травою и с цветами.

Тут же сбоку, к реке, — на более дешевом месте — стояли и другие кресты, солдатские. Могилы были и одинокие, и общие. И часто попадалась надпись: «георгиевский кавалер всех четырех степеней» или «имел медали св. Георгия», или — «герой великой войны», или просто без всякого упоминания. Все они одинаково глядели крестами в степь, очевидно так же скромно и лениво, как когда-то оглядывали пожелтевшие волны трав из узких, госпитальных окошек.

За кладбищем ухаживали когда-то богаделки, жили они тут же поодаль от кладбища — в узком как коробка желтом флигельке. Флигелек звался громко «кавалерским корпусом». Звали так потому, что построен он был для инвалидов турецкой войны, а когда все турецкие инвалиды перемерли, управа распорядилась отвести его для обояньских мещанских и купеческих вдов. Название же осталось прежнее. В германскую войну кавалерский корпус понадобился, старухи рассосались где-то по городу, в городских флигелях, в слободских избах, разбрелись, будто их и не было, помещение очистили. В войну корпус отвели под солдатский госпиталь для тяжело-больных. Место было тихое, около крестов и степи. И умирать здесь — под ветер, под шум из степи, у горячего тепла огромной необъятной массы земли — было, наверное, гораздо легче, чем в замызганном городишке. С революцией надобность в госпитале прошла, и кавалерский корпус стоял долго с настежь распахнутой дверью, с выбитыми, как черепа, окнами. Часто во время непогоды скрывались там влюбленные парочки, любившие в летние вечера, в июльские теплые ночи путешествовать между высоких дубовых крестов, в могильном бурьяне, в сочной траве.

Обо всем этом хорошо может рассказать Порфир Назарыч — сторож, 75 лет, гвардейский сапер, но говорит он редко, можно сказать, почти не говорит. Не то от должности, не то от разочарования в жизни. Помнят, когда-то он был балагуром и весельчаком, могилы рыл так весело, будто строил балаганы, и вот — с японской войны вдруг стал тосковать и так и молчит до сих пор.

Однажды в году Порфир Назарыч говорит — и бывает это в веселый праздник, в Радоницу, когда на кладбище возникает внезапный шум и гам.

Обоянцы любят кладбище, посещают в этот день умерших родственников, на могилах идет веселие, гремят пиры, звенят стаканы, закусывают снедью всякой, студенем, чайною колбасою, заграничными шпротами, дымят принесенные из дому самовары, гудит гармоника, и по могилам ходит поп с кадилом, с ладаном, поет «идеже несть», и плачут старухи; и плачут бабы под жалобную панихиду, под гармонику, а Порфир Назарыч, смотря на такую картину, говорит одно:

— И все и-этто, голубчики, зря!

И поздно ночью обходит он с лукошком могилы, собирая оставленные у крестов на помин души крашеные яйца.

В исполкоме было заседание. Шел дым. Шли речи.

Раденко — почтенный обояньский обыватель — вносил проект. Проект был принят. И разговоры поднялися из-за места. А именно? Кто должен заведывать типографской школой, которую решили здесь открыть.

Раденко убеждал:

— Сознайтесь, граждане, что на лице союза есть города и похуже. Что нет у иных и просвещения, и общественности, и ничего нет. Пуф! А у нас... у нас есть, например, вновь открытые санитарные бани, довольно 7 лет мылись в кухнях, у нас и клуб, и добровольное пожарное общество. И дискуссии на тему «Бог». У нас и школа трех ступеней, у нас... Пуф. У нас есть все. Но нет у нас одного...

Члены исполкома переглянулись — Раденко схватился за грудь, чтобы отдышаться. Страдал он жабою и при сильном волнении долго не мог с собою справиться. И громко харкая в платок и после завернув его комком, совал в верблюжий вязаный жилет.

— Нет одного... Это говорю я — как марксист...

Тут Раденко торжественно обвел собрание глазами, помазал каждого, улыбнулся, погладил, заглянул, обласкал и сам подластился, спокорничал, но с миною совершенно гордой, почти магической, почти властной, может быть, даже наполеоновской — и, замерев, точно предвкушая вкусную вещь, облизнулся — и тогда уже разрешился от тяготившего его бремени:

— ...профтехшколы...

Он задохнулся.

Вышло это простым криком:

— Профтехшколы нет! Пуф.

И стукнулся в деревянный стул, выпалив вздох, как пушка.

И далее продолжал, уже сидя:

— Я марксист, — правда, я не знаком в деталях с полиграфическим производством, но я педагог. Я старый, опытный педагог. Я организатор. Что же убеждает меня стоять за типографскую школу? Во-первых, отсутствие в наших местах иной промышленности, кроме сельской, и, во-вто-

рых, этот род индустрии — нам значительно легче организовать, и в-третьих — близость моя к просвещению позволяет мне указать, что республика нуждается в книгах, в книгах, в книгах...

У Раденки сползли очки, и, ткнув обратно их на переносицу, он почувствовал, что он победоносен, что он велик.

Он спокойно сел, будто бы погружаясь в думы, потная косица трудолюбиво сползала ему на очки, и он гордо — как-то массивно отпихивал ее прочь. Он морщился — мучительные мысли, будто у него болел живот, бороздили его лоб; и многие, глядя на это, поверили бы: «Эк, старается как, добрый человек!». А думал он про себя: дадут или не дадут ему местишко?

Но кто смог бы заподозрить такое? — Он сидел величаво, добротно, уверенно, лишенный всякого искательства или какого-либо подхалимства. Строго сверкали от желтых лампочек его очки, в фигуре полная увесистость и положительность. Такому неудобно куда-нибудь юркнуть, отвертеться, надуть или подложить чего доброго нехорошую свинью, это не какой-нибудь тонкий прощалыжка, верченая пигалица, которая, махнувши хвостом, пролезши — потом такое настряпает, что и в год не расчухаешь. Это был кремень...

Да и действительно, если оглянуться — что найдешь? Один, правда, деловит — да горькая пьяница, как и подобает русскому. Другой не подгадит, зато с таким подлым характером, с такими нервами, что потом душу вымотает всякими претензиями. Третий — всем бы подошел — и характером, и хмельного до 40 лет не пробовал, разве что перепало в младенчестве — и лихой до работы, — да нельзя надеяться на молодца, убежденности нет, во всем сомневается, все ощупает, обнюхает и начнет глупый принципиальный спор, словом — не человек, а ненужный анализ. Четвертый — был бы прекрасен во всех качествах, а подготовки нет, слаба подготовка. Пятый совсем чудесен — только опасен — и подловат, и страшно подпускать к пирогу.

Тут предложили Архипу Мартынычу Раденко выйти, чтобы на свободе обсудить кандидатуру.

Архип Мартыныч удалился.

И опять шел дым. Шли разговоры. Мигали лампы переменным током.

— Педагогический стаж на-лицо.

— Он прав. Надо промышленный уклон.

— Поправьтесь, производственный...

— Почему?.. В последнюю дискуссию товарищ...

— Тише, прошу не уклоняться. К теме.

— Время!

— Видна в человеке прочность, эдакая солидность.

— Д-да, пожалуй...

— И даже, кажется, в прошлом за что-то пострадал...

И тут выскочил какой-то тонкий, быстрый — и закричал на всех:

— Я протестую. Это не рекомендация. Вы спросите, за что он пострадал? В дворянском клубе он ударил исправника, тот за карточным столом передернул карту. Это политика! Это по вашему страдание!

И снова пошел шум, пока не сказал один из заседавших:

— А разве это не было смелостью — пойти против полиции?... Инспектор гимназии исправника ударил... Только подумайте!—И ведь спец... — подсказал другой.

— Нет, нет... Нашу молодежь надо подтянуть. Тут ведь не митинг, им бы фейерверки пускать, а нам дело требуется,—вяло тряхнув ладонью, пробурчал третий — плешивый старик с мохнатыми ушами.

— Это не постановка... — закричал молодой.

Да его прервал старик:

— В гимназию тебе пора, не опоздай.

Тут все засмеялись и нагнулись над бумагами, и молодой ушел, пихнув сердито дверь.

В канцелярии на стенке телефон, как детский гроб.

Архип Мартыныч Раденко торжественно сидел под телефоном — в канцелярии. Блистали очки Архипа Мартыныча так же старательно, как звонки на аппарате.

Архип Мартыныч прозвенел вслед летевшему через канцелярию:

— Ну как, товарищ?

Но товарищ, сверкнув трепаными пятнами, щелкнул уж второй, канцелярской, дверью.

Архипу Мартынычу Раденко — махнули пальцем. Он вскочил проворно. И, услыхав постановление, прозвенели стекла, и чуть дрогнули довольные щеки, и, чуть нагнувшись, ловко скрипнул на дородной спине расстегнутый коричневый френч, и сапоги добродушно, в полупоклоне, легонько переступили на пол-шага вперед. И особо поблагодарили Перепелкина — председателя исполкома, но Перепелкин этого не видел. Он устал, он давно устал. Его лицо слиняло дымом и спорами.

Так Архип Мартыныч был назначен организатором и заведывающим первой типографской школой в Обояни.

На Черной речке — в оловянной воде весенилася ряска, паутина, старая троста и плавуны, мелькала ласточка, и белая капустка трепетала ветреными крыльями у дряхлых лопухов на нежной, как ребенок, кладбищенской дорожке.

Скользила тут и там, и на дорогах, и на ветлах — корявой птицей, и на русом пуху верб — зимняя усталость.

Что до зимы — когда облака считают минуты!..

Судьба, отрежь мне хоть минуту весны, как ломоть. Я хочу выпить до дна эту пьяную чашу. Наесться, напиться в минуту и, свалившись у калитки, встретить мертвый, как Питер, рассвет. Не узнает меня зна-

комый, обругает проходящий комендант, не взволнуется ни шах персидский, ни душа...

И молочница, нагруженная кувшинами, проковыляв мимо, подумает степенно:

— Лопнул человек.

Пускай уйдет зима, и вместо снежной тоскливой метели и скучных в ночном поле — в снегах деревенских огней забьются птицами зори, влетят в сердце, запоют голубые песни, поля займутся зеленым разговором, и хлебный майский дождь прошумит хорошей надеждой, прозвенит по сердцу — как по стеклу. И на неизвестных солдатских военных могилах — миллионы гвоздик, миллионы кровавых капель крепких — как гвозди. Тысячу лет цвели гвоздики. Войною вспахали бока речки, перекопав, казалось, навыворот все, добравшись до души, подняв песок — чуть не со дна, а гвоздика опять цветет на ямах — куда каждый день валили умерших от ран госпитальных солдат, привезенных сюда за тысячу верст.

Тысячу верст их трясли скучные поезда с красным крестом, разбрасывая калек, больных, закутанных в марлю — как детских кукол, чтобы — после визга шрапнелей и воя боев — раскинуть по столицам, городам, городишкам — у болот, у лесов, у степей — в Обоянь, в ямы старого кладбища — и рядом, чтобы караулил их степной ветер — чтобы смотрел им в пустые очи, уже забывшие мир, чтобы свистел им в уши — когда они не слышат, даже если червь им разъедает ухо.

Меж крестов солдатских могил бродит старый солдат Назарыч и, оправляя сгнившую ограду, бормочет, булькает в водяную, жидкую бороду:

— И все это, голубчики, зря.

В госпитальном доме блестели вновь вмазанные стекла. Белели подструганные рамы. И от этого хилые стены ожили в праздник. И вместе с ними ожил, блестел довольством Архип Мартыныч Раденко.

В школу собирались ученики. Машины там еще не было. Стояли только кассы и тискальный станок. Машины должны были прибыть вместе с переводом уездной типографии на новое место. Типография предполагала занять флигель, чтобы отвести часть его для своей фабричной школы, для учеников.

Пока же, до перевода — Архип Мартыныч занялся внутренней организацией.

Развешивая плакаты, лозунги, портреты, он говорил ученикам:

— Что значит руки... Руки — это пустая ложь, руки сделают то, что им прикажет мозг... Займемся мозгом.

Но дальше разговоров дело не шло. Целыми днями он хлопотал не то в городе, не то в пивной, куда ходил тайком, чтобы в задней комнатушке буфетика распить пару под селедку.

— Пиво охлади и селедку с молоками.

О чем он рассуждал там — никто не знает. А в школе сидел инструктор — старый метранпаж Франц Иванович Северюк. Франц Иванович тоже любил поговорить. Ученики любили послушать. И Франц Иванович долго рассуждал о достоинствах и недостатках типографского дела. Ругал мальчишек, а они смеялись.

— Щенки, смешно... А что смешно? Что вы понимаете?.. Что вы знаете — какой то есть человек, называемый наборщик. У нас мужики тут, а не наборщики. Что есть гордость? Гордость есть признак превосходства. Вот раньше — это был наборщик. Наборщик в старину, братки, это был герой... Только какой наборщик — вот тут и есть разница. Две столицы спорили тогда — Москва и Питер... И что такое московский был наборщик? Мужик и тля... в высоких сапогах, в деревенских, штаны кой-какие, рубаха, бородат, а за поясом верстатка, ну что твой плотник — за поясом топор... Деревня! А питерский был франт, гоголем ходил. В получку едут все в Апраксин. Костюмишко, манишку, сапоги, при галстуке. И пошел крутить, по улице идет, что фон, а в кабаках — победитель. Покрутит три дня, а на четвертый все облачение опять в Апраксин, кой-какую смену, опорки на ноги, сам горд, на языке стихи. И ходит обертенькой до новой получки. А уж по делу, конечно, первый был питерец. А нынче московские забили. Нынче во всем Москва!

По вечерам Архип Мартыныч спрашивал Северюка:

— Чем занимались?

Северюк просто говорил:

— Историей.

— Так! — одобрял Архип Мартыныч. — Это правильно! Сегодня в исполкоме мне сказано — берите инициативу. И я возьму. Да, возьму. Я добьюсь даже московского назначения.

Гордо сказал Раденко и хлопнул кулаком...

Весенние дожди растопили дороги. Грязь доходила по колено. В лужах и грязной жиже еще плавало солнце, но Архипу Мартынычу не хотелось дожидать — пока солнце само окончит работу. Кладбище было в сырости, и только в одном был прав Архип Мартыныч — в медленной работе солнца.

Пошевелив животом, погуляв, он решил, что нужно самим строить новую жизнь. Что он возьмет ее за рога, приструнит ее, подлую, и заставит ее служить безропотно, покорно, как старую стряпуху...

От корпуса до маленькой пристройки шла длинная дорожка, ставшая за весну болотом. А в пристройке устроен был клозет. И вот к клозету Архип Мартыныч задумал выстроить удобную дорогу.

Три трубки выкурил он, размышляя о гигиене, о новой жизни, о собственной старательности. И, оканчивая третью трубку, твердо сказал себе:

— Пусть возмущаются мещане... а в этом деле я убью двух зайцев сразу.

И на следующее утро, показав пальцем на кресты, заявил ученикам:

— А ну-ка, хлопцы, поломайте пополам эти штуки. И проложим новую дорогу.

Хлопцы сперва оцепенели. Но Архип Мартыныч был тверд. Покойники молчали. Работа началась.

Трещало дерево. Глядело солнце. Хлюпала под деревом вода. Хлопцы распевали песни. К вечеру дорогу кончили. Первым по новой дороге прошел Архип Мартыныч.

Каждый шаг вливал в него какую-то бодрость, и только необычайность дороги заставляла его беспокоиться. Но здесь же по пути он думал, успокаивая себя:

— Не все же сразу. Постепенно все обстрогается.

А вечером сидел долго в школе, сочиняя доклад.

Начало далось ему легко. Едва он обмакнул перо в баночку, как буквы поскакали, будто блохи на бумаге.

> — Первые шаги нашей деятельности обязывают нас обосноваться на утверждении борьбы со старым миром, со старыми предрассудками и наглядным образом показать молодежи пример, каковой...

Здесь он оставил пробел, решив пока заняться другим.

> — Мотивами к этому служило для нас одно обстоятельство, — ввиду сего нашу работу...

Тут он описал работу. Но о мотивах опять пришлось отложить.

Ночь и ветер гуляли у разрушенных могил, в траве кричали лягушки. Архип Мартыныч открыл окно, послушал лягушек, оглядел кладбище, как полководец после боя осматривает поле битвы, и, отложив написание доклада до утра, спокойно и победоносно лег.

Из города возвращался Назарыч. По дороге мешали ему ветер и камни. Он часто приседал, боясь — что этот проклятый ветер унесет его ноги, или еще, чего доброго, штаны... Или вдруг ни с того, ни с сего — он споткнется, и у него отскочит голова. Или же упадет в лужу, размокнет и расклеится.

Часто по дороге он хватался за голову руками и спокойно говорил себе:

— На месте! И чем это пойт, эта сволочь, чортов питух? Что это за наваждение, чтобы человека напрасно дробили на куски! Ну, война, я понимаю, дело военное, ежели тебя раскроят, как портной штаны, так тут порох, понятно. Не иначе он в водку порох мешает, чтоб ему разорвало кишки, буфетный глист.

Так ругал старый храбрый солдат Назарыч буфетчика из любимой пивной. Ругал себя, всю жизнь, проклятую дорогу, собак, ночное дежурство.

— И что я буду дежурить зря, точно они сбегут, эти чумовые! Ну помер, ну и лежи, ну и пущай твой бог тебя дежурит, а я что, нанятой. Куда они улетят?.. Ну помер, значит не комар, значит не полетишь...

Рассуждая, он пришел на кладбище. И только было думал отпереть сторожку, чтобы — плюнув на покойников — задать здорового храповицкого, и по привычке взглянул на свои владения, и, увидав вместо могил и крестов пустые холмы, ямы, окопы, обомлел — и, не выдержав последнего испытания, свалился у двери и выругался в последний раз:

— Ну и дрянь же, эта нечистая сила, добралась-таки и до православных христиан!

И, уверенный в нечистой силе, окончательно ослабел и, не одолев порога — уснул здесь же, нимало ничему не удивляясь. Назарыч, как старый солдат, был храбр, все повидал на своем веку — и людей, и свирепых генералов, и сражения, в которых иной раз бывало пострашнее, чем с какой-нибудь нечистой силой.

Луна глядела на разгром, на бороду Назарыча, баловали лягушки, и ночь, не беспокоясь ни о чем, приготовляла к утру зеленые рассветы.

На площади у каланчи — развернулся с утра рассвет. Бабы уставили ларьки, мясники — повозки и чурбаны, сапожники с товаром расположились прямо на земле, мануфактурщики разложили палатки, лотошники забегали, не зная, где лучше, где выгоднее приткнуться с чепухой в лотках, трещало дерево от молотков, рубили туши, орали бабы. играя платками и бусами, хрякали о туши топоры, миткаль — плыл как туман, у мясников краснело мясо, кровь, мануфактурщики щеголяли кумачами и пестрядью, и полосатым тиком, замочники — торговцы скобяным товаром — железняки — точильщики, разместившись со своими инструментами, выкрикивали на разные голоса, бабы выкладывали бочки с огурцами, лабазники, измазанные в муке, ладили кули, на важне собирались весовщики, милиция с двух концов сторожила базар, летела ругань, солома, пыль... Поп в короткой рясе торговал в ларьке ковригу ситного, извозчики дежурили у коновязей, освободив коней от удил, орал финагент на торговцев, и покупатели в платках, в бурнусах, в саках, в куртках, в полупальтишках, в штанах и в юбках, в папахах, кепках, картузах толпились по рядам. Старушонки в салопчиках стояли в овощном ряду, или с молочницами — и у каждой старушенции плетеная корзинка — а в корзинке какая-либо табакерка, или же финифть, или же бронзированный Пушкин в простой стеклянной сахарнице, или же бисерный кошелек из тех — что выделывали когда-то монашки.

Есть что-то в базарном гаме стройное. Он торгуется, продает, кричит и поет так — будто суждено базару быть оркестром Каждый инстру-

мент налажен — и все вместе, если отойти, играет перед вами какую-то странную музыку, ну точно — вот вся эта жизнь, протекающая перед нами водой — пьяная, поющая, бурливая, создана голосами купцов, народа, торгашей, агентов. И даже пожарная каска под навесом у городской каланчи тоже участвует в хоре, подвывая медным басом.

В полудни, когда базар расторговался, к каланче подошел Порфирий Назарыч и влез на пустой воз.

— Стойте... — крикнул он. — Стойте, граждане... Случилось над нами великое несчастье.

Тут пожарный, приняв его за сумасшедшего, пытался сграбастать с воза. Но Назарыч уперся — тяжелыми ногами. А бабы, мальчишки, парни, заметив драку, уже собрались сюда. Другие послали за милицией. Третьи советовали окатить его из кишки. Назарыч в расхлестанной рубахе рвал волосы, топал, орал:

— Нынче ночью пронеслась над кладбищем нечистая сила и наделала там много бедов. Позорила кресты, покопала землю...

— Може, еще и плювала в покойников? — спросила соседняя баба.

— Може, и плювала, — кричал Назарыч.

Толпа с базару повалила на кладбище. Шла пыль — как от стада. Открывалися на пути фортки, и из-за цветов глядели любопытные головы. Встречные бабы плакали, из ворот бежали к толпе. В исполкоме звенел телефон, наводили отовсюду справки о происшедшем. Впереди неслись двое конных милиционеров.

Перепелкин сидел в исполкомском кабинете и грыз карандаш.

— Кто же это нагадил все-таки, кто это нагадил?

Старухи шептали бабам:

— А откуда все... От коммунистов. Уж все спокойно, все приладили, так нынче мертвецы взбунтовались. Не выдержали родимые! Это нам, бабочки, первый сигнал, первая божья рука. Да слушаете ли вы?

— Слушаем, старушечка... кого же нам и слушать? — взвизгивали молодухи.

Перепелкин — усталый, словно чорт — хрипел в телефон начальнику милиции:

— Я надеюсь на тебя, слышишь. Возьми комсомол.

— Слушаю...

Звенело в аппарате:

— Нужно все успокоить и найти дураков.

— Слушаю, — отвечал начальник милиции.

Обоянь поднялась, как пчелиный рой — почуяв в улье медвежью лапу.

На кладбище кипела толпа. Навзрыд плакали бабы:

— Чтой-то будет, куда ж мы в Радоницу придем, кому яички принесем, где помянем упокойников?..

Кричали солдатки:

— Где же наши кровные душеньки, куда девались?

Старухи причитали:

— Пришел последний день, поскакали кровные с могилок, не горюйте: бабочки, не поймаешь нечистую силу...

Милиционеры сошли с коней, привязав их к школьному крыльцу. И, постучавшись, вызвали Раденку.

Храбрый усач оправил шашку и, помня приказ начальника, строго спросил Архипа Мартыныча:

— Не подозреваете ли злоумышлеников, гражданин?

Раденко внезапно оробел, но решил сдержаться.

— Никого не подозреваю. Это моя работа! — сказал он.

— Как твоя? — спросил усач.

Тогда Раденко рассердился и, чтобы придать себе больше веса и солидности, закричал на него:

— Вы кто? Вы воины. Вы не тычьте. Никаких объяснений не дам, и нечего вам вмешиваться в дела просвещения.

И, повернувшись, ушел в школу. Милиционеры направились за ним. Усач заметил в толпе финагента и, надеясь на его образованность, вызвал его в школу. Пришел и финагент, старый чиновник из акциза, показал Раденке свой профсоюзный билет, но Раденко его не принял.

— Прошу вон... — кричал Архип Мартыныч. — Только ответственным людям дам исчерпывающие объяснения!

Финагент потер сухие, замшевые ладони.

— Видите ли, гражданин Раденко, объяснения не в юридическо-судебном смысле, а невежественной толпе, усмотревшей в ваших действиях нечистую силу.

— Не дам! — заорал Раденко. В окне он видел — как толпа людей растеклась по раскопанным могилам и, принеся сюда с базара еще неостывший пыл, грохот, суету — кричала, булькала.

— Не дам... я с несознательными мещанами в объяснения не вступаю... Которые за восемь лет революции... — кричал он, стараясь подальше отойти от окон. — Стреляйте в них. Иного они не достойны. В воздух. Пусть уходят!

Тогда сказал усач:

— В воздух мы стрелять не будем. А пожалуйте к товарищу Перепелкину.

Когда под конвоем Раденко был выведен на крыльцо, в толпе заговорили, что нечистая сила нашлась. Толпа ревела. Раденко был посажен в седло к одному из конных. И увезен в исполком.

Некоторые ретивые бабы старались схватить лошадь за копыта, да усач — вытянув пегую лошадь плеткой — заставил перейти ее в галоп. Бабы вслед кидали камни.

— Ирод! Варавва!

И пыль из-под копыт летела навстречу им розовыми, мутными брызгами.

До вечерней росы на кладбище суетилась толпа.

Назарыч, успев напиться, ввиду чрезвычайного случая пророчествовал на паперти. Из степи под кладбищенскую колокольню веерами неслись ласточки. У речки ныли лягухи. Ученики типографской школы по приказу исполкома, разобрав дорогу, вновь сколачивали кресты.

Старухи причитали:

— Это, бабочки, первый сигнал, первая рука. Ждите теперь второй руки. Да слышите ли вы?

— Слышим, старушечка. Как же не слышать!..

И когда захотели ученики вкопать сколоченные кресты в старые могилы — то никак не могли различить — куда какой. Все могилы были одинаковы. И даже Назарыч, посмотрев на кладбище и поморгав, отказался указать им.

— Скажи на милость... Не разберу. Здесь будто была купцова, а здесь поручикова. Нет, постой! Здесь была старухи Грабаревой... А може и купцова. А чорт их знает, я не принимал кладбище в подобном виде. За солдат бояться нечего, они сами разберутся. Жарь, ребята, первона-перво солдат.

Первыми стали ставить солдатские кресты.

Тут очень мудро посоветовал метранпаж Франц Иванович:

— Все равно, Петр ляжет на Ивана, а Иван на Петра. Не надо и мучиться. Все в одной земле. Я бы над всею землею поставил крест.

Кресты так и легли — Иван на Петра и Петр на Ивана.

Бабы плакали на паперти. И не хотели слушать увещаний Назарыча.

— Ежели есть тот свет, так там распределят. А ежели нет, нечего, бабоньки, и беспокоиться.

О путанице гудел город не только вечер, но и ночь. Кучками толпились на площади. В исполкоме совещались о мерах успокоения, совещались о лекциях. А Перепелкин грыз по-прежнему карандаш.

— Ну и типографская школа! Как нагадили... Ну и просвещение!

Самым спокойным в городе оказался Архип Мартыныч Раденко. Он потребовал в камеру карандаш и бумагу и писал доклад, явившийся продолжением его вчерашнего доклада, сочинявшегося прошлой ночью. Мысли беззаботно, но твердо ложились на бумагу, как заказанные, настроение духа не менялось, наоборот — он был уверен в своей правоте, совесть не мучала его, и конец доклада показался ему настолько внушительным и прелестным, что он с удовольствием трижды прочел его, тщательно следя за правильностью ударений и за красотой слога.

— ...и ко всему присовокупляю, что я крайне возмущен поступками нашей милиции, не сообразившей моего глубоко-продуманного марксистского подхода и милицейскими действиями явно сорвавшей нашу анти-религиозную пропаганду.

Поставив точку, он подумал на мгновение о неприятностях, которые все-таки могут его ожидать, но впечатление от доклада казалось ему настолько сильным, что он вполне успокоился и улыбнулся самому себе, и даже — что-то вроде иронии мелькнуло у него.

— Смешно... — сказал он. — Снявши голову плакать по волосам!

И спокойно улегся в жесткую тюремную кровать.

Тюрьма стояла на самом прекрасном месте города — на самом возвышенном кургане. Ночь смотрела в темные окна тюрьмы. И еще раз Архип Мартыныч, разбросав в кровати свое могучее тело, подумал про себя:

— Ведь и Галилей страдал от темных масс.

Колокола.

(Из хроники 900-х годов)

Иван Евдокимов.

(Продолжение).

Глава VII.

С полдня пришел на работу Тулинов с перевязанной белой головой. Мастерские забормотали. Рабочие глядели в пол и думали о белой голове Тулинова.

— Отыгрывается! До челяди добрался!

— Уговор, ребята, дороже денег!

— Случай бы только!

— Случая ждать — три года прождешь!

Во весь остальной день не спорилась работа, будто вхолостую шавкали передачи, был только шум в ушах и надсмехающийся скрежет колес, колесенков, железа, чугуна, пыльного дерева.

Просвирнин, лениво неся свое тело, скучая, прошарашился в паровозосборный цех с мастером. Мастер шел бочком, с бочку трусливо мигал на лохмача глазками, и торопился за ним. Токаря угрюмо глядели исподлобья. Старый Кубышкин плюнул и растер ногой. Сережка тихонько просмеялся.

— Забрало, старина?

— Заберет тут! — буркнул Кубышкин. — Э-эх, ты, ходовая!

Кубышкин сосредоточенно заработал, потом скоро придержал станок и опять плюнул, отшвыривая ногой упавший кусок железа.

Обратно прошел Просвирнин, забирая ближе к станкам, насмешливо поглядывая на молчавших и отвернувшихся токарей. Он увидел белую голову Тулинова, покривил щекой и вызывающе крякнул. Никто не отозвался ни взглядом, ни словом. Токаря затаились, будто вбежал в мастерскую зверь.

А после гудка молча и согласно пошли за Просвирниным, толкались о него в проходной будке, шарили любопытными и жадными глазами его спину, черную кужлявую папаху с продранной макушкой, высокие, кожей подбитые, валенки.

По полянке до города с тусклыми коптилками немногих фонарей вливались в мастерские и выливались из мастерских две черных, изогнутых ползущих дороги. К ним подбегали со сторон черные людские тропки, а между тропками, как редкие кустики, шли рабочие в одиночку, ныряя в снегу.

Токаря наступали на задники Просвирнину. Сашка Кривой отстал и беспокойно шнырял глазом назад, наводя его на токарей, как на прицельную мушку, нацеливаясь белком. Кукушкин и Клёнин торопливо обогнали токарей. И как хромал мимо Клёнин, Сережка весело закричал:

— Рупь пять! Рупь пять! Рупь семь гривен! Рупь семь гривен!

Кленин сбился с шага, скожурился в пиджаке, запнулся, удерживаясь на хромоножке, неловко замотал руками. Позади громко и густо захохотали.

Сережка завопил:

— Рупь двадцать! Рупь двадцать!

Тогда Просвирнин оглянулся. К нему подскочил Сашка Кривой, Кукушкин и Клёнин сразу повернулись лицом — и загородили дорогу.

Токаря надвинулись... Старый Кубышкин внезапно взвизгнул, выругался, сшиб с Клёнина вязаную шапченку, вцепился в волоса, свалил Клёнина и, беспрерывно визжа, сел ему на спину, тыча носом в снег и шаркая его по снегу лицом. Сашка Кривой затопался, завертелся на месте. Кукушкин прыгнул на Тулинова и дернул его за повязку. Разматывалась белая марля, а Сережка рвал губы Кукушкина острыми крючьями пальцев, а на спине у него висел Анс Кенинь, с размаху швыряя кулаком по бокам. Сашка Кривой осел с испуга, кружил по дороге, кричал и без толку грозился. Мясников подскочил к нему, легко и стремительно ударил по кривому глазу, валя на дорогу. Тут Просвирнин вырвал одним рывком Кукушкина и пнул Сережку тяжелой гирей кожаной обсоюзки катанька под черевок. Руки у Сережки впились в живот, он присел и закатался воющей собаченкой под ногами. Просвирнин грузно и тяжко заработал котелками кулаков, сминая под собою головы, руки, плечи, будто меся черное, мохнатое тесто из человечьих тел. Тогда Егор полез за пазуху, вырвал из пазухи револьвер и выстрелил. Все мгновенно отпрянули с дороги, замерли, только выл Сережка и хрипел Сашка Кривой, перемогаясь под Мясниковым. Егор выстрелил второй раз.

Первым побежал Кукушкин. Просвирнин схватил на дороге свою папаху и понесся за Кукушкиным, громыхая катаньками. Бах-бах-бах! — стрелял Егор, гоняясь за ними. И вместе побежали крики, рев, гвалт... Токаря кинулись в догонку, оставив на дороге стонавшего Сережку. Старый Кубышкин трусил вслед и визжал — визжал отчаянно, падал, вставал, захлебывался усталостью. Сашка Кривой убегал в сторону, проваливаясь в снег, и слышно было, как о штаны хлесталась и терлась кожаная куртка. Клёнин вылез из сугроба к Сережке с разодранным в красные червяки лицом и пнул его здоровой ногой. Сережка взвизгнул, поймал ногу, ухватился за нее, дернул, свалил его и, яростно хрипя, сдавил

горло. Клёнин вывертывался и кусал ему руки. Обессилев, ругаясь, они сели на дороге, тяжело дыша и жалко отплевывая окровавленную слюну. К ним подходили отовсюду рабочие, окружая темной навалившейся грудкой. Поднимали и отряхивали снег.

Просвирнин с Кукушкиным пробежали заставу и через старое пожарище свернули в огороды.

Перезаряжая на бегу кассету, Егор замедлил бег. Просвирнин с Кукушкиным уходили. Тулинов, держа растрепанные на голове клочья марли, наддал, оббежал Просвирнина, схватил его за подсилки, рванул и уронил на себя. Просвирнин вырвался, оттряхнув Тулинова, вскочил, но тут добежал Егор и вплотную выстрелил.

Просвирнин закричал долгим плачем, упал на колени, скорчился, обвил свою шею крепко рукой и захрипел:

— Егорка! Чорт! Не тр-р-онь!

Егор, дрожа, прокусывая себе губы, близко у лица качнул револьвером, изогнулся весь, сдавил протянутую к нему руку Просвирнина и выстрелил в грудь. Просвирнин ткнулся носом в снег.

— И Кукушкина... и Кукушкина! — кричал Тулинов. — Он в сарай забежал. Дай мне револьвер.

Тулинов вырвал у Егора револьвер. Набежали с криком токаря, окружили лежавшего Просвирнина, оглянулись к дальним фонарям на поляне и замолчали, прислушиваясь, как хрипел и свистел носом Просвирнин, глядя, как содрогались ноги и сводило их медленными рывками.

— Выходи! — кричал Тулинов. — Выходи, говорят!

И заглядывал в распахнутые настежь обгорелые ворота сарая без крыши. Потом злобно и вполголоса прошипел:

— А-а-а! В уголок забрался!

И раз и другой пальнул из ворот в серую неясную полутемноту. Кукушкин крикнул — и смолк. Старый Кубышкин опомнился и тревожно проговорил:

— Будет ужо палять! Народ взбаламутим. Никшни, ребята, теперь!

Кубышкин кинулся к Тулинову, выхватил у него револьвер и полез в сарай. Тулинов зажал голову руками и опустился у ворот на снег.

— Где ты тут, сукин сын? — послышался спокойный и ровный голос Кубышкина. — Откуковала кукушечка?

Вдруг все вздрогнули и поморщились. Громко и жалобно зарыдал Кукушкин в сарае.

— Дедушка! Дедка! Не тронь, пожалей!

И вслед сказал ласково Кубышкин:

— Дурень, да нешто убивать тебя лезу! Выходи, ежели жив, на народ! Показывайся! Кончили драку. Одного устосали — и хватит. Не реви дуром! А то застрелю на самом деле.

Кукушкин робко выходил из сарая с повисшей чужой рукой, сторонясь сидевшего на проходе Тулинова. Токаря безмолвно уставились на остановившегося неподалеку Кукушкина.

— В руку тебя? — спрашивал Кубышкин. — Так тебя и надо, негодяя. Жалко, што в башку не попало. Атаман-то, вишь, лежит-полеживает, в аду ему черти уголья разгребают. В свидетели теперь пойдешь: доказывать на нас, стерва!

Токаря задвигались, обступили Кукушкина, будто боясь выпустить. Тулинов часто задышал за спиной у него.

— Ну, что молчишь? — крикнул Егор.

— Говори! — хрипнул Тулинов.

— Будет оплошка! — сказал равнодушно Анс Кенинь и крепко взял Кукушкина за руку.

— Так как, ребята, решаете? — спросил Кубышкин. — Один ответ теперича — гуртом, а не в розницу.

Токаря теснее сжались около Кукушкина. Тот вдруг снова захныкал:

— Не буду, не буду, товарищи! Убейте, не выдам!

Токаря подумали, переглянулись. Анс Кенинь выпустил руку.

— Мотри, кукушка лешева! — угрожающе пододвинулся Кубышкин, — слова держись! В могиле достанем. Дело не шуточное: Сибирью пахнет. Смекнул?

И Кубышкин постучал кокотышками по голове Кукушкина. Тот послушно замотал головой. Еще раз все подошли к Просвирнину, прислушались, перевернули его на спину, склонились к нему. Большие, как две стеклянных пробки, глядели раскрытые мертвые глаза.

— Вот и дождался Ванька! — проговорил Кубышкин со слезами в голосе. — Вот и достукался! А чево бы не жить, дьяволу, по-людски Попаданье хорошее вышло.

— С двух раз, — сказал Егор.

— Гляди, Кукушка, и твоя копеечка не щербата. Рядом нарошно лежать не пришлось. Обмозговывай себе на ус, хлебаючи. Может, себе на шею не застрелили! А? Как говоришь?

Кукушкин серьезно и твердо ответил:

— Один раз поверь, дедко!

— Ну, то-то! Так хорошо. По-товарищески.

Кукушкин, прижимая простреленную руку к груди, пошел с Кубышкиным. Старик бодро шагал по крепкой снежной дороге, покашливал и тряс бородой. Кукушкин чувствовал, как в рукав сочилась кровь, и рубаха прилипала к ссадевшей и нывшей в руке дырке.

— Придешь домой, — учил старик, — рубаху долой, на рану ковш воды, самого холоднячку: штобы зажало ямку-то и ржа от пули вышла, ниточки там от рубахи смыло. Тополевой примочки хорошо в рот-то открытой, в устье приложить. Есть примочка в хозяйстве? Нет. Можно и без примочки. Лаком еще заливают. Лак есть? Есть лак, лаком и залей. Дома-то кто посмекалистее, чистой новиной туго-натуго, до отказу пускай руку завязывают. От натяжки мясо к мясу прилипнет и, глядишь, срастется лучше прежнего. Не хулигань потом. Жизнь на волоске удержалась. Ты што, ты пристяжной, а вместе с коренником плеть и по тебе угадала.

Да мало, да мало! Конец слободе маяться. А ты сам опосля радоваться не перестанешь. И от сего дня первый товарищ. Нутро-то у тебя, Кукушка, не все пропито?

Кукушкин пересилил боль и шум в ушах, покривил лицо усмешкой и тихо простонал:

— Есть еще маленько...

— Нам много и не надо: будет и маленько. Где уж много ожидать от такой паскудной жизни!

Кубышкин дошел до своей квартиры на Зеленом Лугу и остановился.

— Отворачивай оглобли, — живо и улыбаясь проговорил старик, — не забывай, Кукушка, обещаново! Утречком вся каша заварится. Раньше Ваньку найдут,—может, ночью. Нет, ночью отдых свой бережет полиция. Не сплохуешь? Ну, в добрый час! С войны не с войны, а рука на привязи! Задавай топтуна!

Кубышкин зашаркал в калитку. Взялся за кольцо, обернулся к уходившему Кукушкину и закричал в догонку:

— Лаком залей густо-нагусто! И пе-ре-тя-ни!

Кукушкин поплелся. Он добрел до Аннушки. Постучал в окно. В окне заколебался прыгающий ламповый свет. Аннушка, не торопясь, сняла со стены лампу, вышла в сени и, загораживая ладонью огонь от ветра, отворила дверь. Отворила и сморщила брови.

— Нет его, не пришел. Чего надо? Где разошлись? Спозаранку за пьянку?

И потянула закрыть дверь. Кукушкин заторопился...

— Аннушка, Ваньку... пристрелили!

Аннушка вскрикнула. Лампа закачалась, закланялась в руке.

— На всполье... На пожарище... Мне руку насквозь... Сказать зашел о Ваньке...

Зазвенело в голове, будто сбросили с высоты стеклянную посуду. Одну и другую. Он опустился на ступеньку.

Скоро Аннушка выбежала из дверей, завязывая на бегу платок, задела его по лицу, не заметив, шубенкой — и кинулась по улице. Отовсюду бежали бабы, ребятенки, рабочие.

На пожарище уже толокся люд. Аннушке дали дорогу. Горел на снегу маленький ручной фонарь и багрово светил на лежавшее тело. Лицо Просвирнина было закрыто папахой. У изголовья, на широком березовом полене стояком, с шашкой между разошедшихся ног, сидел городовой. Аннушка всхлипнула. Колени пригнулись. Она сняла папаху с лица — и зарыдала. Городовой пошевелился, поднял папаху, закрыл снова лицо и недовольно сказал:

— Не приказано трогать покойника. Как есть, так и должно быть. Плачь, плачь, а рукам воли не давай!..

Люд сердито и возмущенно загудел, зазвенели колокола и ширкунцы бабьих голосов.

— Нам што, — оправдывался городовой, — мы по службе поступаем.

Аннушку отвели к сараю и посадили у ворот. Оставили одну. Люд расступился в стороны, чтобы видно было покойника. Аннушка прижала голову к коленям, дрожала от тихого плача и тихо, укоризненно шептала:

— Ой, Егòра! Ой, Егòра!

Глава VIII.

Всю зиму шли с Чарымы тучи с снежной поклажей и разгружались на погосте у Федора Стратилата, на Наволоке. Давно садили сосну за каменной оградкой, но не поднималась она выше человеческого роста, обламывало ей голову снегами, раздавалась она только вширь и хирела. Высокое, прямое дерево сосна, не любит она тучности! Впрок шла кладбищенская костяная земля серебробровому тополю и сизому ветляку, а глубокая снежная наваль пуховой периной грела сосуны-корни. Как обтаивал снег по весне, черной решеткой лежали у комлей сломанные веточки, ветки тополей и ветл. А не убывало. Когда приходило время рядиться на Троицу, трескались припухлые от зеленого сока и клея почки и складно развертывались листками. С прохладцей скатывалась полая вода с погоста, подмывала могилы, поклончивое дерево, ветла, изгибалось за водой, а тополя мокрогубые и вверх лезли, и в обхват полнели. Будто и не было сердитой ломучей дереву зимы. И густели на погосте с избытком дерева от солнечного согрева тенистой рощей плескуньей.

Церковную сторожку тополя обложили осадой, трубу закрыли лапами, нависли бровями-наличниками над окошками. Никита сторож лазил с топором каждую весну, сек, рубил, крушил тополя, они снова неунимчиво налезали. А на корню срубить жалко, бок обтесать того жальче — погорбишь дерево. Так и стояли хозяевами.

— Тополь, как гнилой зуб, — говорил Никита. — Распаршивое растенье! А попробуй без тополя? Зимой с погоста сдует. А то за ночь на голову заместо шапки сажень белого товару накладет. Так-то, племяш! И от тополя служба не малая!

Сережка смеялся и поддакивал.

— И нам кстати.

— И вам усторонье хорошее.

Другой год в сторожке у Никиты собирались заводские и фабричные кружки: Сережка свел с дядей-бобылем. Платили Никите по двадцать копеек за раз, на веники; сорили много в сторожке. Сдавали на сохраненье Никите книги, листки, нужных людей прятали в сторожке. Когда прятали нужных людей, платили дороже. Промышлял Никита по-родственному. Складывал двугривенные в кисет, а по субботам шел в город в ренсковой погреб. Любил Никита бальзам.

Поп зазвонил к Никите по требе в неположенное время. Никита застранил попу дорогу в сторожку и вкрадчиво и виновато въелся голосом:

— Племяш с товарищами зашел, батюшка! Ну, конешно, и винишко в угощенье дяде, мое дело сторона!

— Не место вину на кладбище, — твердо сказал поп, — пусть закладывают у себя дома.

— Это верно, батюшка. А как же к дяде и не зайтить племяшу? Ровно бы родство почитать след?

— Родству я не мешаю. Я против вина, Никита, говорю. С вином сторожка церкви плохая.

— Так я-то, батюшка, чуть дыхну, мое дело сторона! Да и племяш-то у меня не больно усердствует. Боле для плепровождения времени. Церковь я блюду, кажись, так банк с деньгам солдаты не блюдут.

— Церковь—самое главное. Без повторенья чтобы в следующий раз...

Собирались в неделю два раза. Летом и осенью ходили с лугов. Перелезали в условленном месте через ограду под ветлой. Избоченилась тут ветла в поле широким боком — и прикрывала. Ходил тогда за оградой Никита и бил в колотушку мелким горошком. Когда не работала колотушка, пережидали на той стороне под ветлой и не перелезали. Уходили и так. А то колотушка, помолчав, затевала свою деревянную игру и звала. Во всякое другое время Никита сидел у калитки, поджидая от города, и остерегал. Сережка к дяде ходил прямиком.

Выставляли на стол, как собирались, зеленый стаканчик, каменные крендели и заговоренную бутылку водки: не убывала она, под красной занавеской в горке дежурила у Никиты. Окно Никита держал под ставней. В старый заброшенный склеп за сторожкой, под ржавым замком без ключа, замок от дурака, носил Никита полежалое, отворачивал березовой плахой, прислоненной в уголок, надгробную плиту, вынимал кирпичину в коробке под плитой, вкладывал в выбоину нужное, кирпичем закладывал и плиту поворачивал на положенное место.

Когда не платили в срок на веники, Никита не подымал колотушки и не выходил на лавочку к калитке. Исправляли дело через Сережкv.

— Ты поглядывай, Серега, — сердился Никита, — выдачу путают Беру мало и того не отдают в строк. От фатеры откажу мигом.

Сережка припасал деньги и пересмешничал:

— Деньги верные, сам знаешь! Какой ты есь леволюционер после этого: подождать деньги не можешь!

Никита пугался.

— Ты, Серега, это напрасно, мое дело сторона. Чуть што, смотри, я не повинюсь. На тебя свалю все происшествие. Уговор такой был. От тебя на заварку пошло дело. Дядья не ответчики за племянников.

— Как еще и ответишь-то!

— Шутки шутишь! Я, брат, с боку припека. Мне царь не мешает. Я не согласен против него иттить. До чужого дела мне надобности нет.

— Деньги зачем берешь тогда? Это тебе и зачтется.

— Бальзаму охота, потому и беру. Бальзам для брюха очень пользителен. Брюхо у меня, как дупло сухое, кишки подсыхают, до ветру по неделям не хожу. Оставлять без вниманья брюхо, скажешь? В тюрьме и то брюхо лечут. Зачет мне верной за брюхо.

— Вот поглядишь! Нет, дядька, одним гужом воз тащим. Не отыграешься на пустой!

Никита хитро поблестел глазками.

— Коли так, забирай бумажки. Мне с полицией важдаться смыслов нет. Я от роду в участке не бывал и не бывать бы от роду. Раньше времени помирать мне — насмотрелся я на покойников — ремиз. Я по-хорошему, без ответа ежели, по согласу, один каленкор, а с ответом ежели, мое дело сторона, отводом затворюсь. Отскакивай назад, Серега. Изба моя сору не хвалит.

Сережка ухаживал, угощал дядю табачишком и выдавал ему жалованье. Никита разглядывал деньги, задумывался, и губы сами выговаривали:

— Прибавки хочу просить, Серега, продешевил я по первоначалу. За фатеру в самой раз, а маята получается на поход, да еще и маята-то какая! А за что? За рыск?

— Не прибавим, — как отрубал Сережка.

— А надо бы. Ну, да уж и так ладно. Платили бы без прижимки. Колотушка у меня не купленная, самоделишная!

Пугался Никита, когда шевелилась полиция в городе, шарила в ночь на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах. Слух шел утром от баб. Плакали бабы на речке, полоща белье. И пожарные рассказывали:

— Привезли! Двоих привезли. Засудят, не иначе.

Стучался Сережка вечерком в сторожку, ломился... Никита недовольно и неспеша выходил к дверям.

— Это я... Сережка! — кричал племянник.

— Чего надоть?

— Отопри.

— Не отопру. Нашел время по ночам шляться. Иди себе. Меня дома нет, мое дело сторона. Сплю я. Покойников-то перебудишь, стуколка нелагожая!

Сережка стучал в рамы, в стекла. Тогда снова выходил Никита.

— Не отстанешь ты, мышь летучая? Полгорода на стук прискачет.

— Отопри на минутку, — молил Сережка, — никово нет. Дай опнуться!

— Не пущу, не пущу, — приоткрыв двери и не впуская в сени, сердитым шопотом шептал Никита, — говори скорей — зачем пришел? Не ночевать ли? Постели у меня нету. Ну вас всех к ляду малиновому, мое дело сторона! Ну, што ль?

Сережка совал в темноте Никите узелок и шептал:

— Ухорони, дядька!

— Не возьму, не возьму, — хрипел напуганный голос, — кончил я, насовсем кончил служить...

Но Сережка убегал. Никита плевал долго и растерянно вслед, а потом, крадучись, шарашился в темноте к склепу, осторожно, не скрипя железом, снимал замок и лез в тайник.

Придвинулась весна. Обтаяла у сторожки тоненькая кромочка снега. Будто всплыла сторожка на воде в белой губке снегов. Заегозили по талым дорожкам грачи на погосте. Зачернели тополя весенней чернью. По черным вечерам взывала сова и раскрывался над городом низкий темно-багровый шатер от огней. Никита курил на крыльце подолгу, с расстановкой, поколачивал сапогом об отходившую землю и разговаривал сам с собой вполголоса:

«Д-да. Сидишь, говоришь? А чего сидишь, и сам не знаешь. Вольготно прохлаждаться, ежели жизнь веселит. А какое веселье бобылю? У совы и то сама есть, мое дело сторона. Вона, как подхоркивает! Перья, поди, в заду дрючит? А тебе жизнь по переносице. Выдумали тоже заведение — кладбище! Раньше в курганы зарывали. Какого беса курган стеречь? И почему так: одни сторожа, а другие графы? Он-те в постельке похрапывает, али там выпивает по маленькой, огурчиком закусывает, о графин пальцем колотит. Што весна ему, што зима — одна погода. Смерть жилки подрежет, весь свет в церкве зажгут, пудовики закадят и панасадила, певчие по ем глотку дерут за двадцать пять рублей, голосами по-ангельски выводят жалобы. А сами у него под каблуком кашляли, мое дело сторона. Смерть она на вороту. Говитан близко, а смерть еще ближе. Подохнешь тут! Крестишко там соорудят на первое обзаведение. Повалится крестишко — отметины о тебе и не будет. Кому надо знать, жил-де на свете сторож Никита? А для чего, спрашивается, жил — небо коптил, мое дело сторона!»

Никита глубоко и жалобно вздыхал, выплевывал цыгарку, попадал в нее слюной, наклоняясь со скамейки, и, не попадая, засовывал рукав в рукав, отшвыривал цыгарку ногой.

«Язык устал говорить пустяки? Пожалуй, бородавку набьешь на кончике». — Кто-то шептал в уши: — «Я-сно!»

Сова трепетала крыльями, голосом... Снег оседал в темноте и разваливался на могилах, будто с маленьких низких крыш.

«Вылезают — вылезти не могут, — думал насмешливо Никита, — закупорены крепко, мое дело сторона! Попробуй, вылези сама пробка из бутылки! На совесть работаем! Хорошо делаешь, на-чай поминальщики дают. И э-эх ты, как эту блажь в голове пересилить, штобы тепло было голове под шапкой — и больше ничего. Разглуска одна выходит в непутевых сережкиных ребятах, разглуска с опаской! Ну, как ненароком проведает чужой глаз? Не прове-е-дает! На кладбище человек зря земли не притопчет. Земля противная, человечиной отдает. А ребята роют ямку, в надежде живут: получшеет жизнь маленько, мое дело сторона! Да где уж получшеет? Хуже бы не было. Да и от чего она получшеет, когда те же человеки на земле жить будут? В какой закладке вышла лошадь в дорогу, перегон откачала, в серебряную сбрую ряди лошадь, лишнего шага не переступит. Человек-то, мое дело сторона, его хлебом не корми, дай ему все одному, а другим ничего. По-братски ребята сережкины жить хотят, а Ваньку Просвирнина укатали! Вȯн он тут под ветлой червивеет, драчун!

Надрался до ручки! И лежи, коли не умел с самим собой сладить! И э-эх ты! Какое о чем рассуждение правильное, поди, никто не знает? Живут так, будто все знают, а на поверку день да ночь, ночь да день! И больше никуда. В омут головой человек окунывается в жизнь, пятки в небо глядят... А чего глупые пятки в небе увидят, мое дело сторона?»

Закуривал опять Никита, слушал тонким ухом, как бежала где-то водица под снегом, ветрогон ветер весенний шарил на колокольне мелкие колоколишки и терлись о них языки, словно ехали где-то далеко тройки за тройками с ширкунцами и бубенцами. Плотный, будто ледяной родник, обмывал лицо и всякое голое место, весенний ветер лился в горло и в ноздри Никите свежей густотой прохлады.

Надышав широкую грудь, уходил Никита в избу, ставил самовар и пил чай, капая в стакан за стаканом черный и липкий деготь бальзама. Нагнетал за кран самовар, подтаскивал его ближе к себе, щелкал стречком по медной опушке — и вдруг размягчалось лицо, губы сладко расходились, смежались щелочками устало и опухше глаза, Никита трудно поднимался с тубаретки, пошатывался на полу, как речной маяк на зыби; и вслух, осклабясь, говорил:

«А и отдохнуть тебе, Никита, не грешно! Ложись спать, добрый молодец! Ги-ги!»

Глава IX.

В апреле на Страстной ночи стояли теплые, вороные. Никита в четверг, обходя погост, колотушил изо всей мочи. В избе у него было много народа. Сережка привел незнакомого барина со светлыми стеклышками, бритого, с тросточкой, тонконогого, в серой шляпе: из-за границы приехал. Пальтишко на нем было обмызганное, конопатое, а руки тонкие, благородные, и голос тонкий, колокольчиком. Спозаранку пришли свои ребята — Тулинов, Егор, Кеня, Мясников, Кукушкин, учитель-чахотка Тар-Тарары и привели впервой каких-то заводских и мастеровых. Пришли две молодых не то девки, не то бабы из рабочих: никогда прежде не были. Под ветлой лезли и лезли, как кончили в церквах читать двенадцать евангелий и прошел народ, больше ребятенки малые, со свечками по домам.

Смирно сидели в избе и шептались. Сережка тоже из-под ветлы сегодня вылез, а не прямиком. Барина подсаживал на ограду. Смеялись оба. Никита, когда барин на ограде показался, ударил в колотушку с плеча, даже в руке стало больно.

— Может, дядька, звон начнешь, как архиерею, больно колотишь? — шепнул Сережка в ухо.

Никита обиделся, перестал стучать и забурчал:

— Чем не архиерей, ежели такой переполох у тебя? Нагнал народу — изба трещит!

Барин назвал Никиту товарищем и подал руку. Никита запутался с колотушкой, освобождая руку, притронулся до руки барина и услужливо забормотал, идя быстро вперед к сторожке:

— Вот сюды, сюды... О могилку не запнитесь. Фонаря я, дура, не смекнул принести. Серега, сбегай за фонарем, мое дело сторона!

Сережка и барин весело засмеялись.

— Будет, дядька, смешить, — сказал озорно Сережка, — стучи в колотушку. Мы с товарищем Иваном одни дойдем. Два шага дороги. Пусти-ка меня вперед, чего зад вилкой держишь?

— Брысь ты, дуб!.. — крикнул обозленно Никита и замешкался на месте.

Его обошли. Барин осторожно и хрупко кружил между могил. Никита не отставал, вглядывался ему с любопытством в спину, нагибаясь вперед. Потом, подумав, поднял колотушку и забил... Иван вздрогнул, потянул шеей. Никита перегнал барина у сторожки, отворил широко двери и полез в сени, топоча ногами в привычной темноте.

— Будто вельможу дядька тебя встречает, товарищ Иван! — громко сказал Сережка, наклоняясь в дверь за ним.

— Даже неловко, — шепнул Иван. — Чего он, право?

Никита открыл дверь в избу. В сени выскочил желтый подсолнечник света, и хлынул серыми гривами табачный дым. Никита посторонился и пропустил барина, поправлявшего на ходу стеклышки.

Никита крепко закрыл за собой дверь и, не сводя глаз с барина, опустился на порожек.

Товарищ Иван огляделся, присел на краешек к столу, положил пальтишко на колени и прикрыл его серой шляпой. Все молчали. Егор тогда шепнул Сережке:

— Колотушку-то надо выпроводить. Не к чему ему знать лишнее. Покупной он человек. Иван, может, секретное скажет в докладе. Скажи, дороже заплатим за сегодняшнее.

Сережка подкатился к Никите:

— Дядька, постеречь бы тебе!

Никита недовольно поглядел на племянника:

— Можно и постеречь. Послушаю малость, что энтот... Стеклышкин... говорить станет — и постерегу, мое дело сторона.

— Поздно бы не было, дядька? Нам эту птицу под большую охрану дали. Не разварзаемся с ним! Не уберегли, скажут! Организация тебе сулила награду за сегодняшнее...

— Пора начинать! — кто-то сказал с лавки. — Время идет.. Все в сборе!..

Иван откашлялся и потрогал шляпу.

— Минутку, товарищи! — выкрикнул Егор, глядя к двери. — Товарищ Никита на сторожку спервоначалу встанет от бродячего народу.

Все повернулись к Никите. Иван усмехнулся, вспомнив о колотушке. Никита не выдержал буравляющих глаз, поспешно вскочил, заторопился и повалил в двери, охранно заколотя в колотушку уже в сенях. Сережка выскользнул за ним и замкнул дверь.

— Пошто запираешься? — сердито из-за дверей зашумел Никита. — Што за новости такие? Не хозяин в своей избе, выходит?

— Ну, отопру! Какой ты, право, дядька! — откладывая засов, засмеялся Сережка. — Ты в другой конец отойдешь, а тут... чорт ее знает... кто и шасть прямо в избу. Тебе понадобится, ты в окошко постучи. Твой стук знаю, небось!..

— Запирай, когда так, мое дело сторона, — согласился Никита. — Вот пошто только мокрохвостых привели: избу опоганили. Бабье ли дело по мужику бабе равняться?

Никита помолчал и добавил:

— Беловолосенькая-то ничего: товар крепкой! Как зовут-то?

— Аннушкой. Ваньки покойника — журжа. Затворю, значит, дядька? Стучи. Некогда прохлаждаться!

Сережка щелкнул засовом и убежал.

«Про-свир-ни-ха? — протянул удивленно Никита. — Во-о-т кто-о-о! Она-то пошто пришла!»

Никита пошел кругом, раздумывая в бороду:

«Муж на кладбище поляживает, а она подолом над могилкой вертит! Знал бы, не пустил сученку... Ну-у и ле-во-рю-ция! Пустяковина, а не ле-во-рюция. Где баба замешается, окромя похабства ничего не будет. Подстилки чортовы! Выходит... Егоркину полюбовницу охраняю? Егорка на охрану посылает, а с ним заодно Сережка, вислоухой! Тьфу!»

У ограды, недалеко от святых ворот, кто-то зашабаршил и покряхтел. Никита испуганно рванул колотушку, подошел к решетчатым воротам, прислушался, вгляделся во тьму, в слабо белевшее пятно и зыкнул голосом:

— Кто там бродит ночью по ограде?

Кто-то охнул, приподнялся и покорно ответил:

— Мы, прохожие, добрый человек. Не бойсь, не воры какие. Столяры мы...

— Чево вам надобно у ограды?

— Нужда застигла. На хутор свой идем, на побывку, на праздничек, лугами...

— Пошто гадите у ограды?

— Какое гаженье? За ночь подсохнет... Не в штанах нести, когда хлеб... стучится... в устье...

— Проваливай, проваливай, безобразники!

— Сичас... уйдем, — лениво ответило белое пятно, снова приседая, — нам... лу-га-ми...

Никита обогнул погост. Он перешагивал через могилы, вспоминал по именам и по отчеству покойников, хваля и ругая их, смотря по памяти. Отогнал свистом долгим и пронзительным, сунув пальцы в рот, табунок забредших с лугов коней из Прилуцкой слободы под городом. Послушал с усмешкой испуганное ржанье коней. Кони взвили хвосты и бросились по лугам, мягко колотя по земле раскованными копытами. Никиту потя-

нуло к избе. Он осторожно пододвинулся к окошку, приваливаясь к косяку. Из-за ставни выливался тоненький бабий голос — дзинь-дзинь-дзинь. Никита долго не мог разобрать слов. Он сделал ухо трубочкой и прильнул к щели. С трудом Никита начал понимать слова, но они вызванивались в окно оторванно, отдельно, стирались для слуха, как на могильной плите замшавелые, высеченные по камню слова, пальцем ощупаешь, видишь глазом, а прочитать нельзя.

В голове у Никиты чаще других слов шевельнулись слова: рабочие... товарищи... Ермания... Хранция... и Никита довольно и удовлетворенно подумал:

«Ишь ты, о загранице повествует! Человек-то он приезжий, загранишной... А што Сереге заграница, пошто? И другим тоже! Мине, к примеру, мое дело сторона. Аннушке тоже. Ей кобеля надо, а тут ученость! Награду обещали... за пустяки. Тешат маленьких. Ну, не пьют — и то хорошо. Ле-во-рю-ция? Господа промеж себя не поладили: и ле-во-рю-ция, мое дело сторона. На свою сторону привечивают, штобы супротивника накрыть во-время... Подыгрывают... Рабочим и мужикам ка-а-к живется неповадно, кто энто не знает? Как есь по этому месту и бьют. Жулье! А нам што: плата есь — и ладно, мое дело сторона».

И Никита махнул рукой, пропала охота постучать в ставню и вызвать Сережку. Он ходил в вороной и теплой ночи кругом, курил, чиркал за ограду слюной, нюхал давшие почку тополя, грыз залежалый в кармане баранок, усаживался на каменную ступеньку у паперти и спокойно, равнодушно служил погосту, ребятам с завода, господскому потайному делу.

Наскучивало сидеть на улице, холодал, собирался в избу, но глаза легонько и сладко укладывались на покой. Никита прилегал на руку и дремал. Вскакивал он от ночного шелеста голубей на колокольне и колотушил, будто наверстывая усердием за молчаливую дремоту. И снова шел в обход по кладбищу.

За ставней тот же голос просился в уши и был, как немой, непонятен и косноязычен. Пришла крепкая, теребливая скука. Никита стукнул Сережке.

Вышел Егор за двери и сразу окатил холодной водой.

— Кончаем, товарищ Никита! Пропешедралуй еще разик: нет ли кого? Выходить сейчас начнем. У ветлы взгляни.

Окатил — и ушел, запирая двери.

Никита опешил, хотел рассердиться, а только сказал:

— Где Серега-то?

И, не дождавшись ответа, насмешливо кривляясь, добавил:

— Мне бы на ночевку, ваше благородие. А?

Никита вяло походил около сторожки, прикусил зубами клок бороды, навалился на рогатый угол и раздраженно завыводил:

«Распоряженье гу-бер-на-тор-ское, вши-ва-я биржа! Убил одного человека... баба ево понадобилась, стер-р-ва! И не отрыгнулось!.. Днюют

и ночуют в избе, сук-к-и, а меня же и хоронятся. И, скажи на милость, дураком считают, сами дураки!»

Обида родилась сразу, как искра в цыгарке, ожгла глаза, скользнула по рукам и застряла перебоем в сердце.

«А я ли не стерегу другой год! — воскликнул вдруг Никита и швырнул колотушку под скамейку. — Серега тоже прохвост! Племян-нич-ки пошли!»

Расходились в двенадцать, молча, сторожко, по двое, ныряли под ветлу и, не гремя о железную крышу оградки, спускались в луга.

Барин со стеклышками вышел первый с учителем Тар-Тарары прошел мимо, не заметил и на ходу сказал:

— Удобное место, знаете! И сторож... с официальной колотушкой!.. Показывайте, как итти! Я вижу только свои пенснэ.

Учитель тихо засмеялся.

— Я тоже ничего не вижу. Варварская ночь! Я... больше наощупь...

— Ну, наощупь, так и наощупь. Шагаем. Там где-то лезть надо!

— Найдем.

Никита прижался к стене, пропустил и зло подумал вслед:

«Как на костылях идут. И труба в глазу не помогает. Спасибо не сказали за помещенье и... за хлопоты. Надсмешки еще над колотушкой А без колотушки совсем бы пропали, бездомные!»

Сережка с бабой вылезал последним.

— Надо дядьку, Олюнька, покликать. Куда он запропал? Потом и пойдем.

— Вон кто-то стоит, — сказала Олюнька.

— Дядька, ты?

— Ну, я... Чего тебе! — выкрикнул Никита дрожавшим от гнева выкриком.

Олюнька вздрогнула от неожиданности.

— Вò голосина! — фыркнул Сережка. — Напугаешь неровнò! Женщина назад подалась со страху. Уходим мы, дядька. Я завтречка забегу.

Никита помолчал и буркнул:

— Ладно. Хоть и не забегай — не заплàчу.

— На сердитых воду возят, дядька, — сшутил Сережка. — А я прискачу.

И пошли в обнимку.

Никита разомлел вдруг... Отлегло у него сразу на сердце от веселого Сережкина голоса, от обнимки Сережкиной. И он весело крикнул в догонку:

— Кралю-то береги!

Сережка и Олюнька засмеялись, невидные за темнотой.

— Поиграй в музыку, дядька! — задорно стрельнул Сережка из-за склепа.

— И-де-е-т!

Никита засуетился около лавочки, ошарил колотушку и задребезжал мельчайшим зерном.

В темноте звонко переливался смех, будто роняли бубен и плясали с ним.

Глава X.

Сережка с Олюнькой кружили по лугам и никак не могли дойти до города. То на дороге возникал круглой шапкой горбыль, то сухой валежник, нанесенный чарымскими разливами, хрустел и заплетался под ногами. Тогда останавливались и садились. То Олюнька находила на небе замысловатые звездные узоры, как бархатные поля с серебряными колокольчиками, показывала Сережке рукой — и опять останавливались. Подолгу глядели на горящие небесные лампы, и Сережка приникал удивленными губами к удивленным губам. Рука у него устала обнимать Олюньку и вести ее. Они шли рядом, раскачивая качели рук.

У Коровинских мельниц лежал старый смолотый жернов. Олюнька села на него. Сережка свернулся ногами на земле и облокотился на ее колени. Олюнька сняла с головы картуз и со смехом откинула в темноту.

— Чего паришь голову?

— Я... вот как тебя потащу!

Сережка крепко стиснул ноги Олюньки. Она обняла его за голову, наклонила, вдавила в колени и навалилась сверху грудями, трогая в коленях быстрыми пальцами лицо Сережки.

— Задушу-у! Не отпущу-у! Не вывернешься, кот!

— Я бы век так лежал, — бурчал Сережка: — тепло и не дует.

— Прискучило бы. А чего бы вылежал-то так?

— А мне ничего и не надо, как с Олюнькой сидеть. Ей-ей, Олюнька, как это... сделалось, веселье у меня на душе страшенное. Все бы смеялся и прыгал щенком. На людей прыгать охота.

— Известный ты пустосмешник!

— В цеху у станка стою... Задумаюсь... А ты будто тут рядком дуешь на меня.

Олюнька отлегла грудями и беспокойно сказала:

— И штобы не делать так! Еще пальцы напрочь отхватит! Куда мне урода: на божницу ставить? Али вместе побираться под окошками?

— Не отхватит... А и отхватит, за тебя не жалко.

— Так тебе я и поверила. Все вы до поры до времени улещиваете, а потом в зубы. Много нашей сестры глаз вымочило. Не объедешь. И люблю, а не поддамся.

— Хвастунья ты!

— Ничего не хвастунья, а вокурат как раз.

— Я не таковский, Олюнька, и есть. Ты меня толком не разобрала. Мне снасильничать и в голову не придет, как другие ребята. Люблю я в засос, а руки у меня позадь супонью стянуты.

Олюнька прижалась к Сережке. Звезды догорали последним огнем в проходящей ночи. Они устало шевелили серебряными ресницами, уходили выше, мельчали, будто тухли на ветру.

За спиной поскрипывали мельницы. Ветер спал, обессилев дуть и шататься над землей с шестой недели поста. На шестой неделе шел лед, ветер заработался, гоня дождь на подмогу весенней тайке снегов. Он только теперь ворочался во сне — и тогда, как птица перекладывала крыло на крыло и затихала в гнезде, давали легкую качку мельничные кресты.

— Вот когда прижмем хвост богачам да царям, — задумчиво сказал Сережка, дыша горячими губами, — и нам, Олюнька, житье будет другое.

— Ты это к чему?

— Больно полусапожки на тебе худые, вот к чему.

Сережка просунул палец в дырку на полусапожке с бочку и пощекотал охолодевший чулок. Олюнька откачнула ногу.

— Усмотрел тоже, беда какая!

Она начала одергивать платье на полусапожки и закрывать их подолом, приступая носками на оборку.

— Не гляди, не гляди, — чего, право?

Сережка засмеялся.

— А вот и погляжу. И не совсем видно, а видно.

Сережка приподнял краешек подола. Олюнька хлопнула его по руке, зажала подол между полусапожек — и застыдилась.

Вороная ночь исходила серыми яблоками облаков. Луга показались под серой золой прошлогодней травы. В дыму наползавшего из-за Прилуцкой слободы пасмурного рассвета круглели купола стогов, и вразброд бродили кони в ночном. И казались купола стогов палатками чьего-то кочевого стана. Будто спали в палатках люди, а вокруг ходили и наедали травяные мешки для денного пути кони.

— Я боюсь, Сережа, как бы слезами не отлились собрания эти... И будет ли толк? У нас на винном складе сорок баб и девок посуду моют, а мы только с Аннушкой на кружки ходим.

— Вы подталкивайте других.

— Я и сама-то ничего не морокую. Больше... из-за тебя хожу.

Сережка бережно обнял Олюньку, обвив ее рукой по жернову. Она подняла его руку повыше, на талию, и погрозила пальцем.

— Крепыш ты у меня, Олюнька! Нельзя и дотронуться! Я по безгрешному. Рука сама легла.

— Не туда ложится, куда след... Баловаться привыкнешь, отвыкать трудно.

— Никита-то как сказал — краля? Краля ты и есь! Ни тпру, ни ну!

— Тебе хотелось бы по-другому?

Сережка серьезно взглянул на Олюньку и, дрогнув ноздрями, покачал головой:

— Нет... нет... нет...

Небо загустело тяжелыми надутыми облаками. Они медленно текли с востока. Будто шел весенний лед плесами широких льдин, он не переломался в луках, в зажорах, в речных петлях, его выносило сразу, дружно, бесшумно на попутных парусах — и наносило на город. Рассвет снова потемнел, как начиналась под-ряд другая ночь. Солнце утонуло в облачном ледоходе и не показывалось.

— Аннушка одна только много понимает, — сказала Олюнька, — откуда набралась? Ваньку убили... На другой день поступила на склад. И работает, как мокрое горит. Баб она сомущает. Кричат, кричат бабы, а по ее выйдет. На заводах сколько работает — тысячи? Раз-два и обчелся с понятием. Кабы все на Аннушку походили. Мне за ней не угнаться. Ничего у них только с Егором не выходит. Аннушка сохнет, и Егор сохнет. Все этот противной Ванька замешался.

— Да. Наделал делов Ванька. Сколько народу из-за него пересидело в тюрьме. А не допытались! Ты говоришь с сознаньем народу — сахару на блюдечке. Так што? Тут горсточка, там горсточка — гора и наберется. Слышала даве — по всей России разрастается лес...

— Может, так говорится только. Баринье все ездит. И докладает.

— От кого же, как не от образованных, научимся? Егор книг прочитал, а и то путается. Баринье, Олюнька, липовое. Складно говорят, на баринье и походят. Другие ребята не верят. Конешно, мы не без разницы. По мне, так на разницу наплевать, лишь бы дело шло. Они нам нужнее нужного. Время придет, все выйдут. Вон, гляди, Ванька озлел слободе, прохвост, таскали-таскали на допросы, ни один не сболтнул лишнего слова. Будто Ванька сам себе пулю в спину пустил, а Егора и вблизи не было.

— Одна Аннушка Егору не простила.

— И Аннушка не выдала. Простить, ее дело. А слободе поперек не пошла. Присяжные в два счета решили дело. Кукушкин с Егором да с Тулиновым поцеловались у суда и вместе выпивать ходили. Кукушкин какой парень стал — цены нет парню. Во переворот! Вся артель Ванькина, как дерево трухлое под топором в труху...

— Аннушка смирная была какая при Ваньке...

— Будешь смирная. Кулаки-то у него были не ситный хлеб. Боялась. Оттого и в революцию кинулась.

— Любил он ее без памяти, разбойник. Бил, это ты напрасно костишь покойника, мало.

— Ну, со страху была смирная.

— Я вот у тебя тоже смирная.

— Ты недотрогистая, а не смирная.

— А ты рад девку, здорово живешь, под себя подмять!

— И это... не худо.

Сережка стянул Олюньку с жернова и посадил рядом, сжимая тело в обхват напруженными загрубевшими руками.

— Ну тебя, обнимальщика! Сак замараешь! Будет! Пойдем домой. Гляди, как свет бежит с неба... Торопится. Туча-то какая — свалится еще?

— Тут зато не замараешь... и сиденье помягче...

Сережка быстро просунул одну руку под ноги Олюньке, а другой, обвив талию, пересадил к себе на колени.

Олюнька обтянула платье на коленях, зажала ноги, уселась удобнее, примеряясь задом, положила ему на плечо голову.

Они затихли, замолчали. Кровь, как соки под корой дерева, невидимо лилась извилистыми жилами, несвязная, пьяная, толкучая, вытекала в свившиеся руки, палила сольнувшиеся губы и грела-грела-грела, приливала теплотой, невидимо проходившей сквозь пористые одежды в скважинки ниток, узлов, строчки... Сердце Сережки колотило в упругие холмики грудей Олюньки отчетливыми, слышными, тугими толчками.

Олюнька зевнула. Сережка подтолкнул, помешал... Она засмеялась и стала вставать.

— Натягивай паруса, значит? — спросил Сережка, покачиваясь.— Ноги-то у меня затекли. В переплет были.

— Ишь, отсидел, сидючи с милой. Искра в ногах! Так и до простуды недалече. По ночам росы злые, едучие...

Они пошли к городу нетвердым, качливым шагом.

Остановились у калитки, на Зеленом Лугу.

— Я... зайду к тебе? — попросил виновато Сережка, шныряя глазами по щели забора.

Олюнька нахмурилась.

— Нет, нет. Увидят. Скажут, ночами ребят вожу. Ты ополоумел? Ты опять за свое?..

Олюнька подумала, быстро оглядела улицу, прислушалась, повернула ослабевшего Сережку лицом к улице, горячей атавой тела прижалась к спине, подержала крепко и сильно обомлевшего Сережку, рывком поцеловала его сбоку, толкнула вперед, скрылась за калиткой, вбежала на крыльцо, сунула за опушку руку, достала ключ и помахала им Сережке. Он видел только одну голову Олюньки за забором. Она не отпирала дверь, она подмаргивала ему глазами и морщила брови, кивая головой к плечу. Сережка, не понимая, стоял и хмурился. Олюнька нетерпеливо махнула рукой вдоль дороги — и отвернулась. Сережка нахлобучил картуз.

Олюнька поднялась на цыпочки, еще раз взглянула, приложила к платку руку — «честью» — и вошла в дом.

Глава XI.

Как перелезли под ветлой, так и пошли рядом. Молчала Аннушка, молчал Егор. Молчала ночь. Молчаливо лежал предпраздничный город далеке с ночными маяками огней. Не слышно было шагов в лугах —

и было так просто итти молча. В городе Аннушка услышала тяжелый нажим каблуков Егора о каменную колкую мостовую, а в ушах Егора забился частый, убегающий шаг Аннушки — и стало невмоготу.

У Девичьего монастыря, у святых ворот, маленькая монашка спускала на проволоке фонарь. С тихим поскрипываньем он плыл сверху. И сразу башенки ворот усекались, сливаясь с ночью. А на землю лег широкий янтарный круг огня. Фонарь качался у пояса монашки. Ворота стояли обезглавленными с черной дырой калитки на боку. Руки монашки суетливо двигались у поплавка с фитилем, будто вдевали в ушко иголки нитку. Белое лицо, как снег на черном перегное полосы, наклонилось над лампадой. Прошли мимо. Монашка подняла длинные неровные ресницы. Свет лампады зажегся под ними, и два темных глаза, горящих голубым отливом — будто небо упало в них, — приметно и горько поглядели на Егора. Монашка отошла к стене и взялась за проволоку. Янтарный круг с фонарем посредине казался огромным, плававшим на воде, поплавком.

Аннушка вошла в тень, остановилась, повернулась к монашке, взглянула мельком на Егора и недружелюбно сказала:

— Чего она глазами проглотить тебя хочет?

Монашка услышала голоса, вгляделась в темноту и перестала подтягивать фонарь кверху. Фонарь, как золотое кадило, закачался и закланялся перед воротами. И вместе с ним качались и кланялись вдруг выступившие в полумраке башенки ворот.

— Зна-ко-о-мая?

Егор тихо, обрадованно ответил:

— Нет. Я не знаю ее.

Тогда Аннушка схватила крепко руку Егора, прижала к себе и потащила. Часто, задыхаясь, дрожа, заговорила она:

— Пойдем, пойдем... Я ревнивая. Ты думаешь, я забыла тебя... разлюбила?.. Не помню каждый день и час? Чуждаюсь тебя, думаешь, не говорю с тобой?.. И все прошло. Ничего, ничего, ничего не прошло!

Аннушка закричала над самым ухом. И повелительный голос словно топал ногами на Егора:

— Говорят, не прошло! Ах, Егόра, Егóра. Как на сердце больно! Давит сердце какая-то рука в кулак... Не хочет отпустить. Сердце туда-сюда, а везде стенки. Будто в клубке с нитками сердце... в середочке. Держи меня крепче, я шатаюсь. Постой, я продышусь.

Егор осторожно поддержал ее.

— У тебя... у тебя платочка нет? Слезы вытру... Што я — у самой платок на голове.

Аннушка рванула платок с головы и закрыла лицо. Волоса Аннушки пошевелились на щеке у Егора, скользнули по глазам, мешали, но Егор сам тянулся к ним, опутывал ими губы, глаза, щеки.

Аннушка торопилась, бежала, останавливалась, опять бежала, держась за Егора. Изнемогла...

Сели на бульваре, у архиерейского сада, на скамейку. За высоким досчаным забором плескалась и переливалась вода, а потом редко, уныло, глухо булькала о камни и гудела. Будто задевал кто-то в саду о жилу виолончели.

— Сердце у меня стало плохое. Вот как плотина у архиерея. С дырой. Ты не подумай, я набиваюсь к тебе. Как тогда сказала, так и будет. Отжила я с тобой. Тянет, ой как меня тянет к тебе! А я за вожжи себя. Егòра, Егòра, зачем ты убил Ивана! Так бы и жили мы с тобой: украдчи слаще жить.

— Аннушка, но ведь он бы убил меня! Ты пойми, подумай. Вся слобода рада его смерти. Мы сто раз говорили с тобой.

— И... напрасно говорили. Это я... я убила Ивана. Ты только выстрелил. Бросила бы я тебя, ничего бы и не было. А я не бросила. Баба я. Ты слышишь, я зову его Иваном? И ты не называй его по-другому. Не надругивайся! И тебя мне жалко... Вот как жалко!

Аннушка обняла Егора и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалко дрожала на плече у него.

— Аннушка, он против всех шел.

— А не убивал... не убивал! — зашептала Аннушка, отстраняя и отталкивая Егора. — Я полоумная, скажешь? Из любви к нему маюсь? Ненавижу его! Все тряпки его сожгла. На память ничего не оставила. А чтобы через смерть получить счастье?.. Не настоящее это счастье!

Егор дотронулся до руки Аннушки, но она вскочила, закричала, затопала ногами:

— Не ходи за мной! Не ходи! Я одна пойду!

Аннушка скрылась в темноте березовой аллеи. Егор долго сидел, ничего не слыша, ни о чем не думая. По бульвару прошел человек и, на ходу закуривая, чиркнул спичкой. Егор вздрогнул и очнулся. Из темноты показалось освещенное лицо и напуганные глаза. Егор вспомнил, что и он давно не курил. Ощупал в кармане смятую коробку папирос, вынул и закурил, смотря на красный кончик затеплившейся папиросы.

На архиерейской плотине зашуршал, обвалился ком земли, вода заглохла. И долго в саду стояла тишь. И снова рассыпалось на плотине будто зерно из мешка, и кто-то начал набирать в узкогорлые кувшины воду — бульк-бульк-бульк и разливал их — шль-шль-шль...

Егор, медленно и глубоко вдыхая табак, докурил, отстрекнул окурок — и пошел по бульвару. И сразу же из темноты, из-за деревьев, вышла Аннушка.

— Какой сторож-то у тебя!

И голос был другой, колеблющийся, ломкий, отступающий...

Крепко и зло сказал Егор:

— Ты тронулась!

Он сжал ее за руку и повел.

— Где бы жить, лучше не надо теперь... Поле чистое, ровное, гладкое, как плита: никто не мешает.

— Это родимчик меня бьет, Егóра. Отец у меня от вина сгорел. Я и вышла трясунья подлая! А ты — дубовый! Из тебя не согнешь дуги: концы раскочатся.

В голосе Аннушки была насмешка и нежность.

— Дубовый не дубовый, а хозяин себе. У дуба у этого червоточина большая живет. Залечить бы...

— Это не я ли червоточина? — вспылила Аннушка. — Бабы другой захотел? Постничать надоело? Я из рук выскакиваю — выскальзываю налимом?

— Не горячись зря. Ты в отца, а я в мать. Покойница у меня помирала, мучилась на полу, сестре моей наказывала: Машка, огурчиков-то насоли, капусты наруби. Отец с ребятами зимой и покушают всласть. Я в нее. Через все горя человек пройти может. Мать была заботливая, я в нее. Жизнь свою устроить хочу. Терпенья у меня, как у машины. Неразговорчив я — больше слушаю. Люблю один раз. Не люблю с походом все разы. Чего ты беснуешься, отбесноваться не можешь? Кончено. Воз по тебе проехал, говоришь, а самой под воз смерть охота лечь. Полынь на дороге рвут на веники, где лесу мало. Намучились за год. Будет. Вырывай сразу. Не запутывай себя!

— Егóра, у меня туман в голове. Кружится там все. Маленькая свалилась я с яблони, сквозь сучья вниз головой так летела. Мне жить больно. До чего подлые люди живут на земле! Глаза не глядят, запахнуться от них полой — и не показываться! Плакала я на пожарище... Бабы тобой попрекали. Горда я, Егóра. Второй год и терплю.

Аннушка притихла, смолкла... Егор выпустил ее руку и молча шел рядом.

Бульвары кончались, серея шапками обнаженных вершин.

Аннушка тихо попросила:

— Давай еще посидим. Может, последний раз сидим.

Сердито и серьезно спросил Егор:

— Ты что помирать собираешься?

— Может, и так.

Сели близко и дружно, но отвернулись друг от друга.

— Ты о чем думаешь?

Аннушка, не глядя, теребила за рукав Егора.

— О тебе.

— А я о тебе.

И засмеялась. Егор недовольно поморщился.

— Что ты обо мне думаешь?

— Думаю, што тебе пора спать: напрасно со мной время проводишь.

— Я домой и шел: ты с дороги сбила.

Аннушка повернулась к Егору, быстро поворотила к себе хмурое лицо его, вгляделась в усталые скучавшие глаза и, злобясь, зашептала:

— Ты женись, Егóра... Я тебе посватаю... У меня есть хорошая невеста... Не порченая. Я сама по себе. Я с бабами мыть посуду после пьяниц буду...

И вдруг заломала руки, обняла колени Егора и забилась на них. Егор встряхнул ее за плечи, посадил, смахнул рукой слезы с раскрывшихся широко глаз. И он прикрикнул на нее:

— Ты... на самом деле сумасшедшая! Мне... тебя... охота... ударить!

Аннушка взметнулась вся, засмеялась сквозь слезы, перестала плакать и забормотала:

— Ударь... ударь... Меня... давно не били. Нет... ты лучше застрели меня, как застрелил Ваньку!

Егор оттолкнул ее, встал и, угрожающе уставив глаза, закричал:

— Я не мышь, а ты не кошка, чтобы играть мной, дурная баба! Ты на себя не похожа. Ты... про-тив-ная! Мне... совестно на тебя глядеть... на представление это!

Егор стал уходить... Потом долго таскал себя по комнате под грузный усталый храп Кореги за стеной, оборвал на стене листок с календаря и смотрел на красное праздничное число жесткими унылыми глазами. Чужими руками разделся, не заметил, как лег... И забылся.

А потом он увидел себя в одном белье у окна и стыдливо тянулся застегнуть ворот рубашки. Губы Аннушки что-то неслышно говорили за стеклом. Она улыбалась прищуренными глазами и закрывала их рукой. Егор с силой рванул зимнюю раму. Посыпалась замазка и застучала о пол. Ночной ветр хлынул и сдулназимовавшую пыль. Аннушка перегнулась, достала его голову, охватила шею руками... Егор легко поднял ее и внес в комнату.

Аннушка ликующе шептала, целуя ухо:

— Егóра, я насовсем! Вещишки... перенесу... поутру!

(Продолжение следует).

Из рассказов о войне [1]).

В. Ропшин (Бор. Савинков).

I. Нюрнбергские игрушки.

«... Вы спрашиваете, что поразило меня более всего на войне. На этот вопрос очень трудно ответить... Поразительна траншейная жизнь с ее дождями, грязью, бомбардировкой и скукой. Поразительны минуты атаки, когда вы перепрыгнули через парапет и бежите по свекловичному полю, а над вами рвется шрапнель. Поразительно, когда скрипит «210», и вы слушаете нарастающий скрип и ждете неизбежного взрыва. Поразительно, когда ночью раненые стонут: «maman»... Но, быть может, поразительнее всего, что вы мало-по-малу привыкаете и к траншеям, и к пулям, и к раненым, и даже к мысли о смерти. Сперва вам жутко, потом неприятно, потом неловко, а потом все равно. Человек приспосабливается ко всяким условиям. Невозможно всегда бояться. Невозможно всегда страдать. Невозможно всегда ненавидеть, страх сменяется равнодушием, сострадание — привычкой и ненависть — любопытством. Вот об этом, — поразительном, — любопытстве я и хочу говорить.

«Приходилось ли вам бывать в Нюрнберге? Странный и загадочный город. Треугольные крыши, бойницы, крепостные валы, площади величиною с тарелку, бой соборных часов, и на улицах — не дома, а средневековые замки или избушки на курьих ножках. А в игрушечных магазинах... Живые люди, живые звери, живые птицы, живое слово и живое папье-маше. Мастер делал не куклу. Он творил настоящую жизнь. Разве кукольный балаган не та же житейская суета?

«Так вот на войне я часто вспоминал Нюрнберг. Судите сами и не возмущайтесь моим любопытством.

---

[1]) Рассказы В. Ропшина (Б. Савинкова) были присланы мне в 1915 г. для альманаха «Северные Дни», который я редактировал. Ныне, разбираясь в бумагах, я случайно наткнулся на них; рассказы эти примечательны уже по одному тому, что Савинков-беллетрист обнаруживает себя в них, как ярый противник войны. Рассказы эти остались у меня в рукописи и, сколько мне известно, опубликованы не были.

Вл. Лидин.

«Первый раз я увидел игрушку — деревенскую колокольню. Осень, бабье лето. Мы на виноградных холмах, за холмами — маис, за маисом,— каштановый лес, и из-за леса торчит иголка. Нельзя поверить, что это церковь. Мастер вырезал пейзаж, раскрасил выпуклости картона, — каштаны, реку, холмы, — и для украшения воткнул иглу. Воткнул не на землю, а в небо. В бинокль посмотришь, — игла, приглядишься простым глазом — игрушка. И забываешь, что за лесом деревня, а в деревне ненавистные немцы... И вот однажды взвился над деревней дымок. Взвился и растаял. Потом другой, потом третий... Кто-то повернул игрушечный ключ и завел невидимую пружину... Считаем мы дымки: пять, шесть, восемь, десять... И взяло нас любопытство, именно, ленивое любопытство: сломается игла или нет. Наших орудий не видно, артиллеристов не видно, снарядов не видно, и немцев тоже не видно... Нюрнбергское колдовство. А потом, глядим, — нет иглы. Куда девалась? Даже не заметили, как мастер вынул ее. Испортился пейзаж... Что это? Батарея расстреливала деревню, или дети, забавляясь, играли в войну? Что это? Разрушена колокольня, или сломана нечаянно игла?.. Нам, свидетелям, все равно: нам не жаль ни колокольни, ни немцев.

«Второй раз было еще любопытней. Январь, зима, оледенели ручьи. На траве сверкающий иней. Мы опять на холмах. Под ногами кирпичный вокзал. У вокзала игрушечный мост. Окна, двери, решетка — все резное, тонкой работы. Рельсы из паутины. Вагоны — спичечные коробки. Паровоз — черный жук. Все немецкое. Не вывезенное ли из Нюрнберга?.. Ночью наши артиллеристы бомбардировали железнодорожное полотно. На рассвете летала муха, — наш, французский, аэроплан, — и кружилась у чугунного моста. А утром мост провалился. Осталась яма, зияющая дыра. Опять испортился пейзаж... Только смотрим, — ползет по долине поезд, пыхтит и трудится черный жук. Доползет до дыры или нет? Знает или еще не знает? Холодно. В зимнем воздухе ясно видно, — как на ладони. И вот видим: дополз, покачнулся и падает трубой вниз... Разбилась заводная игрушка... Разве были в поезде люди? Были куклы, игрушечные солдаты... Нет людей. Нет вокзала. Нет рельсов. Есть пружина, есть олово, есть картон. Есть полусказочный Нюрнберг.

«А однажды я сам в игрушки играл. Перед траншеей, метрах в десяти от нее, в воронке, из-под взорвавшегося снаряда, — наблюдательный пост. Наблюдает артиллерист и телефонирует баттарее. Должен он был отлучиться и попросил меня его заменить. «Вот, — говорит, — смотрите сюда, через увеличительное стекло. Стекло направлено как раз на деревенскую площадь. Если заметите немцев, дайте знать мне по телефону». Сказал и ушел. Сижу я в воронке, смотрю. Мутно, дождь. На стекле сероватый туман, видны капли, а больше нет ничего. Долго не было ничего. А потом зашевелились за мутным стеклом фигурки. Зашевелились, собираются вместе. Руками машут, винтовками честь отдают. Каждый с булавочную головку и весь точеный, точно прямо из мастерской. Я телефонирую: «Баттарея 120. Капитан, откройте огонь»... И опять

к подзорной трубе. Где-то охнуло что-то, слабо охнуло, будто выстрелило игрушечное ружье. А у меня, по стеклу, сейчас же темные пятна: расползается черный дым. И в дыму танцуют фигурки. Одни падают, другие кверху летят. А потом снова дождь и туман... Прошло часа два. Глаза устали смотреть. А все-таки я смотрю, все надеюсь, — авось соберутся снова. И очень мне интересно, будут ли они на воздух взлетать. Вдруг опять потемнело стекло. Присмотрелся: конные немцы. Я к телефону: «Баттарея 120... Огонь». И так три раза под-ряд. Ну, не Нюрнбергские ли игрушки? Пошел в магазин, купил коробку оловянных солдат, расставил их на детском столе, зарядил игрушечное ружье горохом, выстрелил, вот — и бой, и игра в сражение. Кто купил? Кто расставил? Кто затеял мальчишескую игру? И не страшно, а любопытно, и не жалко, а забавно играть... В миниатюре люди — не люди, смерть — не смерть и война — не война... В миниатюре все просто и, как дети говорят, все «нарочно». Игра, потеха, обман...

«Вот я вам и отвечу теперь. Я думаю, что поразительнее всего на войне наша способность о ней забывать. Не только способность, — потребность! Нам необходимо забыть, и мы, поэтому, забываем. И, где можно, видим игрушки... По крайней мере, я их увидел... Не возмущайтесь, а, если можете, поймите меня».

II. Военнопленный.

Вот что мне рассказал один французский полковник:

«Его привели рано утром два сенегальских стрелка. Оба были огромные, черные, с ослепительно-белыми, сверкающими зубами — настоящие дикари. Оба смеялись, как дети. Им было весело, что он идет между ними, безоружный, в каске и серой шинели, и что они, сенегальцы, взяли в плен немецкого офицера. Во время атаки он не пробовал защищаться. Капитан приказал отвести его в тыл.

«Он был невысокого роста и белокур. Лицо у него было румяное, круглое, с гладко выбритым подбородком. Такие незаметные лица бывают у приказчиков и коммивояжеров средней руки. Каску он надвинул на лоб, и из-под нее блестели два глаза, — светло-серые, немного испуганные, и невыразительные даже в испуге. Мне он показался одним из десятков тысяч. Так себе, резервный...

«Я допрашивал его по-французски. По-французски он говорил бегло, но с твердым акцентом и слишком правильно, — по грамматике Оллендорфа. Стоял он передо мною, вытянувшись во фронт, потому что был младше чином.

«— Ваше имя, фамилия?

«— Первый лейтенант, Отто Шумахер.

«— Вы какого полка?

«— 117-го, баварского.

«— Здесь стоит весь 117-й полк?

«Он растерянно заморгал глазами. Я повторил свой вопрос.

«— Разрешите, полковник, не отвечать.

«Я не настаивал. Я спросил еще раз о расположении немецких войск, но он опять не ответил. Тогда я предложил ему сесть.

«— Как вы думаете, скоро конец войне?

«— Не знаю.

«— Я ведь тоже не знаю. Я вас спрашиваю, что вы думаете о продолжительности войны?

«— Я ничего не думаю. Как прикажет император Вильгельм.

«— Вы верите в победу Германии?

«— Верю.

«— Почему вы верите в эту победу?

«— Почему... Потому что в нее верит император Вильгельм.

«— А Марна? А Изер? А Верден? Разве вы не видите, что вы не в силах нас победить?

«— Не знаю.

«— Вы не знаете, что под Верденом вы понесли поражение?

«— Не знаю... Может быть, мы еще и возьмем Верден.

«— Почему вы так думаете?

«— Потому что этого хочет император Вильгельм.

«Я с любопытством посмотрел на него и предложил ему папиросу. В его глазах стоял все тот же темный испуг. Он закурил и сказал:

«— Мерси.

«— У вас осталась семья?

«Он оживился немного, поднял голову и заговорил:

«— Я из резерва. У нас в Мюнхене магазин. Мы торгуем галантерейным товаром. До войны магазином заведывал я, а теперь торгует отец. Но он стар, и мы терпим убытки. Да и какая теперь торговля!.. Еще у меня осталась жена и сын Генрих, девяти лет.

«Он быстро расстегнул две пуговицы шинели и полез в боковой карман. Из кармана он вынул бумажник, а из бумажника фотографию. Он слегка покраснел и протянул ее мне:

«— Посмотрите, полковник.

«Это был кабинетный портрет толстой женщины в бальном платье с таким же, как и у мужа, широким и плоским лицом. Рядом с ней стоял мальчик в матросской куртке и шапке. На шапке можно было разобрать надпись: «Граф Зейдлиц». Я посмотрел и возвратил фотографию. Он бережно спрятал ее обратно в бумажник. Потом он сказал:

«— У меня есть и письма.

«И, порывшись снова в кармане, вынул пожелтелый и измятый конверт. Я спросил:

«— Вы позволите?

«Он утвердительно кивнул головой.

«Я развернул листок и прочел по-немецки: «Милый Отто, пишу тебе, а сама, прости меня, плачу. Все вздорожало, нет ни хлеба, ни мяса.

Хлеб, ты знаешь, мы получаем по карте, а мясо едим два раза в неделю. Маленький Генрих — мужчина и безропотно переносит лишения, но твой отец жалуется, что нет возможности жить. Главная беда, конечно, не в этом, а в том, что он беспокоится за тебя. Как твое здоровье, дорогой Отто? Получил ли ты шоколад и чулки, которые я послала тебе? Если бы не обещание нашего императора Вильгельма 2-го...».

«Я не стал читать дальше. Опять император Вильгельм... Я отдал письмо и сказал:

«— Вам дадут пообедать, вы переночуете в жандармской казарме, а завтра мы вас отправим в Шалон. Из Шалона вы поедете, вероятно, в Париж.

«Он встал и приложил руку к каске. Я кивнул ему головой и подумал: какое странное душевное состояние!.. Отказывается отвечать на вопросы и дает мне письма жены... И почему-то мне сделалось жаль этого застенчивого немецкого офицера. Но, по правде сказать, через четверть часа я уже не помнил о нем.

«Перед вечером я вышел пройтись. Улицы были пусты. Заглушенно погромыхивали орудия. У жандармской казармы стоял одинокий часовой, сенегалец.

«Я обратился к нему:

«— Где пленный?

«Сенегалец замялся.

«— Он в казарме?

«— Нет, господин.

«— Где же он?

«— Его нет.

«— Как нет? Он бежал?

«— Нет, господин. Как же может он убежать?

«И сенегалец тронул меня за рукав:

«— Вот здесь, господин, во дворе.

«Я заглянул в казарменный двор. У выбеленной кирпичной стены, на соломе лежал мой военнопленный. Он лежал в той же серой шинели, в которой сидел у меня за столом. Ноги были прикрыты рогожей. На круглом уже потемневшем лице, над приподнятой верхней губой белела светлая полоска усов. Было тихо. Летали мухи. Где-то в голубых небесах жужжал немецкий аэроплан. Я обернулся к неподвижному сенегальцу. Сенегалец сверкнул зубами и пробормотал, улыбаясь:

«— Больше не надо кормить, господин.

«И прибавил:

«— А жандармы очень сердились...

«Я не расспрашивал, я не хотел и боялся узнать, как умер первый лейтенант 117-го полка, галантерейный торговец из Мюнхена, Отто Шумахер».

Козьма Прутков и Алексей Толстой.

Л. Модзалевский.

В связи с проявляемым в настоящее время интересом по отношению к Козьме Пруткову и к одному из творцов его — гр. А. К. Толстому, выразившемся в публикации ряда произведений Пруткова, не вошедших в полное собрание его сочинений [1]), нам представляется вполне своевременным продолжить опубликование неизвестных в печати произведений Толстого раннего периода его творчества (1830-х годов), имеющихся в нашем распоряжении; они являются частью того материала, который появился на страницах 212—226 первого номера журнала «Русский Современник» за 1924 год. В сопроводительной заметке к этим материалам мы указали их происхождение и высказали предположение о том, что созданием и появлением на свет литературной личности Пруткова мы обязаны инициативе Толстого, а не братьев Алексея и Владимира Михайловичей Жемчужниковых. Печатаемое здесь одно раннее произведение (песня) Толстого без заглавия, о путешествии Минкина и невесты его Мануфактуры в Кронштадт, должно, по нашему мнению, укрепить высказанное раньше предположение. В тексте письма Толстого, сопровождающего названную песню, речь идет о Минкине, уже старике, который, «переносясь в прошедшее и аккомпанируя себе на viole d'amour», поет приводимую ниже песню.

Другое, публикуемое ниже неизданное произведение Толстого, под заглавием «Рондо», представляет большой интерес как по своей форме, так и по содержанию, но оно относится уже к 1860—1870 годам, т.-е. к тому периоду литературной деятельности Толстого, когда он создавал свою знаменитую трилогию, ряд лирических стихотворений и сатирических и юмористических произведений вроде: «Сон статского советника Попова», «Русская история от Гостомысла до Тимашева», «Бунт в Ватикане», «Мудрость жизни» и мн. друг.

В «Рондо» Толстой осмеял тогдашнего (1867—1878) министра юстиции графа К. И. Палена (впоследствии члена Государственного Совета),

---

[1]) См., напр., веч. вып. «Красной Газеты» от 6 ноября и 24 и 29 декабря 1925 года.

который, перейдя в лагерь охранителей, запрещал открытие новых советов присяжных поверенных, ограничивал компетенцию суда присяжных, передавал многие дела в суды с сословными представителями и т. д. По своей форме «Рондо» является одним из лучших поэтических произведений Толстого и лишний раз подтверждает общепризнанное мнение о Толстом, как об одном из лучших мастеров стиха.

I.

Супружества узы
В то время не знали ни я, ни жена!
Я сеял арбузы,
И изредка их поливала она.
Вот, знаете, эдак
Спокойно я жил.
(И дед мой и предок
И батюшка сам ведь садовником был!)

О горе, одначе!
Любовь нашу хитрый заметил отец!
Я сослан на дачу
(И сам на какой я не знаю конец!).
Но Мануфактуру
Сослали в Кронслот.
И думали сдуру:
Туда он дороги, дурак, не найдет!

Однако дорогу
В открытом баркасе в Кронслот я нашел!
Туда понемногу
Я ездил и к милой садился за стол.
Однажды играя,
Мы сели в баркас,
Пучина морская
Имела приятное что-то для нас.

Оставя в покое
И весла и роскошь надутых ветрил,
Я что-то такое
С любовью старушке моей говорил.
Она мне внимала
Любови полна,
Но далей нас мчала
Меж тем от Кронслота морская волна.

О дивное чудо!
(Вы сами представьте, любезный Виктор!)
Внезапно мы груды
Цветных и прозрачных увидели гор!
Как сани без дышла [1],
Так в гавань баркас
Примчался, и вышла
Нас встретить приятная дама для глаз.

И белую руку
Она улыбаяся мне подала.
Я вышел без стуку,
А лодка обратно с женой поплыла!
О Мануфактура!
Вскричал я, стеня,
Что это за дура
Здесь хочет оставить с собою меня!

Но дивная дама
Лаская с собою меня повела.
В развалины храма
Вошел я, и вижу, кругом у стола
Лежат кавалеры
И тяжко храпят.
Ужель то Венеры
Дворец? я воскликнул, подавшись назад.

Нет, я не Киприда,
Замявшись немного, сказала она.
Я только Армида,
И вот тебе кубок с мальвазией, на!
Я крикнул, но дама
Сказала мне: цыц!
Пей, дурень, и срама
Не делай в компании честных девиц!

Представьте, пожалуй,
Мою вы позицию, милый Виктор!
Я с криком из залы
Помчался, чуть-чуть не сходивши на двор!
Схватила Армида
Меня за шинель,

---

[1]) С оглоблями. Прим. Толстого.

Но вмиг я из вида
Сокрылся, оставив с шинелью мамзель!

И вплавь я пустился
Баркас и старушку свою догонять,
Дорогой крестился,
И в долг себе ставил с натугой плевать.
Потом уже вскоре
Настиг я баркас,
И доброе море
К Кронслотскому брегу причалило нас!

Потом, через сутки,
Отец, обо всем приключеньи узнав,
«Ведь это не шутки»,
Сказал он, что лодку догнал ты, брат, вплавь!
Я все, братец, знаю,
Ну так уж и быть!
Тебе позволяю
На милой жениться и вместе с ней жить!

II.

Рондо.

Ах, зачем у нас граф Пален
Так к присяжным параллелен!
Будь он боле вертикален,
Суд их боле был бы делен!

Добрый суд царем повелен,
А присяжных суд печален,
Все за тем, что параллелен
Че́рез меру к ним граф Пален!

Душегубец стал нахален,
Суд стал вроде богаделен,
Оттого, что так граф Пален
Ко присяжным параллелен.

Всяк боится быть застрелен,
Иль зарезан, иль подпален,
Оттого, что параллелен
Ко присяжным так граф Пален.

Мы дрожим средь наших спален,
Мы дрожим среди молелен,
Оттого, что так граф Пален
Ко присяжным параллелен!

Herr, erbarm dich unser Seelen!
Habe Mitleid mit uns allen [1]),
Да не будет параллелен
Ко присяжным так граф Пален!

---

[1]) Господи, сжалься над нашими душами и имей сострадание ко всем нам.

Номах (Страна негодяев).

(Отрывок из пьесы) [1].

Сергей Есенин.

Киев.

Хорошо обставленная квартира. На стене — большой во весь рост портрет Петра Великого. Номах сидит на крыле кресла задумавшись. Он, повидимому, только что вернулся. Сидит в шляпе. В дверь кто-то барабанит пальцами. Номах, как бы пробуждаясь от дремоты, идет осторожно к двери, прислушивается и смотрит в замочную скважину.

Номах. Кто стучит?
Голос. Отворите... Это я..
Номах. Кто вы?
Голос. Это я... Барсук...
Номах *(отворяя дверь)*. Что это значит?
Барсук *(входит и закрывает дверь)*. Это значит тревога.
Номах. Кто-нибудь арестован?
Барсук. Нет.
Номах. В чем же дело?
Барсук. Нужно быть наготове,
Немедленно нужно в побег.
За вами следят.
Вас ловят.
И не вас одного, а всех.
Номах. Откуда ты узнал это?
Барсук. Конечно, не высосал из пальцев.
Вы помните тот притон?
Номах. Помню.
Барсук. А помните одного китайца?
Номах. Да...
Но неужели?..
Барсук. Это он.

[1]) От редакции. Пьесу «Номах» («Страна негодяев») поэт считал незаконченной и неотделанной.

Лишь только тогда вы скрылись,
Он последовал за вами.
Через несколько минут
Вышел и я.
Я видел, как вы сели в вагон.
Как он сел в соседний.
Потом осторожно за золотой —
Кондуктору,
Сел я сам.
Я здесь, как и вы,
Дней 10.
Н о м а х. Посмотрим, кто кого перехитрит?
Б а р с у к. Но это еще не все.
Я следил за ним, как лиса.
И вчера, когда вы выходили
Из дому,
Он был более полчаса
И рылся в вашей квартире.
Потом он, свистя под нос,
Пошел на вокзал...
Я тоже.
Предо мной стоял вопрос —
Узнать:
Что хочет он, чорт желтокожий...
И вот... на вокзале...
Из-за спины
На синем телеграфном бланке
Я прочел,
Еле сдерживаясь от мести,
Я прочел,
Отчего у меня чуть не соскочили штаны,
Он писал: что вы здесь
И спрашивал об аресте.
Н о м а х. Да... Это немного пахнет...
Б а р с у к. По-моему не немного, а очень много
Нужно скорей в побег.
Всем нам одна дорога —
Поле, леса и снег,
Пока доберемся к границе,
А там нас лови!
Грози!
Н о м а х. Я не привык торопиться
Когда вижу опасность вблизи.
Б а р с у к. Но это...
Н о м а х. Безумно?

Пусть будет так.
Я —
Видишь ли, Барсук —
Чудак.
Я люблю опасный момент,
Как поэты часы вдохновенья, —
Тогда бродит в моем уме
Изобретательность
До остервененья.
Я ведь не такой,
Каким представляют меня кухарки.
Я весь — кровь,
Мозг и гнев весь я.
Мой бандитизм особой марки,
Он — осознание, а не профессия.
Слушай! Я тоже когда-то верил
В чувства.
В любовь, геройство и радость.
Но теперь я постиг, по крайней мере,
Я понял, что все это —
Сплошная гадость.
Долго валялся я в горячке адской,
Насмешкой судьбы до печенок израненный.
Но... Знаешь ли?..
Мудростью своей кабацкой
Все выжигает спирт с бараниной...
Теперь, когда судорога
Душу скрючила,
И лицо, как потухающий фонарь в тумане,
Я не строю себе никакого чучела.
Мне только осталось —
Озорничать и хулиганить...

. . . .

Всем, кто мозгами бедней и меньше,
Кто под ветром судьбы не был нищ и наг,
Оставляю прославлять города и женщин,
А сам буду славить
Преступников и бродяг.

. . . .

Банды! банды!
По всей стране.
Куда ни вглядись, куда ни пойди ты, —
Видишь, как в пространстве
На конях и без коней
Скачут и едут закостенелые бандиты.

Это все такие же,
Разуверившиеся, как я...

. . . .

А когда-то, когда-то...
Веселым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шел с революцией.
Я думал, что братство не мечта и не сон.
Что все во единое море сольются
Все сонмы народов
И рас, и племен.

. . . .

Но к чорту все это!
Я далек от жалоб.
Коль началось —
Так пускай начинается.
Лишь одного я теперь желаю,
Как бы покрепче...
Как бы покрепче
Одурачить китайца!..
Б а р с у к. Признаться, меня все это,
Кроме побега,
Плохо устраивает.
(Подходит к окну.) Я хотел бы...
О! Что это? Боже мой!
Номах! Мы окружены!
На улице милиция!
На улице милиция!
Н о м а х *(подбегает к окну).* Как?
Уже?
О! Их всего четверо...
Б а р с у к. Мы пропали.
Н о м а х. Скорей выходи из квартиры.
Б а р с у к. А ты?
Н о м а х. Не разговаривай...
У меня есть ящик стекольщика
И фартук...
Живей обрядись
И спускайся вниз...
Будто вставлял здесь стекла...

Я положу в ящик золото...
Жди меня в кабаке «Луна».

Бежит в другую комнату, тащит ящик и фартук. Барсук быстро подвязывает фартук. Кладет ящик на плечо и выходит.)

Н о м а х *(прислушиваясь у окна).* Кажется, остановили...
Нет... прошел...
Ага...
Идут сюда

(Отскакивает от двери. В дверь стучат. Как бы раздумывая, немного медлит. Потом неслышными шагами идет в другую комнату.)

Сцена за дверью.

Чекистов, Литза-Хун и два милиционера.

Ч е к и с т о в *(смотря в скважину).* Что за чорт!
Огонь горит,
Но в квартире
Ни души.
Л и т з а - Х у н [1] *(с хорошим акцентом).* Это его прием...
Всегда... Когда он уходил,
Я был здесь, когда его не было,
И также горел огонь.
1-й м и л и ц и о н е р. У меня есть отмычка.
Л и т з а - Х у н. Давайте мне...
Я вскрою...
Ч е к и с т о в. Если его нет,
То надо устроить засаду.
Л и т з а - Х у н *(вскрывая дверь).* Сейчас узнаем. *(Вынимает браунинг и заглядывает в квартиру.)*
Тс... Я сперва один.
Спрячьтесь на лестнице.
Здесь ходят
Другие квартиранты.
Ч е к и с т о в. Лучше вдвоем.
Л и т з а - Х у н. У меня бесшумные туфли...
Когда понадобится,
Я дам свисток или выстрел. *(Входит в квартиру и закрывает дверь.)*

---

[1]) Переодетый агент Чека.

Глаза Петра Великого.

Осторожными шагами Литза-Хун идет к той комнате, в которой скрылся Номах. На портрете глаза Петра Великого начинают моргать и двигаться. Литза-Хун входит в комнату. Портрет неожиданно открывается, как дверь, оттуда выскакивает Номах. Он рысьими шагами подходит к двери, запирает на цепь и снова исчезает в портрет-дверь. Через некоторое время слышится беззвучная короткая возня и с браунингом в руке из комнаты выходит китаец. Он делает световой полумрак. Открывает дверь и тихо дает свисток. Вбегают милиционеры и Чекистов.

Чекистов. Он здесь?
Китаец *(прижимая в знак молчания палец к губам)*. Тс... он спит...
Стойте здесь...
Нужен один милиционер
К черному выходу.

(Берет одного милиционера и крадучись проходят через комнату к черному выходу. Через минуту слышится выстрел, и испуганный милиционер бежит обратно к двери.)

Милиционер. Измена!
Китаец ударил мне в щеку
И удрал черным ходом.
Я выстрелил...
Но... дал промах...
Чекистов. Это он!
О! Проклятье!
Это он!
Он опять нас провел.

(Вбегают в комнату и выкатывают оттуда в кресле связанного по рукам и ногам. Рот его стянут платком. Он в нижнем белье. На лицо его глубоко надвинута шляпа. Чекистов сбрасывает шляпу, и милиционеры в ужасе отскакивают.)

Милиционеры. Провокация!..
Это Литза-Хун...
Чекистов Развяжите его... *(Милиционеры бросаются развязывать.)*
Литза-Хун *(выпихивая освобожденными руками платок изо рта)*. Чорт возьми!
У меня болит живот от злобы.
Но клянусь вам...
Клянусь вам именем китайца,
Если б он не накинул на меня мешок,
Если б он не выбил мой браунинг,
То бы...
Я сумел с ним справиться...
Чекистов. А я... Если б был мандарин,
То повесил бы тебя, Литза-Хун,
За такое место...
Которое вслух не называется.

1922—1923 г.г.

* * *

Чу! как сердце бьет горячим громом
Это начудила ты со мной:
Все родное сделала знакомым,
А себя, знакомую, — родной.

Уж на что, бывало, солнца имя
У меня вскипало на губах,
А теперь ресницами своими
Ты растеребила солнце в прах.

Хоть и чуждой плоти порожденье,
Хоть мне ближе отсвет русских лиц,
Я люблю тенистое смятенье
Искусительных твоих ресниц.

Я люблю — и так, что часто мнится,
Словно там, где только тень бежит,
В этих трепетных твоих ресницах —
Жизнь моя, судьба моя дрожит.

Потому: то бережным смущеньем,
То — безумств ревнивых острее —
Провожаю хищным восхищеньем
Каждое движение твое.

И такой тревожною любовью,
Милая, я жажду уловить,
Не порхнет ли у тебя под бровью
Хоть дыминка, хоть намек любви.

Ты в любви подчас и уверяешь —
Это лишь растроганная ложь:
Слишком ты любезно повторяешь,
Что тебе я дорог, мил, хорош.

Ничего от страдных глаз не скроешь:
Он сквозит, холодный черный ров.
Ты меня, мой друг, не успокоишь
Золотистой оттепелью слов.

И могу ль поверить ласки зорям!
Лучше ты, голубка, не волнуй:
Зажигая радость, светит горем
У меня твой каждый поцелуй.

Ты сулишь, что жизнь мою проводишь
До кончины, счастье подарив.
Что же ты опять рукой отводишь
Слитного желания порыв!

И, глухим раздумьем хмуря брови,
Сберегая девичью весну,
Не даешь тугим прибоем крови
В кровь твою мою любовь вплеснуть...

Василий Казин.

Индийский сон.

Мне снилось, что в город вхожу я чудной,
Который по запаху найден мной.

Козлом воняет рыжий базар,
Как птичий помет суховат он,
Дымит и чадит предо мной Амритсар,
Индийской равнины глашатай.

Во сне поневоле замедлишь шаг;
Сквозь грязную, рваных теней, бирюзу
На площади Джализвала-Баг
Пятно за пятном густея ползут.

Помню: в расстрелянный день января
Подобные пятна густели не зря.

Индусам попался такой же косарь,
Косивший людей, не целясь,
Но здесь обернулся девятый январь
Тринадцатым днем апреля [1]).

Во сне поневоле взметнешься назад.
Козлом нестерпимо воняет базар,
За прялкою Ханди, потупив глаза,
Как желтый скелет — поученья прядет,
И давится злостью равнинный народ.

Но западный ветер причудой богат
И свежие листья сметает к ногам,
Как черная втулка Рабиндранат
Затыкает базарный гам.

---

[1]) 13/IV 1920 г. генерал Дайер в Амритсаре расстрелял 2.000 индусов. Это было 9 января в Индии. Ханди — вождь индусских националистов. Рабиндранат Тагор — тоже.

И песней вмиг усыпляет базар,
Заливаясь о равенстве рас,
И стелется с крепости Говинда Гар
Генеральский тигровый бас.

Дежурный британец хохочет так,
Что лошади роют песок на плацу,
А в трубке подпрыгивает табак,
Над золотом зубов танцуя.

Во сне поневоле сон поводырь,
Насмешка его повсеместна,
Струится навстречу сверканье воды
И женщина — касты известной.

Кусает косой непонятного цвета
И руки щекочет браслетами.

Она смуглолица и сквозь кисею
Глядит жестяными глазами,
Но вдруг через озеро я узнаю
Индусского мальчика Сами.

Пусть весь этот город пропахнет козлом,
Пусть женщина сонная злится,
Но юноша тот мне с детства знаком,
Нам нужно повеселиться.

Во сне поневоле нет преград —
Мы встретились. Вместе сели мы —
Но тонкие губы его говорят:
— Я только что из тюрьмы.

— Давно я отвык питаться подачкой,
Тиграм ручным разглаживать ворс,
Впервые я был застукан за стачку
В Company Iron and Steelworks...

Он вырос и острой сиял прямотой,
Мне стало от радости тесно,
Но женщина встала, горя смуглотой,
Как женщина касты известной...

Мне снилось, что в город забрел я чудной —
Но мало ль чего не бывает со мной!

Н. Тихонов.

Цыган.

С. Клычкову.

Много ласковой лазури
Средь лесных полян.
Ты — деревня по натуре,
А душой цыган.

В белой вышитой рубахе,
В рыжем пиджаке,
Не тебе ли свищут птахи
В синем далеке?

Не тебе ли, черногривый,
Машет веткой бор?
Не тебя ль златые нивы
Тянут за вихор?

Вот и ходишь по Москве ты
Хмур — хоть душу вынь.
Лишь горят в груди ответы,
Как глазная синь.

Сгинь, бесовское отродье,
Городская бредь!
У лесных людей не в моде
На тебя смотреть.

Чур меня, пивная стойка,
Чур, автомобиль!
Где ты, взмыленная тройка,
Столбовая пыль?

Матть твою... вали на поезд!
Колоти, звонок! —
Под корнями в соснах роясь.
Вновь ты одинок.

Там, под этими корнями
Ты отроешь кладь,
И крылатыми конями
Будешь торговать.

Не в укор и не в улику,
Любушка, заметь:
Ты кудрявую бруснику
Любишь, как медведь!

Черный волос — две покрышки,
Образом — сосна.
Бор шумит. Луна — коврижкой.
А в бору — Дубна.

Ты полюбишь и разлюбишь,
И полюбишь вновь.
Под веселый час загубишь
Сказку и любовь.

Буйным городом изранен,
Синим лесом пьян,
Ты — по паспорту крестьянин,
А душой цыган!

Петр Орешин.

Грузчики.

Обычный день: пыль, солнце и гудки.
Гремела кладь, и громыхала ругань;
В глухие глыбы — бочки и тюки,
И тяжкой россыпью зерно и уголь.

Товарищ хмур. Не радует цыгарка.
Зной — как петля. И ветер тяжело
Бродил по берегу в лохмотьях жарких,
И черепахой облако ползло.

А море — пусто. Волны налегке,
Как детвора, резвясь, взбегут на пристань
И прочь, и вновь гурьбою вдалеке
Белоголовые из бездны мглистой.

Но к вечеру (как зрелый пышный плод
Склонялось солнце над волной багряной),
Дымя, гремя, волнуясь, иностранный
Причалил к пристани пароход.

На языке чужом — команда и привет.
И гаркнул кран кипучий час разгрузки.
И в этот час к береговой братве
Вдруг подошел моряк. По-русски

Не вымолвил ни слова; но рукой
(Дрожала чуть рука) метнул на знамя,
Что над Дворцом Труда, на голубой
Завод, на стройку ту и этот камень.

В привычку стройки лямка и ломы,
Под грузом редко знамя замечали,
А камень... что ж... он крепок, как и мы.
Но сердце вдруг рванулось на причале.

Грудь гордостью, как в бурю паруса.
Мы поняли и, радуясь, следили,
Как вспыхивал, как цвел в его глазах
Мир наших подвигов, жертв и усилий.

Как будто сами мы из дальних стран
И видели свою страну впервые...
Ворчал с потухшей трубкой капитан,
Над рубкою нахмуря брови злые...

Пожатье рук бывает крепче слов,
Роднее и понятней всех наречий.
...Отчалил пароход, глух и суров;
И был в закате ржавчиной оков
Его взволнованный след отмечен.

С. Обрадович.

Видения.

Виденья предо мной встают, толпясь и споря,
Несметное число их в комнате моей.
Вот шумные моря, — тебя ли видел, море?
Вот блеск Италии — когда я буду в ней?

Далекие поля, струясь зеленым светом
Вздохнули и прошли, играя ветерком.
Но, как влюбленный, я живу приветом
И взглядом, брошенным мельком.

Вершины диких гор. Бежит меж них ручей.
Лаская им нетронутое темя.
Он шепчет мне: «Дружище, я — ничей.
Коль хочешь, укради меня на время».

Зажглась звезда, меня не замечая.
Темнеет все вокруг, мешаются цвета.
И голову пригнув, и ноздри раздувая,
Надежду наших дней влачит моя мечта.

Тяжелый гул и мрак. Ревут в тоске
Пустыни древние, но рев звучит как стон.
Им город-великан открыл в своей руке
Все судьбы будущих народов и времен.

Сражение кипит. Я всюду первым - первым.
Огромная открылась пасть высот.
В могиле я. Вот, извиваясь, черви
Меня грызут, но я кричу: вперед.

Все дальше гул, и все бледней виденья..
Как мне благодарить тебя, природа-мать?
Ты отдала мне все: призыв и вдохновенье,
А большего не смею пожелать.

Мих. Голодный.

По земледельческим штатам Северной Америки.

(Экономический дневник).

Н. Осинский.

Чикаго. Винчестер в Индиане. Мэдисон в Висконсине.

Чикаго, вторник, 11 августа. Позавчера я выехал из Вашингтона в исходный пункт моих странствований — в Чикаго. Делаю первую запись о виденном мною здесь. Так как в литературе уже существуют описания здешних «достопримечательностей», так как целью моего посещения Чикаго является конкретизация, «овеществление» моих заочных о них представлений, то записывать буду немногое, какие-либо конкретные черты, которые не уловишь из документов (при всей их большой точности). Приведение же самых документов, цитат и справок к задачам настоящего дневника вообще не относится. Они должны составить основу книги об американском сельском хозяйстве.

Разговор с И. Ф. Розенбаумом (E. F. Rosenbaum). От Амторга я имел рекомендацию к одному из двух глав фирмы «Розенбаум и Розенбаум», И. Ф. Розенбауму, который является в Чикаго руководителем второй (после Армора) крупнейшей хлеботорговой фирмы. С ним я имел продолжительный разговор, после чего он показал мне знаменитую Чикагскую хлебную биржу.

Разговор шел, во-первых, о перспективах хлебного экспорта С. Ш. и СССР в кампанию 1925—26 г. Розенбаум полагает, что Россия в нынешнюю кампанию вывезет 100 милл. бушелей (166²/₃ милл. пудов) пшеницы. Не соглашается со моими предположениями о большей цифре экспорта. Что касается экспорта С. Ш., то он думает, что и С. Ш., несмотря на неурожай, окажутся в состоянии вывезти столько же. Сбор пшеницы он принимает в 680 милл. буш., потребление в 660 милл., переходящий видимый остаток в 80 миллионов. Кроме того, есть невидимые остатки в десятки миллионов бочек муки у потребителей. Конкретно будет вывезено 30 — 40 милл. буш. низкосортной пшеницы и 30—40 милл. бушелей макаронной пшеницы (дурум), плюс мука.

Розенбаум проявляет большой интерес к тому, сможет ли Россия вывозить макаронную пшеницу, так как до войны Россия снабжала Италию этим сортом пшеницы, и здесь американский экспорт находится под непосредственным ударом [1]).

Разговор, во-вторых, касается истории так наз. «Grain Marketing Corporation» («хлеботорговой корпорации»), образованной крупнейшими чикагскими хлеботорговыми фирмами под флагом и при содействии американской с.-х. кооперации, якобы для передачи кооператорам аппарата этих фирм [2]). По существу Розенбаум уклоняется от ответа, заявляя, что корпорация только что распалась, что она почти не развила никаких операций и что дело это имеет только исторический и небольшой интерес. С готовностью снабжает меня всей проспектной литературой, изданной этой корпорацией.

По вопросу о вероятности введения на Чикагской бирже новых мер против спекуляции при продаже хлеба на будущие сроки Розенбаум высказывает, что вряд ли такие меры будут приняты правительством. Устроить «корнер» (стачку биржевиков) для повышения цен, как показывает опыт, невозможно, в колебаниях цен нет ничего искусственного, правительственное регулирование экономических законов не изменит и т. д. (классическая теория апологетов Чикагской биржи).

«Итак, вы полагаете, что Артур В. Кэттен [3]) в январе 1925 года заработал 10 — 12 милл. долларов на срочных сделках в течение трех недель совершенно нормальным порядком?»

«Он выиграл их так же, как мог бы выиграть соответствующую сумму в Монте-Карло. Он лучше других рассчитал шансы, вот и все. Кроме того, его заработок, кажется, не так велик, как первоначально сообщалось».

После этого осматриваем Чикагское хлебное Монте-Карло. Мы застаем на бирже «a dull day», «пасмурный день», по выражению Розенбаума. Тем не менее в пшеничной «яме» — большой крик и жестикуляция. Эта «яма» кажется таковой только стоящим на ее краях. Собственно это — небольшого диаметра и незначительной высоты (меньше сажени) деревянный амфитеатр, поставленный среди залы. На его ступенях, спускающихся концентрическими кругами внутрь, стоят спекулянты на «будущем» хлебе и жестами, напоминающими жесты глухонемых, предлагают и принимают сделки. Кричать и даже свистать можно, но бесполезно: не слышно; но зато видно. Вокруг ямы суетится ровно столько же рассыльных мальчиков, сколько в ней орудует дельцов. Они подают им телеграммы, записки, справки и получают поручения.

[1]) При издании этого дневника любопытно подчеркнуть, что и американские хлебные дельцы осенью 1925 г. переоценивали экспортные возможности СССР. Переоценил Розенбаум и экспортные возможности С. Ш., где сбор окончательно определился в 669 милл. буш., вывоз же до 1 января 1926 г. — всего в 30 милл. бушелей (а до 1 января в предшествующий сезон было уже вывезено 71% экспортного контингента).

[2]) Об этом трюке крупного хлеботоргового капитала см. мою статью «Хлеботорговый трест под кооп. фирмой» («На аграрном фронте», 1925, № 4).

[3]) О спекулятивной эпопее Кэттена см. в моей книжке «Очерки мирового с.-х. рынка», стр. 88, или «Красную Новь» за апрель 1925 г., мою статью.

Над ямой помещена будка вроде капитанского мостика с двумя энергичными юношами. Они регистрируют сделки, а сзади них за решеткой сидит человек, который передает по телеграфному аппарату эту регистрацию человеку, пишущему на стене огромной залы постоянно изменяющиеся цены. Уже эта часть стены плохо видна из ямы, а доски с огромным количеством всякой статистики и информации помещены на другом ее конце, которого не видно совершенно. Крайне нерациональное размещение (видимо, «по старинке», как многое на этой бирже), которое исправляется беготней мальчиков. В зале имеется телеграф общественного пользования (тоже в другом конце залы), но совсем близко от ямы сидит целая армия телефонистов, которые смотрят на жесты людей в яме и иногда проверяют их жесты своими контр-жестами. Эти телефонисты передают на телеграф котировки для так наз. «телеграфных компаний» (биржевых), которые не только дают биржевую информацию, но и торгуют хлебом.

Рядом с этим Вавилоном, мятущимся вместе с движением руки на стене, царство спокойствия, тишины и лабазной солидности. Это — крайний угол залы близ «ямы», где расставлены рядами столы, на них размещены образцы наличного, реального хлеба, и где именно этот хлеб (а не фиктивный «будущий» хлеб) продается и покупается. Здесь ходят солидные люди (впрочем, и здесь — в шляпах, как на улице), щупают зерно, пропуская его через пальцы и рассыпая его с американской небрежностью по полу.

В другой стороне залы — кукурузная «яма». Она такого же размера, как и пшеничная, но на ее ступенях стоит человек десять-пятнадцать, не более. Они делают слабые и в сущности ненужные попытки жестикулировать, поскольку «массового действия» здесь нет.

Ямы, столы для наличного хлеба, телеграф, телефонисты и прочая аппаратура биржи — вмещены в огромную, двухсветную, но тем не менее затемненную окружением чикагских небоскребов залу (она, ведь, занимает только второй и третий этажи невысокого, старого биржевого дома). Есть в зале и хоры для публики, которой приходится только смотреть на условные жесты. Слушать же она может только тон биржевого шума. В эту залу есть вход из соседнего небоскреба, где помещается ряд биржевых фирм; идя этим путем, получаешь впечатление, что попал в большую прихожую того же небоскреба или в одну из его зал. Только уж очень эта зала старообразна, напоминает старой постройки цирковой манеж. Газовое освещение здесь давно исчезло, а между тем точно его-то здесь и не хватает. Восьмидесятые годы и корнер Харпера напоминает эта зала.

Этими немногими внешними штрихами ограничиваюсь [1]). За наличными столами меня знакомят с м-ром Сэйром, старшим торговым агентом Розенбаумов. Другой служащий той же фирмы характеризует его, как «the best grain man in this country» («наилучший человек по хлебной части в этой стране» — сохраняя в переводе американский стиль). М-р Сэйр сгова-

[1]) Описание устройства и операций Чикагской биржи в новейшей русской литературе имеется у Н. П. Макарова—«Зерновое хозяйство Сев. Америки».

ривается со мной об осмотре на выдержку одного, и притом самого большого, из терминальных (т.-е. заключительных в элеваторной сети, концевых) элеваторов, стоящих в Чикаго, на который мы позже и отправляемся.

Мы едем через весь Чикаго на юг, по берегу озера Мичиган. Почти через час, вследствие частой задержки автомобиля на перекрестках, достигаем мы «Северо-Западного Элеватора», именуемого так по владеющей им «Северо-Западной» железной дороге. Так как по закону железные дороги не имеют права сами заниматься хлебо-складочными операциями, то элеватор находится в аренде у крупнейшей хлебной фирмы Армора [1]). Это — самый крупный в Америке элеватор, вместимостью в 10 милл. бушелей (17 милл. пудов пшеницы). Он состоит из массы бетонных круглых колодцев высотой в шестиэтажный дом, взятых под общую крышу. Эта серая масса, напоминающая что-то вроде громадного органа, издали своеобразно красива. Зерно засыпается как в колодцы, так и в промежутки между ними, а всего в 156 помещений. В Америке, как известно, пневматическая подача сыпучих товаров не в чести, по крайней мере на сухопутных элеваторах. Вагоны с хлебом, подходящие с жел.-дор. ветки, вкатываются в широкий сквозной прорез в здании элеватора, и здесь зерно высыпается из них на пол, на решетки, в ямы, по дну которых бегут «пассы» (бесконечные передаточные ленты), передвигающие зерно к подножиям тех под'емников, из-за которых все здание именуется «элеватором». Выгребывание зерна из вагонов производится парой рабочих весьма быстро при помощи очень простого приспособления: большого деревянного лотка (отдаленно напоминающего те лотки, которыми в России сгребают зимой кучи снега) с приклепленной к нему системой веревок. Мотор тащит через блок основную веревку и увлекает лоток из глубины вагона к дверям. Лоток же, управляемый рабочим, выгребает груду зерна и выбрасывает ее из вагона. Весьма примитивное устройство: нет ни пневматических сосунов, как у нас, ни опускных дверей в вагоне, ни опрокидывания вагона (как в маленьких станционных американских элеваторах — в отношении повозок с хлебом). Говорят, что такая выгрузка и механический способ передачи и под'ема обходятся дешевле.

В результате во всяком случае распределительная система в элеваторе довольно-таки сложна. Она состоит из системы передаточных лент в подполье элеватора, из ряда под'емников, поднимающих зерно на верх, к краям колодцев, и из второй системы передаточных лент, наверху, передвигающих зерно к той или иной ячейки этого огромного бетонного сота.

Каждая из этих ячеек, если глядеть на нее сверху, напоминает бездонный колодец, когда она пуста, и засыпанный песком бассейн, когда она наполнена.

Если надо выгрузить хлеб из такого колодца, то опять-таки не используется возможность «выпустить» хлеб самотеком в вагон или в судно, стоящее рядом, на пристани. Зерно выпускается вниз на пассы, оттуда подается

---

[1]) Подробное описание американских терминальных элеваторов, в том числе и Северо-Западного», имеется у Макарова, в уже упомянутой книге.

к подножию специального под'емника, и уже оттуда по трубам высыпается в вагон или судно. Все это делается, однако, очень быстро.

При механической передаче зерна, а также вследствие производимой тут же сортировки, очистки, сушки и пр., подымается огромная масса пыли, которая легко взрывается и весьма горюча. Пыли здесь больше, чем на хорошей вальцовой мельнице. Поэтому везде на элеваторе размещены пылесобирающие приспособления, и у особенно пылящих машин лежат ручные пневматические сосуны. Тем не менее пыль тонким облаком стоит в элеваторе. А собранная пыль по огромной трубе отводится в сторону от здания, в пылесобирательную станцию, где ее пакуют в мешки и массами продают.

Отдельно от основного здания, об'емлющего конгломерат колодцев и все машины, «обрабатывающие» зерно, стоят еще три здания: машинная, подающая на элеватор энергию (элеватор идет на электричестве), контора с испытательной лабораторией и дом для рабочих и служащих, где имеется столовая («ресторан») и место для ночлега. В лаборатории испытываются пробы поступающего зерна: оно взвешивается на точных весах, устанавливается процент поврежденных зерен кукурузы, отсортировываются и оцениваются в процентном отношении различные примеси, выясняется влажность (при нас кукуруза варилась в масле в особом приборе и вода отделялась им в стеклянные трубки). Эти испытания служат исходной точкой также и для производимой элеватором «обработки» зерна — смешения партий его, чистки, сортировки, шастания овса, беления его, сушки зерна и пр.

Проходя через одну из комнат конторы, мы застаем там какое-то деловое совещание, и в голову невольно приходит: «видимо, и в Америке умеют позаседать»...

Пока мы едем с Сэйром на элеватор и обратно, мы ведем оживленный разговор: с одной стороны о злобах дня на хлебном рынке, с другой стороны — на это разговор переходит сам собой — о России. Каков у нас урожай? Будет ли Россия вывозить хлеб и сколько? Есть ли у нас элеваторы и какие? Как у нас поставлена хлебная торговля? Устойчиво ли правительство? Запрещена ли в России религия? Если нет, за что же мы судили «митрополита»? Почему разрешили водку? и т. д. Сэйр и его помощник с величайшим интересом слушают мои ответы.

На обратном пути они завозят меня в клуб Чикагского университета, где у меня назначено свидание с двумя профессорами коммерческой школы (всякий университет в С. Ш. обычно распадается на несколько школ или колледжей), Харди и Дэдди (Hardy и Daddy). К первому из них я имею рекомендацию из Вашингтона от Моультона [1]), и они должны дать мне дальнейшие связи.

---

[1]) Известный у нас по книгам о русских долгах, о платежеспособности Германии, директор экономического института Карнеги.

Более интересные детали из разговора с ними. Почему распалось за последние 10 лет большинство «пшеничных фабрик» («bonanza farms») в Сев. Дакоте, в долине Красной Реки (Red River)? По мнению Дэдди — вследствие того, что уже над 12 рабочими трудно в сельском хозяйстве установить действительный надзор; труд же в С. Ш. весьма дорог. Об'яснение — обычного «ревизионистского» типа.

Имеются ли и сейчас в кукурузном районе С. Ш. мелкие хозяйства, которые продают на сторону, крупным откормщикам скота, свой урожай кукурузы? Нет, таких хозяйств нет. Мелкие хозяева сами откармливают свиней.

Остается ли в силе, что при откармливании быков кукурузой при них откармливаются и свиньи, поедающие непереваренную кукурузу, которая прошла кишечник быка? Да, и сейчас один бык кормит таким образом одну-двух свиней, а одна свинья — одну курицу.

Существуют ли в С. Ш. круговые «маршруты» для уборочных рабочих, переходящих из штата в штаты? Да. Есть категория людей, которые непрерывно совершают круговое движение такого рода: зимой работают в лесах Британской Колумбии (Зап. Канада), весной отправляются на уборку в фруктовые сады Калифорнии, лето проводят в юго-западных штатах, а к осени появляются на уборку яровой пшеницы в Сев. Дакоту.

По поводу сообщенного мной одного из итогов сопоставления числа с.-х. наемных рабочих в 1910 и 1920 г.г. (небольшой прирост таковых в Техасе и Оклахоме в отличие от повсеместной убыли их на всем юге) и данного мной об'яснения этого факта (число рабочих и в Техасе убыло на хлопковых плантациях, но выросло на пшеничных фермах), Дэдди замечает следующее. В Техасе, в отличие от остального юга, не было кризиса в хлопковом производстве. При застое посевной площади хлопка в Соед. Штатах за последние годы, шло некоторое «перемещение» посевной площади хлопка из других штатов в Техас. То-есть: в других штатах эта площадь падала, но это компенсировалось ростом ее в Техасе. Происходило это оттого, что в Техасе хлопковый долгоносик, «boll weevil», никакого значения не имеет. По этой же причине усиленно растет за последнее время хлопковая площадь в Аризоне [1]).

По мнению Дэдди, за последние годы среди американских фермеров вместо прежней тяги на запад появилось движение обратное — с запада на восток, и переселенцы военного времени усиленно возвращаются в центральные штаты.

---

[1]) Дабы читатель мог судить, в чем Дэдди прав и в чем нет, привожу следующую таблицу посевной площади хлопка в тысячах акров:

	1921 г.	1922 г.	1923 г.	1924 г.	1925 г.
В Соед. Штатах	30.509	33.036	37.123	40.115	45.945
В Техасе	10.745	11.874	14.150	16.198	17.369
В остальных штатах . .	19.754	21.162	22.973	23.917	28.576
Доля Техаса в суммарной пос. площади С. Ш.	35,2 %	35,9 %	38,1 %	40,3 %	37,9 %

Дэдди и Харди весьма скептически относятся к силам и возможностям американской с.-х. кооперации. Несмотря на такое ортодоксально-буржуазное умонаклонение, они с улыбкой встречают упоминовение имени апологета Чикагской биржи, профессора Бойля. А ведь наш нео-народник Макаров цитирует этого Бойля, как солидный авторитет, и соглашается с его суждениями о дешевизне для потребителя операций американских оптовиков.

Конечно, и эти два собеседника расспрашивают о России и о том, каков урожай и сможем ли мы вывозить хлеб, а также провозоспособны ли наши железные дороги.

Чикаго, среда, 12 августа. Я прочел в чикагских газетах список наиболее крупных плательщиков подоходного налога в 1925 году. Во главе списка тот самый Артур В. Кэттен, «заработок» которого, по словам И. Ф. Розенбаума, «не так велик, как первоначально сообщалось». Кэттен заплатил подоходного налога 780 тысяч долларов. Вряд ли поэтому было преувеличение в первоначальных сообщениях.

Я встречаюсь с д-ром Гессом (Hess) из Института Американских Мясоупаковщиков (American Meat Packers Institute) и отправляюсь с ним смотреть чикагские скотопригонные дворы и биржу при них. Пока мы едем по надземной жел. дороге на юго-запад Чикаго, Гесс рассказывает мне про свой Институт, где он заведует отделом образования. Институт основан после долгих попыток мясоупаковщиков [1]) установить взаимную «кооперацию» между фирмами. Такие попытки пресекались антитрэстовским законодательством и контролем. Тогда, чтобы иметь связь друг с другом, они основали этот институт, который обслуживает общие нужды мясного дела. В нем есть отделы — изучения мяса, как питательного вещества, образования, розничной мясоторговли и пр. При нем существует ряд комитетов, обслуживающих нужды мясоупаковщиков и мясоторговцев.

Когда мы приезжаем на скотопригонные дворы, операции уже окончены, и мы можем только обойти дворы и поговорить с заместителем секретаря биржи м-ром Пулем. Эти дворы занимают площадь в 185 десятин (500 акров), на которой расположено 13 тысяч загонов для скота. Особые участки отведены здесь для рогатого скота, для свиней (двухярусные), для овец, для лошадей. Эти дворы принадлежат специальной акционерной компании, которая сдает часть загонов в постоянную аренду крупным упаковщикам, заводы которых расположены тут же, на границе скотопригонных дворов. Крытые ходы ведут из таких участков, занимаемых Армором, Свифтом и т. д., прямо на их фабрики. По этим ходам купленный на их дворах скот прямиком направляется под нож. Собственность на дворы отделена от собственности на бойни в целях ослабления монополистических тенденций: обычный американский метод (ср. выше запрещение жел. дорогам

[1]) Так как в С. Ш. боенское дело в большинстве случаев об'единено с производством различных консервов и мясных продуктов (в том или ином виде упакованных), то об'единение этих отраслей мясного дела и именуется мясоупаковочной промышленностью.

самим вести элеваторные операции) [1]. Дворы не принадлежат также к бирже, которая, по идее, должна быть нейтральным, представительным органом торгующих и не должна вовлекаться ни в какие материальные операции.

Грандиозное впечатление производят эти дворы по своей протяженности (особенно с верхнего этажа здания биржи, стоящего в их центре). Но они совсем не производят впечатления большого совершенства. Все строения, заборы и т. п. — деревянные, имеют «временный» вид и в то же время — вид старый и сильно поношенный. Между тем дворы существуют уже с 1865 года, и пора, казалось бы, усовершенствоваться. В проходах между загонами основательная грязь, так как проходы вымощены неважно, да и убираются, видимо, плохо. Особенно грязно в свином, крытом, двухъярусном участке.

Весьма оригинально здесь устройство биржи. По существу она является только органом дисциплинарного надзора над добропорядочным поведением ее членов и местом встреч торгующих (даже не для заключения сделки, ибо это делается на дворе, а оформляется по конторам). Эта биржа даже не регистрирует сделок и цен. М-р Пуль об'ясняет это тем, что все сделки на скот — вполне индивидуальны, относятся к данной конкретной штуке и несоизмеримы между собой. Однако газеты и Департамент Земледелия держат на дворах своих регистраторов, и котировки на определенные сорта скота ежедневно печатаются. Не в этом, конечно, сила, а в том, вероятно, что крупных скототорговцев в С. Ш. не сложилось. Упаковщики, представители промышленного капитала, непосредственно снимают скот с рынка в подавляющей его доле. Если бы мельники имели такое же господство над хлебным рынком, не было бы Чикагской хлебной биржи в ее нынешнем виде. Еще и то имеет значение, что со скотом никаких сделок на будущее не совершается; есть таковые на мясные продукты, но совершаются они на хлебной бирже (которая, кстати сказать, именуется не «хлебной биржей», а «торговым комитетом» — Board of Trade).

Главные действующие лица на бирже: комиссионеры (по поручениям скотоводов продают скот за твердый процент вознаграждения) и упаковщики. Второстепенными действующими лицами являются: биржевые спекулянты, за свой счет скупающие скот для дальнейшей перепродажи (они в большинстве случаев скупают разрозненные единицы товара, а затем составляют из них «стандардные» партии), скотоводы, самостоятельно продающие свой товар, и мелкие покупщики различных категорий (напр., откормщики скота, закупающие здесь тощий скот, приходящий из степей Запада). Комиссионеры образуют «гвардию» этой биржи, составляют особую корпорацию и даже имеют особый район на территории дворов: их загоны для крупного скота лежат к северу от здания биржи, площадки же торгующих за свой счет —

[1]) Прием этот не дает, конечно, реальных результатов. Расследованием федеральной торговой комиссии установлено, что 20% капитала чикагских скотопригонных дворов все же захвачено Армором, а большая часть остатка—союзником Армора по захвату этого предприятия—Принсом.

к югу. Все это делается для того, чтобы гарантировать продающим свой скот фермерам и их ассоциациям максимум независимости и добросовестности со стороны этих комиссионеров. Им строго воспрещается самим перекупать скот или становиться агентами каких-либо скупщиков[1]).

Предшествующее описываю более подробно, так как в литературе, сколько знаю, можно найти только статистику чикагского рынка, но не эти данные.

В разговоре с Пулем я получил ответ на еще один интересный вопрос: имеется ли тенденция к убыли среднего веса продаваемых на бирже животных, и если да, то почему. Ответ: да, имеется, и об'ясняется это изменением характера спроса; американский потребитель ныне требует ветчины и бэкона, свиное сало он больше не хочет есть, даже чернорабочие от него отказались. Поэтому тяжелые, богатые салом свиньи (по 250—300 фун. веса) оплачиваются за фунт дешевле, чем легкие, сухие (120—150 фунтов). Крупный же рогатый скот выходит теперь на бойню в более молодом возрасте, ибо его уже не кормят в степях травой до 4—5-летнего возраста, а рано и быстро откармливают в кукурузном районе.

Винчестер в Индиане, четверг, 13 августа. В среду ночью мы выехали вместе с т. Хургиным[2]), также находившимся в Чикаго, к б. губернатору Индианы Гудричу, видному стороннику восстановления отношений между СССР и С. Ш. Я его встречал еще в Москве.

Проехав несколько сот верст, утром прибыли на ст. Мёнси (Muncie), откуда Гудрич доставил нас в городок Винчестер, где он живет, на автомобиле. Управлял автомобилем работник Гудрича, разучившийся говорить порусски «Питер», военнопленный царской войны.

По дороге заезжаем на ферму Оливера Смита, самого крупного откормщика скота в Индиане (Индиана входит, как известно, в кукурузный район С. Ш.). Последний год он откормил 240 штук крупного скота. Земли у него 400 акров (148 десятин). Работников на ферме четыре: хозяин и трое рабочих. Кукурузы он употребляет одну треть своей и две трети покупной. Когда я по этому поводу спрашиваю Гудрича (имея в виду заявление Дэдди): «а как же мне в Чикаго говорили, что кукуруза откормщикам фермера не продают», он с улыбкой отвечает: «продают, сколько хотите».

Вообще провинциальные люди при упоминании о Чикаго, особенно о хлебной бирже, либо смеются, либо бранятся. «Почему?» «Да ведь эти господа только тем и занимаются, что качают цены то туда, со сюда, и ловят на этом фермера. Фермеры их очень не любят».

Оливер Смит с первых же слов начинает жаловаться на налоги. На акр их приходится четыре доллара. Я рассчитываю: средний урожай кукурузы

---

[1]) Фактически, как установило то же обследование федер. торговой комиссии комиссионеры находятся в сильнейшей зависимости от упаковщиков, в частности от т. н. «Пятерки Крупных» (Big Five).

[2]) Председатель правления Амторга, замечательный человек и работник, вскоре после того, как была сделана эта запись, погибший вместе с Склянским во время катания на лодке.

в Индиане 36—37 бушелей, на бушель падает около 11 центов, а цена бушеля — 107 центов. Процент хороший!

Между прочим, Оливер Смит сам ездит в Канзас за тощим скотом и сам привозит его сюда, минуя биржи. Так дешевле.

По дороге к Гудричу мы заезжаем еще на местный элеватор—обычного типа американский маленький станционный элеватор, многократно описанный в книжках. Хорошая вещь! Работают на нем заведующий и помощник. Пшеницу они сегодня принимают по 157 центов за бушель, кукурузу — по 107.

После обеда едем смотреть другие местные достопримечательности. Первая из них — маленький скотопригонный двор при станции железной дороги. Это — новость в скототорговле. Идея такова же, как и та, которая лежит в основе станционного элеватора: принять у фермера товар на самой станции железной дороги, так чтобы он не выходил со своим скотом на Чикагскую биржу. Таких скотских «элеваторов» имеется, по словам Гудрича, еще не более 1—2 в Индиане, да штуки четыре в Иллинойсе. Винчестерский скотопригонный двор закупает скот в радиусе 20 миль, выплачивает фермеру деньги на месте, закладывая приемочный документ в банке, и перепродает скот не в Чикаго, а прямо на восток, в приатлантические города, местным мясникам. Вообще говоря, все больше скота начинает миновать Чикаго, как это уже ясно определилось с пшеницей. М-р Гудрич — один из владельцев этого двора.

«Собственно говоря, такого рода дворы — об'ект для работы кооперации. А кооперация занимается у вас этим делом?»

«Занимается, но не имеет такого оборудования и не может выдержать конкуренции. В кооперативе участвует всего двадцать человек, они не могут составить хороших партий скота, у них нет хороших связей с упаковщиками на востоке. Мы работаем дешевле; наша задача как можно дешевле обернуть скот между производителем и потребителем. За прошлый год наша прибыль на всю сумму покупок была 1½%».

Может быть, Винчестерский двор составляет первое звено целого нового развития...

Мы заезжаем еще на ферму животновода Джоансона, занятого разведением чистопородных шортгорнов. Он расхваливает свою породу животных с истинно-партийным фанатизмом. Шортгорны — лучшая в мире порода, и по молочности, и по мясному производству. В Австралии шортгорнская корова дала мировой рекорд удоя и производства масла и пр. С особой гордостью показывает он нам стадо своих отличных коров, возращающихся с пастбища, и двух превосходных быков, старого и молодого. Кормит он их собственными зерном и сеном. Доход получает только от продажи животных, а лишнее молоко продается с фермы только зимой. Строения у него самые обыкновенные, стойла без всяких особых усовершенствований, полутемные. Есть у него и стадо хороших свиней американской породы — «польско-китайской» (Poland-China). На примере Джоансона видно, что разведение чистопородных животных — дело крупных и специализированных хозяйств.

У Джоансона—четыре работника, отношение к которым характерное, типично-американское; при встрече с посетителем каждого из них ему представляют — «мистер такой-то — мистер такой-то», за чем следует рукопожатие.

Чикаго, пятница, 14 августа. Ночью я вернулся в Чикаго. Утром я еще раз отправляюсь на скотскую биржу, где осматриваю специально свиные загоны вместе с помощником м-ра Кэмпбелля, правительственного инспектора двора. Обязанностью этого молодого человека (во время войны бывшего офицером в американской армии, ездившего в Европу и расспрашивающего меня о России с интересом и сочувствием — как это делал и его патрон) состоит в надзоре за ходом сделок и регистрации их. Встречая того или иного торгового агента, он тут же спрашивает его, что он купил или продал, и заносит сделку в записную книжку. Он также сверяет свои записи с книжкой встретившегося нам биржевого репортера. Это — единственный вид регистрации сделок.

Ничего особо интересного и специфического в продаже свиней нет. Между прочим, свиньи, предлагаемые к продаже, помещаются в верхнем этаже двухярусных крытых дворов; свиньи, проданные упаковщикам, переходят в нижний этаж. Характерно еще то, что свиньи взвешиваются только после покупки (которая, впрочем, совершается за фунт оказавшегося живого веса), а до покупки общий вес животного (влияющий на пофунтовую цену) определяется на глаз. Делается это так потому, что каждое новое взвешивание дает новый результат. Даже если оно делается тотчас же за предшествующим, разница получается до 10 фунтов на партии свиней в 100 штук.

Прождав некоторое время д-ра Гесса, обещавшего отправиться со мной на упаковочный завод Армора, но не выполнившего обещания, отправляюсь туда с м-ром Кэмпбеллем. Приходим во время «завтрачного» перерыва, и сами завтракаем в столовой для служащих Армора. Приезжаем мы на завод по надземке, которая кольцом опоясывает район скотопригонных дворов и проходит мим массы упаковочных предприятий, расположенных по периферии района. У арморовского завода — специальная станция надземки.

Меня представляют вице-президенту арморовской компании, а затем сдают на попечение молодого датчанина, заведующего статистико-экономическим отделом завода (завод выпускает ряд книжек и брошюр, защищающих интересы компании, а также бюллетени). С ним мы и осматриваем владения мясного короля.

Они многократно описывались. Нужно, между прочим, заметить, что после того, как их блестяще изобразил Синклер (в «Джунглях»), и в газетах прошла волна разоблачений, Армору пришлось многое улучшить. Даю краткий очерк виденного.

Надо, прежде всего, оказать, что и Арморовские владения — весьма старообразны. Монополист не заботится об их обновлении. В огромном масштабе используется, как строительный материал, дерево — на различные помосты, переходы и т. п. Эти сооружения имеют поношенный вид. Внутри зданий во многих случаях получается впечатление тесноты, темноты и

грязноватости. Здания эти, несомненно, построены давно и не перестраивались. Блещет только здание управления завода, необычайно светлое, просторное, полное воздуха, где в огромных залах работает масса народа.

В 1924 году Армор закупил скота на 406 милл. долларов. Он имеет 19 упаковочных заводов в разных городах. Он пропустил через них в 1924 году 17 милл. голов скота. У него работает армия в 60 тыс. человек. Кроме мясных продуктов, он вырабатывает: желатин, костяную муку, струны, изделия из волоса, мыло и пр., и пр.

Логически первое, с чего начинается осмотр завода, есть знаменитая скотобойня. Это — светлая зала, напоминающая большую операционную, по которой «покоем» (т.-е. по форме буквы «п») располагается путь препарируемой свиньи. Она появляется из-за опускной дверцы в одном углу зала, привязанная задней ногой к блоку и вися вниз головой. Блок катится по рельсу в глубь залы. Ошеломленная и недвижимая свинья приближается к бойцу, который узким и длинным ножом делает ей надрез на шее — без всякого усилия и замаха. Тотчас же из свиньи начинает хлестать кровь, она бьется и иногда визжит, замедленно катясь дальше. Когда она доходит до конца первой части «покоя», она уже мертвой тушей снимается с рельса и уходит в машину, которая моет ее кипятком и скребками снимает с нее щетину. Оттуда она выходит розовая, чистая и, вновь поднявшись на рельс, начинает странствие по другой стороне «покоя», где масса рабочих, стоящих непрерывным рядом, постепенно ее разнимают. В первую очередь надрезается шея, так что туловище повисает на клочке мяса и кожи. Здесь в первой инстанции совершается быстрый санитарный осмотр: врач осматривает железы шеи. Когда дальше она разрубается, и из нее вынимаются внутренности, они кладутся на ленту, движущуюся соразмеренно с тушей. Это делается для того, чтобы если дальнейший осмотр обнаружит туберкулез, все части свиньи целиком могли быть отброшены. Полностью раз'ятая свинья заканчивает свой путь холодильником, куда она приходит через 16 минут после входа на бойню. Бойня пропускает 2.000 свиней в час.

Совершенно очевидно, что вся эта система представляет собой типический образец детального разделения труда и крайнего упрощения отдельных операций, с одной стороны, и производственного процесса, об'ективно увлекающего за собой каждого участника, с другой. Никто не может отстать. Вся эта операция не производит того отвратительного впечатления, какое производит убивание крупного рогатого скота. Автоматически-производственный момент в ней выпирает на первый план.

Не то с рогатым скотом, который убивается в темном нижнем этаже старого здания. Его загоняют в стойла с под'емной стеной и опускающимся дном. Его колотят долго молотком по голове, чтобы оглушить. С трудом прицепляют веревкой к блоку. С натугой убивают. Хотя при этом животное и не бьется, но получается отвратительная картина, подкрепляемая отвратительным запахом в помещении.

Я спросил, сколько зарабатывают теперь рабочие бойни. Оказалось, что от 42 до 55 центов в час, при гарантированных 54 часах в неделю (значит, в среднем по 9 часов чистого рабочего времени в день). Время гарантируется потому, что животные на скотопригонные дворы могут поступать с перебоями. Значит, далее, арморовский рабочий зарабатывает в месяц минимум — 98 и максимум — 129 долларов. Это очень мало, принимая во внимание американский уровень жизни и стоимость ее.

Туша остается в холодильнике (с пропускной способностью в 7.300 тонн ежедневно и питаемом динамомашиной в 36.000 лошадиных сил) двое суток. Затем она идет в отделение, где ее разрезают на куски установленного образца. Это делается у столов с движущейся серединой, по которой подается материал; готовые куски проваливаются вниз. В другом отделении следует упаковка мяса, ветчины, бэкона и пр.

Определенная часть свиного жира перетапливается для получения топленого свиного сала двух видов — steamed lard и leaf lard (буквально: паровое сало и листовое сало; через первое пропускается струя горячего пара). Сало проходит через различные котлы, очищающие его от грязи, удаляющие из него кислоты, уничтожающие запах, а затем разливается по металлическим и картонным коробкам (последние делаются автоматически остроумной машиной).

Зайдя к вечеру еще раз в Институт Мясоупаковщиков сговориться с Гессом об от'езде в Мэдисон, имею разговор с заведующим отделом розничной торговли Института. Он рассказывает, что в С. Ш. имеется 100.000 мясников-розничников. Для них издается 40 мясоторговых журналов. Небольшая часть из них об'единены в союзы. Таковых около сорока, с 30—40 членами в каждом. Институт устраивает для мясников два раза в год курсы по мясоторговому делу. Обучает он тому же и домашних хозяек, для чего каждую субботу с пяти радиостанций читаются лекции. В них хозяйкам даются советы, как покупать мясо и как варить его.

Чикаго, суббота, 15 августа. С утра посещаю Иллинойскую Земледельческую Ассоциацию (Illinois Agricultural Association) — об'единение фермерских бюро штата Иллинойса [1]). Эта ассоциация — та самая, которая повела кампанию против кооперативно-хлеботоргового треста (Grain Marketing Corporation) и способствовала его ликвидации. Она является одной из организаций, олицетворяющих кооперативную «левую». Меня принимают здесь очень радушно, снабжают всей литературой, издаваемой ассоциацией. К сожалению, секретарь ассоциации, Фокс, отсутствует. Попадаю к директору хлеботоргового отдела Честеру Дэвису (Chester C. Davies), который очень доволен, что в России известна история лжекооперативного хлеботоргового комбината и что его точка зрения на это

[1]) Фермерские бюро — легализованные и поддерживаемые правительством органы содействия населения агрономической работе и кооперативному строительству. Они дают наиболее массовое представительство фермеров. До ноября 1925 г. в них доминировала фермерская верхушка, и они были большей частью весьма консервативны. С этого момента они перешли в оппозицию.

дело совпадает с моей. Он рассказывает, что главным вдохновителем этой комбинации был тот самый И. Ф. Розенбаум, с которым я четыре дня назад беседовал. Дает мне на прочтение № 15 журнала «Wall Street Iconoclast», где вскрывается более чем сомнительная подкладка этой операции, а также и история другой весьма темной операции Розенбаума — образования фирмы Dana, Onativia & Co, созданной для получения денег под залог обесцененных акций «Розенбаум и Розенбаум». В истории хлеботоргового треста со стороны Розенбаума он видит прежде всего попытку спастись от банкротства за счет фермерских денег. Было, вероятно, и намерение слить четыре крупнейших фирмы, но этого сделать они не успели.

Дэвис подробно и дружелюбно расспрашивает меня о Сов. России и осведомляется, где можно найти о ней печатный материал на английском языке.

Днем я выезжаю в столицу штата Висконсин, город Мэдисон. Мы едем вместе с д-ром Гессом, который раньше был профессором в Мэдисоне и который по праздникам ездит туда к жене. Расстояние всего двести верст.

Мы приезжаем туда засветло и отправляемся на дом к Гессу. Попозже туда приходит декан с.-х. колледжа Мэдисонского университета, проф. Рёссель (Russell).

Из его интересных рассказов отмечу следующее: 1) Когда он был мальчиком, лет 40—50 тому назад, весь Висконсин, не только южный, а и все, что было очищено от леса в центре штата (это — в ответ на мое вопросительное замечание), было пшеничным районом; позже на его глазах пшеница ушла отсюда, гонимая ржавчиной, гессенской мухой и истощением почвы от непрерывного посева пшеницы. 2) Лет пятнадцать назад появились первые силосные башни, для силосования кукурузы [1]), на чем разбогател Висконсин и основалось его молочное хозяйство; теперь на 180 тысяч фермеров их уже 108 тысяч. 3) Силосуют рубленую кукурузу — все растение вместе с початками — иногда подбавляя сено или еще какую-нибудь зеленую массу; башня наполняется насосом сверху; поперечник ее 10—12 футов или немного больше; при большей ширине силосование идет плохо. Пласты силосованной массы вынимаются из башни через проделанные в ней сверху до низу окошки, взлезая по приделанной к башне лестнице; эти окошки наглухо закрываются при загрузке башни, а потом поочередно открываются сверху вниз для выемки корма. 4) В Висконсине производится масса сыра — швейцарского и лимбургского, меньше других сортов; так как американцы больше доверяют привозным товарам, чем туземным, то они в лавках покупают хороший висконсинский сыр, который продавцы выдают им за заграничный. Бывают случаи, что висконсинский сыр ездит в Нью-Йорк, а оттуда обратно в Чикаго, куда он возвращается под псевдонимом «заграничного».

---

[1]) Силосование есть особый способ сохранения кормов, подвергаемых процессу брожения в закрытом помещении при ограниченном присутствии воздуха; в качестве таких помещений употребляются ямы, башни и пр.

В первый же вечер выясняется, что профессора Хиббард (знаток земельной политики С. Ш.) и Коммонс (знаток рабочего вопроса, а также видный теоретик) находятся в от'езде на каникулярное время. Это — большая неудача!

Мэдисон, воскресенье, 16 августа. Днем приходят профессора Или (Ely) и Росс (Ross). Профессор социологии Росс бывал в Советской России и написал о ней несколько дружественно настроенных книг. Уже в 1918 году Росс, по его словам, видел, что только Советская власть оценивает потребности революционного времени. Между прочим, она не повела русско-националистической политики, и Росс уже в 1918 году высказывался об этом с одобрением и предвидел необходимость развития этого курса политики до перехода на федеративную структуру государства. Росс ставит характерные для американского интеллигента вопросы, не следует ли нам ввести собственность на землю, дабы сократить прирост семей в деревне и предотвратить перенаселение. Не может ли тут помочь birth control (искусственное ограничение деторождения)? Интересуется, распадается ли община. Цитирует одного своего русского знакомого, который сказал ему, что из двух лозунгов: 1) земля — крестьянам и 2) фабрики — рабочим, первый прошел в жизнь, а второй потерпел крушение (was a failure). Он заинтересовывается моим возражением, что второй лозунг прошел в жизнь не хуже первого, а может быть и лучше. Он требует доказательств и с большим интересом слушает рассказ о ходе промышленного под'ема у нас.

Что касается Или, то это — автор ряда книг по с.-х. экономии и по общей экономии; они носят преимущественно характер учебников и мало оригинальны; выступал он в свое время и с критикой социализма. У Или много учеников, он пользуется большим уважением. Он — сторонник мелкого «демократического» земледелия и землевладения. Но он уже очень стар, и интересного от него много не узнаешь; хотя занимается он очень интересным вопросом — земельной экономикой, издает соответствующий журнал (The Journal of Land Economics). Он же является главой общества, исследующего на практике, как размер земельной площади фермы влияет на ее доходность (общество покупает для этого фермы разной величины и сдает в аренду фермера, с правом тщательно наблюдать за ходом хозяйства).

К вечеру профессор отделения по распространению с.-х. знаний (Extension Work) Дональд приглашает меня с'ездить на одну из его ферм. Здесь очень часто профессора в то же время являются владельцами ферм; Дональд к тому же—профессор, так сказать, в широком смысле слова: агрономическая сеть здесь привязана к университету, к отделению распространения с.-х. знаний, руководители отделения называются профессорами, фактически же являются старшими агрономами.

Поездка — воскресная, в ней участвуют Гесс с женой и свояченица Дональда, так что часть времени пропадает. Едучи на автомобиле, постоянно встречаем пасущихся коров — почти только голландских («гольштинско-фризских», как их здесь называют), немного джерсейских. Скот имеет

типичный „облик породистого; «тасканок», выражаясь по-нашему, или «scrubr», выражаясь по-американски, не видим. Заезжаем на ферму одного скандинава (здесь масса скандинавских фермеров, и они-то превратили Висконсин в американскую Данию). Коров нет, они в поле. В коровнике пол кирпичный, бетонных ям для жижи (как в Дании) нет, так как навозом интересуются еще мало. Стойла разгорожены железными барьерами, у стен перед кормушками устроены железные ярма для коров (американский способ прикрепления, не привязывания коровы: шея ее помещается в подвижное ярмо; корова может опускать и подымать голову, скользя шеей в ярме, может ложиться, ступать вперед и назад, может даже оглядываться, поворачивая голову, только не уйти из стойла). Тут же в коровнике стоит доильная машина. В сарае виден грузовик, рядом машина для погрузки сена. Гесс замечает о ней: «Вот эта машина непосредственно вытесняет человеческий труд». Дональд отвечает: «Да, из-за нее фермерские сыновья уходят с ферм». Это, конечно, преувеличено: их вытесняет вся совокупность машин, а не только «сеногрузилка» (hay loader).

Приезжаем на ферму Дональда. В тот момент, когда идем смотреть коров, их доят машиной. Газолиновый мотор приводит в движение насос, от которого идут в стойла неширокие металлические трубы (уже обычных водопроводных). К отводу такой трубы присоединяется сосуд-доильник, с прикрепленными к нему резиновыми трубками и сосущими наконечниками на них. На ферме 4 работника, в том числе одна женщина. Это — на 180 акров (67 дес.) и 30 коров. По американским понятиям это очень много. Когда я указываю Дональду, что известный Уоррен считает теоретически возможным, чтобы один человек управился с 20—25 коровами, и практически нормальным, чтобы при наличии чьей-либо помощи (напр., жены) один человек обслуживал 20—30 коров во всех отношениях, включая производство для них пищи на собственном участке, — Дональд решительно это оспаривает. Он указывает, что много времени отнимает отвоз молока, что одностороннего молочного хозяйства не существует, надо иметь еще и другие отрасли; а если иметь еще стадо свиней, время тратится и на них и пр. Аргументы Дональда не кажутся мне убедительными, и все же его арендатор (ферма сдается в аренду на издольных началах), видимо, кормит лишние рты.

Заходит разговор о Висконсинской издольной аренде, о которой последнее время много пишут в Европе. Устроена она так, что хозяин дает землю, здания, половину скота, половину других материальных затрат. Арендатор дает машины, половину скота, рабочую силу и другую половину материальных затрат. Валовой приход делится пополам (все продаваемые и непродаваемые продукты). Контракты ежегодные, как везде в С. Ш., хотя для новых арендаторов Дональд рекомендует двухгодичный контракт, дабы арендатор имел время присмотреться к ферме и действительно проявить свои способности.

В связи с арендой касаемся вопроса о так называемой «с.-х. лестнице» (agricultural ladder), т.-е. о возможности батраку подняться в арендаторы,

а арендатору — в собственники. Мнение Дональда таково, что в Висконсине за последние 3—4 года движение вверх по лестнице даже облегчилось. Цены на молочные продукты не упали, цены же на землю опустились почти до довоенного уровня. Не упали также и цены на инвентарь, живой и мертвый. Поэтому выгоднее быть фермером-собственником, чем фермером-арендатором, и можно продвигаться в собственники [1]).

Мы смотрим коровники еще на двух фермах, попавшихся по дороге. Они здесь однородного типа. Здания деревянные. Нижний этаж — стойла, разгороженные барьерами; кормушки обращены к обеим стенам продолговатого сарая, но между стеной и рядом кормушек оставлен проход для подачи корма. Пол кирпичный или цементный. Ям нет. Навоз ежедневно вывозится в поле, иногда реже. Над этим этажем — высокий второй этаж, сенной и соломенный сарай; иногда в полу его устроены отверстия над кормушками, так чтобы можно было прямо через них спускать сено. Сбоку здания — неизбежная силосная башня, которая теперь большей частью делается из бетона. Считают, что лучше всего, когда в сарае есть проезд насквозь, т.-е. с обоих его концов имеется по большой двери: легче и лучше чистить коровник, а также легко его проветривать. Новые коровники строятся именно так.

Мы заезжаем на обратном пути еще в маленькое сыроваренное заведение, четвертое из встреченных нами на пути. Их здесь масса. Недаром декан Рёссель отметил (что я забыл записать), как минус висконсинского сыроварения, очень малый средний размер заведения при большом их числе; кооперативных из них притом лишь 30—40 процентов. Встреченное нами заведение, по словам Дональда, кооперативное, но об'единяет всего 10—15 ферм. Работает в нем швейцарец с женой. Мы застали его заправляющим сывороткой чан с молоком. Оборудование довольно примитивное. Швейцарец был навеселе (это в «сухой» стране!) и оживленно рассказывал нам, как он делает сыр. Приемы самые обыкновенные, коих записывать не стоит.

Между прочим, здесь, говорят, очень много сыроварен, числящихся кооперативными, в то время как фактически значительную часть капитала дает сыровар, а группа фермеров только помогает ему, добавлением части капитала. Я не уверен в том, что мы не видели именно такой сыроварни.

М э д и с о н, понедельник, 17 августа. Осматриваю опытные учреждения и поля висконсинского с.-х. колледжа вместе с другим помощником заведующего Отделом Распространения, м-ром Лютером, живым и веселым стариком, просившим не смешивать его с Мартином Лютером. Владения опытных учреждений обнимают 1.200 акров (444 дес.). Имеются: молочная

---

[1]) То, что здесь о ценах говорит Дональд, статистически п р и б л и з и т е л ь н о верно (однако молочные цены все же упали, хотя меньше других, земельные цены все же выше и 1913 г., и особенно 1909 -1913 г.г. и пр.). Факт, однако, тот, что ценз 1920 г. показал в Висконсине 14,4% арендаторов, а ценз 1925 г.—15,5%: факторы Дональда не были решающими.

ферма, завод мясного скота, свиной и овечий рассадники, птичник, теплицы и масса опытных участков, связанных с каждой специальной частью колледжа. Есть, напр., участок торфяной почвы в 100 акров, осушаемой насосом (этот участок лежит рядом с одним из Мэдисонских озер и ниже его по уровню). Действие электрического насоса обходится в 1 цент с акра в день (5½ копеек с дес.). Здесь делаются опыты с удобрениями, употребляемыми на такого рода почвах, распространенных в Висконсине. Есть, наоборот, особая hill farm (ферма на пригорке). Тут — вереница делянок с люцерной (альфальфой, как ее называют американцы). Здесь посеяны семена, взятые из всех штатов, чтобы выяснить, какой сорт лучше всего идет в Висконсине. В последнее время в Висконсине мода на люцерну, даже еще более распространенная, чем на силосование кукурузы. Лучше всех пока что проявляет себя люцерна туркестанская. Растет здесь альфальфа лет по 7—9 и больше.

При столь развитой центральной опытной станции имеется в штате лишь 4—5 субстанций. Впрочем, опытные участки имеются при средне-учебных заведениях, именуемых в С. Ш. «высшими школами» (high schools). Таких в Висконсине 300—400. Самый сельско-хозяйственный колледж разделяется на три отдела (departments), в совокупности возглавляемые Рёселем: 1) Образовательный, во главе с проф. Джемсом (Instruction, James), 2) Исследовательский—опытной станции, во главе с проф. Морисоном (Research, Morrison), и 3) Распространение знаний, во главе с проф. Хэтчем (Extension, Hatch). Первые два делятся по вертикали на семнадцать специальных частей. Интересно, что у этих специальных частей есть свои инструктора по распространению знаний, над коими Отдел Распространения имеет надзор (supervision). У самого Отдела Распространения имеются только инструктора-фермеры плюс различные учреждения по внешкольному образованию, между прочим и «Фермерский Институт» (Farmers Institute), директором коего является Лютер.

Здесь, таким образом, передо мною образчик американской «триединой» системы, где высшее образование, опытное дело и распространение с.-х. знаний об'единено под крышей с.-х. колледжа. При этом, однако, в Висконсине последнее звено системы поставлено в подчиненное положение и имеет меньше веса.

Агрономическая сеть только примыкает к колледжу (по линии научного руководства ею). Агрономы, или районные агенты (county agents), содержатся «в складчину» районом, county [1]), штатом и федеральным правительством. Если район решает завести агронома, то штат автоматически добавляет к отпускаемой сумме 1.000 долларов в год, а федеральное правительство — 800 долларов. От себя район дает тысячу, а иногда и две—три. Жалованье county agent'a поэтому чаще всего 2.800 долларов в год, а иногда 3.000—4.000. О назначении агронома решает районное бюро (County

[1]) County буквально значит «графство» (старый английский термин). Это первое административно территориальное подразделение штата. Оно меньше уезда и больше волости. Перевожу его словом «район».

Board), т.-е. собрание глав мельчайших административных единиц, так наз. townships. Для надзора над деятельностью агронома оно назначает «С.-Х. Комитет» из пяти лиц — председателя районного бюро, школьного инспектора и трех фермеров.

Первый районный агроном появился в Висконсине в 1912 г., и им был сам Лютер. Ныне их 48, при наличии в штате 71 района.

Университетские курсы в Висконсине разбиты на три категории: желающие получить звание баккалавра (первая ученая степень) учатся четыре года; два—три года учатся претендующие на звание учителя (teacher); и, наконец, ежегодно устраиваются 15-недельные курсы для фермерских сыновей, которые, пройдя их, получают должности управляющих фермами или служащих контрольных союзов.

Рассказав мне все это, Лютер в свою очередь расспрашивает меня о России, которой он интересуется и которая, по его мнению, делает любопытные опыты. «Каждая страна на это имеет право, и каждый, кто пробует новое, сперва ошибается. И у нас была своя революция, когда мы изгоняли отсюда английских губернаторов. Правильно сделали вы, прогнавши своего царя».

Вторник, 18 августа. С утра «отдаю визиты» Или и Россу: «академическую вежливость» надлежит соблюдать. Росс вновь расспрашивает меня об СССР и интересуется, между прочим, тем, не означает ли уменьшение влияния религии падения моральных сдержек, и тем, какая новая мораль приходит на смену религиозной.

Я попал в неудачное (вакационное) время в Мэдисон. Лучшие специалисты — в раз'езде. Однако я имею возможность повидать проф. Гёмфри, специалиста по животноводству, человека весьма медлительного, с которым довольно долго приходится выяснять каждый вопрос.

Задаю ему вопрос не по его части (экономисты в раз'езде): «Верно ли, что сено-погрузочные машины вытесняли фермерских сыновей с ферм? Когда появились эти машины?».

«Они начали появляться лет двадцать тому назад, тогда их было мало. В те времена (берет в пример ферму своего отца) с сеном возились гораздо больше. На покос и уборку сена средней фермы требовалось три человека. Сено сушили в поле и лишь потом свозили его в сарай; на это требовалось больше времени. Теперь весь процесс делается одним взрослым и одним полуработником (boy, мальчиком). Но зато сена не сушат более на воздухе, и оно стало, конечно, хуже.

«Однако не hau loaders вытеснили фермерских сыновей. Их оттянули фабрики. Там лучше платят, там интереснее работать и жить. 20 лет назад с.-х. рабочему платили в месяц 14—18 долларов, не считая харчей (28—36 рублей), теперь платят 40 долларов и даже до 75 в месяц, а рабочие — плохие».

— Не можете ли вы сказать — примерно — сколько коров мог обслужить фермер с сыном и с женой 20 лет назад, при тогдашних методах, и ныне?

«Двадцать лет назад не только с машинами было иначе, но и севооборот был другой, вернее, другие культуры. Тогда было меньше кукурузы, не было альфальфы (люцерны), не было и силосов. На ферме в 120 акров (44 дес.) тогда можно было держать 10—15 коров. Теперь, когда больше кукурузы, а альфальфа дает 2—3 укоса в год, когда сена собирается в 2—3 раза больше, на такой ферме можно просодержать 20—25 коров».

О силосовании Гёмфри сообщает, что первые опыты начались очень давно. Первая круглая кирпичная башня для силоса построена в 1880 году. Первая цементная — в 1910 году. Около того же времени началось и массовое их распространение. Лет десять тому назад проводилась в Висконсине специальная кампания по распространению силосов.

— Давно ли доильные машины усовершенствованы настолько, что, напр., перестали отдаивать с молоком и кровь, на что сперва жаловались?

«Это вообще сплошной предрассудок, что они когда-либо так действовали. Надо уметь с ними обращаться. В Висконсинском университете вполне успешные опыты с ними были проведены уже в 1909 году. На второй год этих опытов машинный удой вдруг сразу упал против ручного. Но очень быстро было обнаружено, что машинами стали неправильно пользоваться, и когда завод дал свои указания, удой опять выравнялся до нормы».

— Сколько в Висконсине чистопородного рогатого скота?

«Среди быков — 40—44%. Среди коров — только 4%. Но большая часть — с той или иной дозой чистой крови. 80% коров лишь немногим меньше, чем полукровки».

Молочных рекордов Висконсин в настоящее время не держит. Гэрнсэйская корова «Sunbeam» ныне ушла из Висконсина на Восток (она дала 1.000 фунтов масла в год). Голландская же корова «Иоганна», принадлежащая м-ру Жилетту, ныне побита.

О развитии приемов кормления проф. Гёмфри (в кратком изложении) рассказывает следующее. 40 лет назад молочных коров здесь кормили преимущественно сеном тимофеевки, с добавкой зерна. Затем появился кукурузный силос, был введен клевер. Стали кормить кукурузой и клевером с добавлением овса и ячменя.

Наконец, появилась альфальфа. Кормление пошло на кукурузном силосе и на люцерновом и клеверном сене, а также на кукурузном зерне, ячмене, отрубях (пшеничных) и льняных жмыхах.

С 1906 года стали появляться контрольные союзы, наблюдающие за приемами кормления и даваемыми им результатами. Но лишь 3% коров и теперь еще проходят через эти союзы, тогда как в Н. Зеландии ими охвачено 12—16%.

Вечером в общеуниверситетском Бюро Распространения, у проф. Дэдли (Dadley), я смотрю кинематографические ленты агрономического характера. Вообще говоря, здесь имеется на складе более тысячи лент по

всем отраслям университетского преподавания. Имеется также масса картин для волшебного фонаря. Ленты эти бесплатно или за очень дешевую плату даются на прокат агрономам и различным культурно-просветительным организациям. Посылаются они на прокат и в Европу, доходят, напр., и до Чехо-Словакии. Виденные мною ленты, впрочем, особенно много дающими назвать нельзя. Они годятся только для оживления лекции, но самостоятельного материала дают немного. Вероятно, можно бы сделать их гораздо серьезнее, содержательнее и продолжительнее, так что лента могла бы совершенно вытеснить лектора. Для этого нужно, однако, чтобы их составляли научные работники, а делается это кинофирмами. Составленная же в Висконсине, при участии специалистов Отдела Распространения с.-х. колледжа, лента о молоке и его пользе также недалеко ушла от коммерческих лент: смотрится легко, но не слишком содержательна.

Монтером и механиком у Дэдли работает некто Р. К., русский студент, вычищенный из Тимирязевской Академии, как буржуазный элемент, в 1923 году. Он легально выехал за границу и учится в Мэдисоне. Пока его патрон выходит по делам, он мне рассказывает о своем быте и о быте мэдисонских студентов. Ему приходится туго, приходится усиленно искать заработков, особенно летом, когда его не поддерживает «союз русских студентов». У Дэдли он получает 40 центов в час (80 коп.). Работает он и на обсерватории, где платят больше, а работа интереснее. За учение здесь платят по 60 долларов в семестр, да еще небольшие платы за лаборатории. О способе преподавания в американских университетах рассказывает, что оно — гимназического типа, особенно по отношению к первокурсникам, так наз. freshmen (новобранцы). Им устраиваются переклички в начале урока, их «вызывают», иногда ежедневно, распекают, устраивают им письменные занятия, в некоторых случаях также ежедневно.

— Но зато их, вероятно, хорошо натаскивают?

«Нет, нельзя этого сказать. Такая система, вероятно, здесь существует потому, что больше богатые сынки в университете учатся, вот их и вынуждены погонять.

«Очень тут также в моде спорт, только я никак не могу проникнуться их восторгом перед этим. Они даже за это на меня косятся. Также очень усиленно ухаживают за девицами, студентками, и танцуют каждый вечер обязательно».

Так повествует петровец, вычищенный у нас за квалифицированно-буржуазное происхождение!

С р е д а, 19 августа. Я участвовал сегодня в фермерской экскурсии, устроенной Отделом Распространения с.-х. колледжа в Джефферсоновском районе (Jefferson county), за 30 миль от Мэдисона. В экскурсии участвовало 10—12 фермеров с женами. Цель экскурсии — ознакомить фермеров с пользой и приемами составления инвентарных описей и ведения счетоводных записей. Для этого участники экскурсии должны были посетить четыре фермы (владельцы коих также участвуют в экскурсии) и по заготовленным заранее анкетным листам проанализировать состояние хозяйства

каждой и зафиксировать его в цифрах. Анкетный лист — выданный также и мне, с просьбой сообщить, какие вопросы еще меня интересуют — представлял собой довольно примитивную выжимку из бланка разового бюджетного обследования (применяя наши термины). В него забыли поместить даже вопрос о количестве работников на ферме и о расходе на заработную плату. Этот вопрос и еще кое-что я и попросил добавить. Конечно, анкета была столь упрощенной для того, чтобы облегчить фермерам обращение с нею.

В экскурсии принимали еще участие Дональд, один из молодых аграр-экономистов колледжа и районный агроном. Мы выехали рано утром, и через полтора часа езды прибыли на первую намеченную к обследованию ферму, куда стали с'езжаться (с различными степенями опоздания, совсем как у нас) участники экскурсии — каждый на своем Форде. При проезде обнаружилось, что дороги в Висконсине — превосходные. По крайней мере тридцать верст проехали мы по асфальтированной дороге наилучшего возможного типа, с проведенной по середине дороги непрерывной черной линией. Эта линия показывает автомобилям, до какого предела они могут брать влево, дабы не задеть встречных машин. По дороге — ни одной встречной лошади, точно все вымерли. Исключительно автомобили. Сбоку от дороги нет тропинок для пешеходов, ни искусственных, ни протоптанных: никто не ходит пешком, все ездят.

После часу ожидания все экскурсанты оказались собравшимися. Мы осматривали 4 фермы: размером в 162, 91, 120 и 120 акров. Одним из характерных результатов обследования было крупное значение степени коммерческой и организаторской умелости хозяина. Этот результат был, несомненно, искусственно подготовлен организаторами экскурсии путем выбора подходящих ферм. Самой крупной по площади земли была первая ферма (в 162 акра). У хозяина ее 25 коров и 10 телок, 6 лошадей, 150 кур, полный комплект машин (стоящих, однако, не в сарае, а на воле, где попало). Нанимается работник. При этом доходность фермы очень низка, хозяйство не развивается, и владелец (американского типа «рукосуй») показывает его с смущением и неохотно. Сразу выясняется, что он «загнал» непомерное количество земли под люцерну и в нынешнем году продал 10—12 акров ее на корню за излишеством. «Для приличия» он на вопрос о том, какой у него севооборот, дает ответ: кукуруза—овес—четыре года альфальфы. Однако цифры засеянной каждой культурой площади показывают, что севооборота у него собственно нет. Первое наглядное поучение фермерам: налегай не на количество земли, а на толковое ее использование.

Вторая ферма — мало интересна. На меньшей площади ведется неплохое, среднее хозяйство (силами самой семьи), держится 19 коров с доходом от них выше, чем на первой ферме, но неизвестно, для чего хозяин держит трактор, который здесь, на небольшой площади, не у места.

Третья ферма — любительское имение. Все коровы — чистые голландки, шикарные здания, отличный дом с пианино, цементные дорожки

по двору, комплект новеньких машин (впрочем, без трактора, но включая доильную машину). Зато силосные башни — старые, обложенные деревом (они спрятаны позади шикарных зданий), а коровы дают почти тот же доход, что на предшествующей ферме. Второе поучение экокурсантам (разумеется, нигде не высказанное вслух): сила не в затрате большого капитала, а в том, чтобы его затратить с толком и притом не на внешнее украшение фермы.

Четвертая ферма, поставленная на конец, есть антитезис недостаткам всех предшествующих. На 120 акрах хозяин имеет наивысший по сравнению со всеми предшествующими доход, как от коров, так и от всего хозяйства в целом. Между тем, работника он не держит и даже сыновей у него нет (только дочери). Здания без шика, трактора нет, доильной машины нет. Насчет севооборота он прямо признает, что на лучшем участке своей земли он беспрерывно сеет кукурузу. На остальной земле у него севооборот: клевер — кукуруза с удобрением — овес. Модную альфальфу он не сеет вовсе. Осмотр его фермы давал фермерам заключительное поучение: подходить к делу практично и протягивать по одежде ножки.

Все эти поучения, не прямо, а косвенно высказанные, фигурировали и в речах, которые профессора и агроном произнесли на лужайке около третьей фермы, когда все сидели там в ожидании завтрака. Здесь же была открыта и запись желающих поставить у себя постоянные счетоводные записи. Все участники экскурсии выразили на это свое согласие.

За завтраком меня попросили рассказать о положении сельского хозяйства «нашего самого опасного конкурента — России». Фермера заявляли при этом, что газетным сообщениям они не верят, так как «газеты всегда врут», и им интересно послушать живого свидетеля. Сообщения о том, что наше сельское хозяйство быстро восстанавливается, были встречены ими с удовлетворением. «Нам это не слишком-то выгодно, — сказал один из них, — но хорошо, что ваши фермера, наконец, встанут на ноги. Они этого заслужили».

М э д и с о н, четверг, 20 августа. Сегодня я уезжаю из Мэдисона. Утром захожу к Мак-Ноллю, моему вчерашнему спутнику. Разговариваю с ним о литературе по интересующим меня в связи с виденным здесь вопросам.

Между прочим, он сообщает следующие предварительные данные об экономии, даваемой введением доильной машины, из работы, подготовляемой ими к печати: на производство 100 фунтов молока нужно 2,4 часа мужского труда, если не употребляется доильная машина; если она употребляется, время сокращается до 1,9 часа. При 5.000 фунтах молока на корову в год, экономия на одну корову получается в 25 часов. При 18 коровах на ферму (средний размер) получается 450 часов в год или, считая 25 центов за час, — 112 долларов 50 центов.

Доильная машина же, как выяснилось при посещении ферм, стоит 500—600 долларов. Таким образом, на достаточно крупной ферме она довольно быстро окупается.

Мак-Нолль показывает мне также записку, составленную для представления так наз. междуштатной торговой комиссии, имеющей надзор за железными дорогами. В связи с вопросом о чрезмерной высоте ж.-д. тарифов, в этой записке делается подробное сопоставление цен и издержек производства в Висконсине. Вплоть до 1925 года, согласно выводам Мак-Нолля, цены не покрывали издержек производства. Это звучит совершенно иначе, чем оптимистические заявления Дональда.

После обеда я выезжаю в Эймс (Ames) в штате Айова (Iowa).

Первобытное меновое хозяйство.

М. Косвен.

I.

С точки зрения существующей догмы экономической науки выражение «первобытное меновое хозяйство» должно показаться чуть ли не ересью или по крайней мере содержащим явное contradictio in adjecto. Если «первобытное», то как может такое хозяйство именоваться «меновым»? А если «меновое», то какое же оно «первобытное»!

Для нас несомненно, однако, что ряд общепринятых положений экономической науки, касающихся вообще первобытных ступеней хозяйственного развития человечества, нуждаются в основательной ревизии. Созданные чисто догматическим путем уже очень давно, эти положения оставались почти неизменными по сей день. Между тем, выросшей за это время и возвысившейся на степень подлинной науки этнографией накоплен новый обильный фактический материал. И, во всяком случае, подвергнуть эти иногда весьма старинные положения проверке на основе нового материала представляется и своевременным и необходимым.

Настоящая работа имеет целью исследовать преимущественно явления обращения и обмена хозяйственных благ на самых низших ступенях культурно-экономического развития человечества, естественные и бытовые факторы этих явлений и те своеобразные формы, в которые они облекаются [1]).

Говоря об обращении и обмене, мы берем здесь исключительно хозяйственные взаимоотношения между отдельными группами. Соответствующие явления внутри таких групп представляются нам настолько своеобразными и сложными, что требуют еще особого изучения. То обстоятельство, что мы имеем дело с междугрупповыми отношениями, дает нам возможность оставить в стороне также вопрос о характере, форме и структуре примитивной человеческой группы. Нам достаточно исходить из того, что эта группа представляет собой отдельное хозяйство и, в качестве такового, оказывается самостоятельной единицей внешних отношений.

---

[1]) См. также М. Косвен, Происхождение обмена и меры ценности, — «Красная Новь» 1924, 6—7/8.

Как всегда, когда мы обращаемся к реконструкции первобытного строя, мы естественно прежде всего ищем живой образец такого строя, т.-е. то «наиболее первобытное» из сохранившихся посейчас примитивных человеческих племен, которое дало бы нам простейшие социальные и экономические формы. Этнография знает ряд обитающих посейчас в различных местах земного шара дикарских племен, стоящих на наиболее низком уровне культуры. По ним, казалось бы, и следовало судить о наипримитивном или именно «первобытном».

Однако все подобные народцы представляют собою прежде всего очень малочисленные этнические осколки и вообще не могут дать достаточно ясной и детальной картины развернутых социальных, в особенности, внешних отношений. Затем, все они стоят на таком низком уровне хозяйственного развития, занимаемая ими географическая область настолько однородна, источники питания так единообразны, материальная культура так бедна, что собственные междугрупповые хозяйственные отношения не могли заметно развиться. Далее, почти все эти племена обитают в довольно тесном окружении других значительно более высоких культур и как раз по части обменных отношений подверглись сильному влиянию своих соседей. Соответствующие пути и формы обмена, конечно, совершенно своеобразны и не могут итти в счет, когда мы ищем образец первобытных отношений. Наконец, как это ни странно, именно эти наиболее интересные с этнологической точки зрения народцы оказываются наименее изученными, так что материал для суждения об их экономике чрезвычайно скуден [1]).

При таких условиях, единственным, так сказать, живым лабораторным материалом для этнологического изучения первобытного менового хозяйства является туземное население австралийского материка.

Австралийские племена представляют собой чрезвычайно трудный об'ект изучения. Правда, за последние десятилетия австраловедение сделало существенные успехи, и сейчас мы обладаем довольно обширными и основательными данными, касающимися различных проявлений мироотношения и различных сторон быта и социальной структуры австралийцев. Но зато экономика этих дикарей, в особенности, область распределения благ остается еще совершенно слабо освещенной. Это обстоятельство, конечно, самым невыгодным образом должно было сказаться на настоящей работе [2]).

---

1) Ср. М. Косвен, Осколки первобытного человечества,—«Красная Новь» 1925, 8.

2) Для изучения хозяйственного быта австралийцев использованы преимущественно следующие источник: J. Browne, Die Eingeborenen Australiens, ihre Sitte und Gebräuche. «Petermann's Mitteilungen», 1856; E. M. Curr, The Australian race. 4 v-s. M. 1886—87; E. Eylmann, Die Eingeborenen der Kolonie Südaustralien. B. 1908; A. W. Howitt. The native tribes of South-East Australia. L. 1904; J. Mathew, Two representative tribes of Queensland. L. 1910; K. L. Parker, The Euahlayi tribe. A study of aboriginal life in Australia. L. 1905; W. E. Roth, Ethnological studies among the North-West-Central Queensland aborigines. L. 1897; R. Salvado, Mémoires historiques sur l'Australie. Trad. de l'italien. P. 1854: R. B. Smyth. The aborigines of Victoria. 2 v-s. L. 1878; B. Spencer, and F. J. Gillen, The native tribes of Central Australia. L. 1899; The northern tribes

II.

Новейшая наука считает австралийцев пришлым населением южного материка. Вопрос о происхождении и путях миграций австралийцев не должен нас здесь занимать. Достаточно сказать, что, как это считается доказанным, предки нынешних дикарей—обитателей Австралии—жили в иных широтах, в климатических условиях гораздо более благоприятных, чем нынешние. Установлено, далее, что климат самой Австралии был в прошлом также более благоприятным, страна более обильна влагой и растительностью. В настоящее время весь материк носит следы происшедшего высыхания, которое повлекло за собой оскудение природы, а значительная часть страны, именно центральная область, представляет собой почти совершенно бесплодную пустыню.

Материальная культура австралийцев стоит на чрезвычайно низком уровне. Как известно, австралийцы не вышли еще из каменного века, при чем техника их колеблется на грани палеолита и неолита. Соответственным образом весьма примитивно и австралийское хозяйство. Земледелие, даже в самой зачаточной форме, им незнакомо. Пища добывается простым собиранием всех с'едобных продуктов природы, охотой и рыболовством. Забота об обеспечении себя запасами свойственна австралийцам только в самой незначительной степени. Эти хозяйственные формы обусловливают бродячий образ жизни и отсутствие постоянного жилища.

И только, по замечательной особенности австралийского культурного комплекса, при всей примитивности материально-хозяйственной базы, психика, мироотношение и социальные формы этих дикарей оказываются чрезвычайно сложными. Так это, по крайней мере, представляется нашему пониманию. Свойственные психике австралийцев особые представления и идеи находят себе выражение в различных магических приемах и культовых церемониях. В общем, психическая деятельность этих дикарей складывается в своеобразную, но, повидимому, довольно цельную систему мироотношения. Социальная структура австралийцев, хозяйственные отношения и распределение благ внутри группы — также чрезвычайно сложны. В особенности, семейные формы и половые отношения настолько запутаны, что составляют, кажется, самый трудный вопрос современной этнологии [1]).

В настоящее время австралийцев никто не считает действительно «первобытными», т.-е. подлинными представителями первых людей, появившихся на земле. Нет сомнения, что австралийская культура, как бы медленно ни совершался процесс приспособления этих дикарей в борьбе за существование, необходимо подверглась трансформации, и как мироотношение австра-

---

of Central Australia. L. 1904.; Across Australia. 2 v-s. L. 1912; B. Spencer, The native tribes of the northern territory of Australia. L. 1914; C. Strehlow, Die Aranda- und Loritja-Stämme in Central-Australia. IV—V. F. a/M. 1907—15; G. Taplin, The folklore, manners, customs and languages of the South Australian aborigines. A. 1879.

[1]) См. А. Максимов, Брачные классы австралийцев,—«Этнографическое обозрение» 1909, 3—4; его же, Системы родства австралийцев, — там же, 1912, 1—2.

лийцев, так и социальный строй их являются уже продуктами накопления и наслоений, складывавшихся веками. Вместе с тем мы готовы считать, что в суровых условиях природы экономика этого дикарского общества пребывала на протяжении долгих тысячелетий в застое, между тем как некоторые социальные отношения и в особенности идеологические элементы культуры получили своеобразное и даже патологическое развитие.

Австралийцы далеко не представляют собой в настоящее время единое и однородное этническое целое в отношении культурном. Напротив того, одни племена стоят на более высоком, другие — на более низком уровне развития. Это явилось результатом очевидно прежде всего различия географической среды, в которой пребывали отдельные племена. К этому фактору присоединились и различие исторической судьбы, и несомненное в истории австралийской расы влияние океанийской и индонезийской культур. Меньшее значение с точки зрения этнологической имеет и более легко распознаваемо влияние европейской колонизации Австралии. В общем, как это вполне естественно, более развиты и более подверглись чужим влиянием племена, населяющие побережья материка, и наиболее отсталые племена, живущие в центральных областях страны: здесь действовали и условия географические и большая изолированность.

Соединение исключительно примитивной материально-хозяйственной базы, с одной стороны, с сложным строем мироотношения и запутанной социальной структурой австралийцев, с другой, различия в культурном уровне разных племен — все это, вместе с отрывочностью и недостаточной отчетливостью данных наших литературных источников, делает многие положения австраловедения весьма спорными.

Однако в вопросах, нас интересующих, в области междугрупповых хозяйственных отношений особой сложности и неясности не встречается. Здесь все очень ярко и весьма упрощенно определяется материальной культурой. А в этом отношении австралийцы, пребывающие, как мы знаем, в каменном веке, представляют собой один из наиболее примитивных народов, какие только сохранились до наших дней на земле. Это делает австралийцев единственно доступным нам живым образцом наиболее примитивного хозяйства. Данные австраловедения есть единственная конкретная база для восстановления примитивной экономики.

Австралийцы принадлежат по своим антропологическим признакам в общем к единой, вполне характерной расе. Они делятся на ряд племен, образовавшихся, повидимому, в результате общности исторической судьбы и так или иначе прикрепившихся издавна к определенной местности. Эти племена распадаются, в свою очередь, на отдельные своеобразные локальные группы. Обычно переходя с места на место в поисках пищи и необходимых материалов для оружия, утвари, украшений и проч., эти группы занимают определенный кормовой участок, границы которого издавна установились и хорошо известны как самой группе, так и ее соседям.

Однако простейшую социально-экономическую ячейку составляет не вся локальная группа, а значительно меньшее соединение, представляющее

собой одну-две-три семьи, которые совместно бродят по общей кормовой области данной группы. Эта-то ячейка и оказывается основной единицей австралийской социальной системы и вместе с тем представляет собой отдельное хозяйство. Она же и является самостоятельным суб'ектом внешних общих и чисто-хозяйственных отношений. Если, как это бывает часто, такие группы-хозяйства на время соединяются с другими подобными группами своего территориального союза или своего племени, совместно отправляются в путешествие и вступают в сношения с другими подобными обществами, то сущность взаимоотношений от этого, конечно, не меняется.

III.

«Если судить по обычным рассказам, — говорят известные австраловеды Спенсер и Гиллен, — можно вообразить, что различные группы находятся в состоянии постоянной враждебности. Ничто не может быть дальше от истины». В действительности, все австралийцы, если отдельные группы не просто изолированы от своих соседей какими-либо естественными преградами, большей частью находятся в самых мирных и дружественных отношениях. К такому же заключению приходит Уилер в специальной работе о междугрупповых отношениях австралийцев [1]).

Правда, бывают между различными группами и враждебные отношения, выражающиеся между прочим в том, что одна группа подозревает другую в злоумышлениях против нее и употреблении вредоносных действующих на расстоянии магических средств или сама по каким-либо причинам занимается колдованием против другой. Возникают также в единичных случаях и открытые конфликты с активными нападениями, но преимущественно такие столкновения улаживаются специальным своеобразным порядком, не только к полному удовлетворению обеих сторон, но и с возобновлением прежнего мира и дружбы [2]).

Несмотря на тяжелые почвенные и климатические условия страны, отдельные группы австралийцев находятся в постоянных и довольно оживленных сношениях. Нечего и думать, что такое общение этих дикарей представляет собой что-либо новое, возникшее недавно или вызванное столкновением с европейской колонизацией. Напротив, Спенсер и Гиллен подчеркивают, что даже отсталые племена Центральной Австралии уже издавна, судя по совпадениям в их обычаях, магических приемах и проч. и сходстве материальной культуры, находились в постоянных сношениях. Такая связанность отдельных групп складывалась, по мнению названных авторов, исторически, параллельно тем миграциям, которые издавна совершались австралийцами. Более того, в прежние времена, в лучших климатических условиях, отдельные группы находились в еще более тесном и постоянном соприкосновении. И лишь позднее, под влиянием географических изменений, возникла та изолированность

---

[1]) G. C. Wheeler. The tribe and intertribal relations in Australia, L. 1910.

[2]) Ср. М. Косвен, Преступление и наказание в догосударственном обществе, М.—Л. 1925.

некоторых групп, отделенных от остальных непроходимыми естественными преградами, которая наблюдается иногда сейчас.

Общение различных групп выражается в периодических посещениях друг друга. Эти взаимные визиты и гощения представляют собой очень яркую и характерную черту быта всех австралийских племен. Спенсеру и Гиллену почти в каждом становище туземцев Центральной Австралии доводилось заставать гостящих здесь представителей чужих групп.

Визиты наносят друг другу разные группы даже тогда, когда они обитают очень далеко одна от другой. Эти визиты совершаются как целыми группами, так часто и отдельными лицами.

По словам Рота, квинслендские австралийцы питают прямо страсть к постоянным путешествиям взад и вперед, непрестанным посещениям других групп. Они предпринимают целый обход с визитами, который продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. Бывает, что какой-нибудь группе приходится провести в пути целую зиму, чтоб дойти до места назначения. В таких случаях, чтоб не быть в дороге в засушливое время года, гости задерживаются надолго и пускаются в обратный путь только следующей зимой.

Взаимное общение и визиты австралийцев имеют глубокое экономическое содержание.

Очень распространенное в австралийском быту явление состоит в том, что ко времени созревания плодов какого-нибудь дерева, растущего в местности, занятой одной группой, сюда собираются со всех сторон соседние группы, которые беспрепятственно допускаются хозяевами к пользованию изобильными дарами природы.

Вообще широкое гостеприимство в самой неограниченной степени присуще всем австралийцам. Очень любопытны в этом отношении следующие замечания старинного бытописателя австралийцев, италианского патера Сальвадо: «Дикарь, — говорит он, — никогда не оставляет запасов пищи на следующий день. Если ему случится оказаться обладателем такого количества дичины, которое его семья не с'ест в один день, он приглашает соседние семьи либо при помощи определенного числа криков, если те живут на расстоянии не более двух-трех миль, либо при помощи костров, которые зажигаются на окрестных возвышенностях. Приглашенные оказывают честь своим хозяевам не только тем, что поедают все предложенное им, но также плясками и песнями, а затем и двенадцатичасовым спаньем у костра».

Описание приема большой партии визитеров находим у Смиса. Каждой семье отводится особое место. В течение первого дня пребывания гостям ничего не позволяют делать самим. Один из хозяев-мужчин наполняет водой посудины и приносит их главам отдельных семей. Смотря в упор на гостя, хозяин ударяет по воде тростниковой палочкой или веткой, делает сам большой глоток и оставляет воду, предназначенную для мужской части семьи. Женщина из среды хозяев исполняет ту же процедуру для женской половины визитеров. Таким же порядком гостям доставляется самая разнообразная пища, состоящая из всех видов с'едобного, имеющегося в данной местности.

Когда наступает ночь, для каждой семьи оказывается уже приготовленной хозяевами особая хижина.

Еще одну черту австралийского гостеприимства рисует Штрелов. Группа, снимаясь с места, заботится о поддержании связи со своими друзьями и принимает меры к тому, чтоб гости могли ее найти. Поэтому в обычае племен аранда и лоритья, покидая стоянку и отправляясь в другое место, делать ногой борозду в земле в том направлении, куда они собрались перейти. В конце борозды втыкается ветка. Направление борозды и ее длина дают возможность гостям определить, куда и на какое расстояние откочевали хозяева.

IV.

Описанные формы взаимного общения австралийцев дают таким образом возможность одним группам пользоваться хозяйственными благами, находящимися в обладании других.

Несмотря на значительное однообразие и скудость природы страны, на крайнюю примитивность хозяйственного быта и ограниченность круга предметов, удовлетворяющих потребности этих дикарей, — неот'емлемую принадлежность взаимного общения разных групп составляет также и двусторонний обмен различными продуктами и изделиями.

Характерную картину постоянных перекочевок, посещений чужих групп и сопровождающего такие визиты обмена дают записки беглого ссыльнопоселенца Вильяма Бекли. Найденный в бессознательном состоянии туземцами, принадлежавшими к одному из племен, обитавших на юго-востоке материка, в Виктории, он был принят в члены одной группы и прожил с ней 32 года.

Группа, приютившая Бекли, вскоре сошлась с другой группой и пошла в ее кормовую область. Здесь они набили множество кенгуру. После того, как они перешли на новое место, к ним прибыл вестник от другой группы с предложением посетить одно большое озеро. Здесь они набирали лебяжьи яйца, при чем хозяева позволили гостям первым наполнить свои корзины. За сбором яиц последовало празднество, «корробори», закончившееся дракой, после чего группа Бекли ушла на другое озеро. Сюда также явился вестник еще от одной группы с новым приглашением. На руках у него был накрашен ряд полос, означавших число дней, необходимых для перехода в ту местность, откуда он явился.

«Целью предложенного посещения был взаимный обмен запасами угрей и кореньев. Было установлено, что переход возьмет 14 дней. Мы несли нашу рыбу в шкурах кенгуру и достигли назначенного для встречи места, где нашли около восьмидесяти мужчин, женщин и детей. Самый обмен происходил следующим образом: двое мужчин с каждой стороны приносили угрей и коренья на длинных кусках коры, перенося их на голове с одной стороны на другую, пока все количество не было обменено. Вечером было величественное корробори, а на следующее утро драка, потому что одна из женщин бежала с посторонним мужчиной, покинув своего мужа. Дело кончилось тем, что ее довольно сильно ранили копьем. После короткого времени группы соплемен-

ников разошлись, предварительно согласившись встретиться снова для обмена продовольствия. От этого места мы пошли в другое... где оставались в течение нескольких месяцев, пока не пришел взаимно назначенный срок для обмена рыбы на коренья. Однако, в данном случае, мы взяли в обмен кенгуру» [1]).

Как нам уже известно, австралийцы строго соблюдают неприкосновенность границ кормовых областей. Проникнуть в чужую область можно только с разрешения ее хозяев. Между тем, существуют места, находящиеся на территории какой-либо одной группы, особо привлекающие к себе другие группы своими естественными условиями. Таким пунктом, привлекавшим многих, была, например, в прежние времена одна гора близ нынешнего города Ленсфильда на юго-востоке материка. Отсюда добывался зеленый камень (диорит) для выделки топоров. Когда группы, обитавшие вдалеке, собирались отправиться к этой каменоломне, они посылали посла к хозяевам данной местности, прося разрешения заняться добычей камня и обещая доставить в обмен подарки, например, шкуры животных. После такого предупреждения и, очевидно, получив согласие хозяев, чужие приходили беспрепятственно и располагались стоянкой возле самой каменоломни.

Взаимные посещения и обмен между разными группами должны быть очевидно более интенсивны между обитателями различных по своей природе областей. Так, группы австралийцев Квинсленда, из которых одни обитают по берегам океана и занимаются рыболовством, другие — в глубине страны, постоянно посещают друг друга для обмена продуктами своих местностей.

Австралийские визиты, повидимому, всегда соединяются с устройством празднества. И опять-таки, одним из элементов этих празднеств оказывается обмен. У племен Центральной Австралии обмен приурочивается к празднеству посвящения мальчиков, на которое приглашаются все соседи или иные группы, с которыми поддерживаются дружественные отношения. У северных племен хозяйственный обмен приурочивается даже к собранию разных групп на церемонию похорон. Когда племена западного побережья материка устраивают в определенное время года, по предварительному соглашению, общие празднества или общие большие охоты на кенгуру, то одной из целей этих сборищ является также обмен. Паркер, в своем описании племени юалайи, перечисляя различные виды празднеств, говорит о существовании здесь специального празднества, целью и содержанием которого является обмен подарками. В Виктории, во время междугрупповых «корробори» в первый же день происходит раздача подарков и обмен такими предметами, которые составляют особенность отдельных местностей или специальный продукт выделки отдельных групп: одна группа богата деревянными копьями, другая — бумерангами, третья является счастливой обладательницей месторождения кристаллического талька и т. п. [2]). Точно так же у племен диери, обитающего

[1]) J. Morgan, Life and adventure of William Buckley, Hobart 1852. Цит. по К. Тахтарев, Очерки по истории первобытной культуры. Первобытное общество, М.—Л. 1922.

[2]) W. E. Stanbridge, Some particulars etc. of Victoria, Southern Australia, — «Transactions of the Ethnological Society», N. S. 1 (1861). Цит. по P. S. A. Grierson, The silent trade, Ed. 1903.

близ озера Эйр, устраиваются специальные встречи-празднества, имеющие целью поддержание или возобновление мирных отношений и обмен подарками.

Помимо таких бытовых форм меновых отношений, австралийская экономика знает уже и иные, повидимому, более специальные, формы. Обмен не приурочивается к посещениям разных групп друг друга, а происходит в особых встречных пунктах, куда собираются разные группы. Эта форма наблюдается, однако, только у более развитых племен, обитающих преимущественно в прибрежных районах.

Здесь ряд племен имеет обыкновение встречаться время от времени, через издавна установившиеся промежутки и в давно принятых обычаем местах, со специальной целью вести обмен. Так, у пролива Георга, на юго-западе материка, граничат области четырех племен, из коих одно обладает лучшим деревом для копей, другое специализовалось на каменных топорах и выделке шкур кенгуру, третье — на бумерангах и проч. В определенное время года, по предварительному соглашению, все эти племена собираются для обмена. Точно так же и у юго-восточных племен существуют постоянные центры, где различные группы встречаются в известных случаях для правильного обмена.

Наконец Штрелов сообщает, что и у племен аранда, лоритья и урабуна существуют постоянные сборные пункты для обмена, при чем этими пунктами служат поселения, расположенные у границ соседних находящихся в мирных отношениях племен. Вероятно, однако, что у этих австралийцев, обитающих в глубине страны и принадлежащих к более отсталым племенам, такие, повидимому специальные обменные пункты возникли недавно и явились результатом того влияния европейцев, которое, согласно описанию Штрелова, уже в значительной мере проникло сюда.

V.

О глубоком проникновении обмена хозяйственных благ в быт австралийцев нагляднее всего говорит распространенность на очень широкой географической арене целого ряда предметов, происхождение которых с несомненностью относится к одной определенной местности: это либо продукты местной природы, либо изделия, составляющие специальность только одной группы. Многие такие предметы обнаруживаются в местностях, отделенных громадными расстояниями, иногда свыше тысячи миль, от места их происхождения. Столь же показателен наблюдавшийся факт необыкновенно быстрого и широкого распространения европейских товаров, даже в совершенно пустынных и изолированных местностях Центральной Австралии, куда никогда еще не проникали европейцы, Спенсер и Гиллен находили железные топоры и ножи, достигшие туда, очевидно, путем перехода от одной группы к другой.

Обмен собственных продуктов и изделий австралийцев основывается прежде всего, естественно, на различии географических условий разных кормовых областей. Наличие в отдельных местностях каких-либо только

здесь встречающихся продуктов мертвой или живой природы делает их предметом спроса на широкой арене.

Таково, прежде всего, различного рода «сырье», например, особые твердые породы камня, идущего на приготовление орудий, красная и желтая охра, которая находится только в определенных местностях Австралии, а употребляется повсеместно для окрашивания тела, различных предметов и для некоторых магических целей, ряд других материалов, употребляемых для выделки украшений и т. п. Об'ектом обмена служат, между прочим, употребляемые в качестве наркотического средства листья и мелкие ветки туземного кустарника «пичери», растущего только в одной местности, на реке Герберт, в северном Квинсленде. Добывающее этот наркотик племя диери не только употребляет его само, но и постоянно выменивает соседям. Войдя в употребление у ряда племен, «пичери» расходится на большое расстояние от места добычи. Наконец, сплошь и рядом предметом австралийского обмена служат и пищевые продукты: рыба, составляющая достояние обитателей прибрежных областей, коренья, редкие плоды, птичьи яйца, мясо животных, водящихся только в известной местности, и т. д.

Но, помимо влияния естественно-географического фактора, обильную пищу для обмена дают в Австралии различные изделия — орудия, оружие, украшения и магические средства.

Замечательно, что среди австралийцев уже обнаруживается хорошо выраженная дифференциация производства. О групповой специализации по выделке различных предметов говорят местные предания, следовательно, и это явление относится уже к отдаленному прошлому. Здесь, прежде всего, ко-сырья: различие среды дает и различие в средствах производства. Сюда присоединяются навыки использования и обработки. Это обстоятельство, однако,
соединяются навыки использования и обработки. Это обстоятельство, однако,
не является единственным фактором. Для многих австралийских групп вполне характерна дифференциация не только на основе обладания местным сырьем, но и по особенностям выделки и по качеству изделий.

Уже в Центральной Австралии каждая группа имеет свою специальность: одна славится умением изготовлять щиты, другая — копья и т. п. Большинство видов орудий и оружия употребляемых туземцами, имеет свои особые места производства. Часто эти специальные предметы распространены на очень больших пространствах. Некоторые, например, виды щитов встречаются у дикарей, обитающих на расстоянии сотен миль от той небольшой местности, где эти щиты изготовляются. Необходимый для выделки ножей кварц находится повсюду или в большей части страны. Однако л у ч ш и е ножи изготовляются только в известных местностях. Маленькие каменные ножи изготовляются везде, но ножи с каменным лезвеем и деревянною ручкой выделываются только на крайнем севере страны и именно племенем тжингили.

Является ли такая специализация только групповой, или в среде группы у этих дикарей имеются уже отдельные личности — специалисты, мастера своего дела? К сожалению, материала для ответа на этот вопрос, как

и вообще для освещения области «производства» в австралийском хозяйстве, почти не имеется. Мы нашли, однако, у Спенсера указания на то, что у северных австралийских племен всегда встречаются отдельные лица, пользующиеся известностью даже за пределами своей группы в качестве людей особо искусных в выделывании один — щитов, другой — копий и проч.

Вовлечение в обменный оборот очень большого числа предметов, составляющих немалую долю в общем наборе хозяйственных благ австралийцев, подчеркивает глубокое внедрение обмена в их хозяйственную жизнь. Племя аранда, например, дает в обмен другим группам следующие предметы: щиты, копья, копьеметалки, маленькие бумеранги, шнурки, смолу, каменные ножи, корыта из твердого дерева и проч. В свою очередь, аранда получают от северных племен: корыта из мягкого дерева, головные повязки, женские шейные повязки, шейные украшения, раковины, шесты, а у юго-восточных — большие бумеранги и надбедренные повязки. Применительно к ограниченному количеству предметов австралийской материальной культуры приведенное перечисление показывает, что чуть ли не все предметы обихода племени аранда являются так или иначе об'ектами обмена.

Из фактов широкого распространения разных предметов на далекие расстояния от места их происхождения очевидно, что отдельные группы ведут обмен не только для своих надобностей, но оказываются также и посредниками в обращении благ между разрозненными и далеко расположенными друг от друга хозяйствами. Это происходит, как мы видели, с «пичери», с цветной охрой, с рядом изделий туземного производства, с европейскими товарами. Все эти предметы нередко проходят целый ряд обладателей, выменивающих их все дальше и дальше.

VI.

Обмен у австралийцев ведется не только групповым порядком, но и через отдельных личностей — гостей в форме того обмена приношений и отдарков, который вообще распространен в Австралии. У племени диери существует особый обычай, называемый «ючин»: состоит он в том, что человек, собирающийся побывать в гостях, уславливается с кем-либо из своих близких принести ему подарок. Мы видим здесь первобытный прообраз общераспространенного и общеизвестного «гостинца».

У некоторых племен существуют весьма своеобразные формы индивидуального посредничества или представительства по делам обмена.

Туземцы Квинсленда находятся вообще в самых оживленных и постоянных меновых отношениях, как групповых, так и индивидуальных. Обмен совершается непосредственно, но может происходить весьма любопытным порядком через особого посланца, который снабжается распространенным в Австралии так называемым «посланническим жезлом». Это палка с нанесенными на нее знаками, служащая чем-то вроде письма. Вся процедура происходит, по описанию Рота, следующим образом. Кто-либо, какой-нибудь «Чарли» желает получить от другой группы пичери. Не имея возможности

отлучиться самому, он посылает своего брата «Петера» в ближайшее поселение людей, имеющих требуемый наркотик. Петер берет с собой изготовленный Чарли жезл и отправляется в путь. Прибыв на место, он сообщает кому-нибудь о цели своего визита, вручая одновременно жезл-письмо. Может случиться, что тот отказывается, заявляя, что он получил уже два-три таких письма-заказа на пичери и должен раньше выполнить их. Тогда он направляет прибывшего к другому человеку. Тот принимает жезл и берется приготовить наркотик через несколько дней. В ожидании, посланец завязывает знакомства и связи. Когда корзина пичери приготовлена, она вручается Петеру, при чем ему возвращается и принесенный им жезл.

Получив заказанное пичери, Чарли спешит отправить в обмен несколько бумерангов, копий, европейских одеял и проч. Снова снаряжается тот же Петер или другой посланец и берет с собой тот же самый жезл, который посылался первый раз. Новый посланец находит собственника пичери и вручает ему ответные подарки вместе с жезлом, по которому тот узнает, за что он компенсируется. Так обе стороны иногда даже не знают друг друга. Обычно отпускающий пичери не указывает, что именно он желает получить, так как каждая местность имеет свой хорошо известный набор предметов, идущих обыкновенно в обмен с другими группами.

Точно так же каждое племя нижнего течения реки Меррей на юго-востоке страны имеет одного или двух посланцев, персона которых считается неприкосновенной. Эти люди свободно общаются с другими племенами, передают новости и заботятся обо всех делах, связанных с обменом. Аналогично и у племени диери, помимо иных форм обмена, существуют особые лица, являющиеся общепризнанными посредниками по сношениям и обмену.

Наконец, у юго-восточного племени нариньери существует обыкновение вести обмен через посредство особых лиц, принадлежащих к разным группам и считающихся в особых отношениях, называемых «нгиа-нгиампе». Отношения эти устанавливаются следующим образом. Когда у кого-либо рождается ребенок, отец сохраняет его пуповину и обвязывает ее пучком птичьих перьев. Этот предмет, так называемый «кальдек», отец вручает кому-нибудь из членов другой группы, также имеющему одного или нескольких детей. С этого момента дети обоих становятся «нгиа-нгиампе» и до возмужания не должны ни разговаривать, ни дотрогиваться, ни даже близко подходить друг к другу. Зато с наступлением зрелости они не только могут вступать в непосредственные сношения, но и обязаны взаимной помощью и поддержкой, а вместе с тем становятся посредниками, через которых обе группы ведут обмен своими изделиями.

Как ни отрывочен и неполон материал, которым мы располагаем, он показывает наличие вполне активной роли личности в австралийском обмене и, в частности, выступление в своеобразной форме специальных уполномоченных, посредников, ведущих обмен в качестве представителей своих групп и за счет своего коллектива.

Мы, собственно говоря, исчерпали все, что нам известно об австралийском обмене. Необходимо, однако, еще остановиться на одном культурно-

экономическом явлении австралийского быта, которое не имеет отношения к обмену, как таковому, но правильное освещение которого необходимо для уточнения вопроса о возникновении обмена и его наипримитивных формах.

Дело идет об особых экспедициях, которые предпринимаются многими австралийскими племенами для добычи продуктов, находящихся в отдаленных местностях. Мы говорили уже об экспедициях за диоритом, которые совершаются с разрешения хозяев чужой территории. Такого же рода мирные экспедиции предпринимаются в Австралии за водой во время засухи, за поминавшимся уже пичери, красной и желтой охрой и т. д.

Бывают, однако, обстоятельства, заставляющие обращать эти мирные экспедиции в военные походы. Именно, в тех случаях, когда отправляющимся за добычей какого-либо материала приходится проходить через области, занятые враждебными группами, австралийцы организуют отряды воинов, пробивающих себе путь вооруженной рукой. Так, обитатели одной из местностей юго-востока, занимающие большую совершенно безводную территорию, обычно добывают влагу из одного вида эвкалиптового дерева или из других растений. Во время засухи они принуждены отправляться за водой к рекам на участки других племен, при чем им приходится, соединяясь во внушительные отряды, пробивать себе дорогу силой. Такие же военные отряды приходится ежегодно посылать некоторым группам из племени диери, живущим на озере Эйр, за пичери на реку Герберт, на расстояние в 250 миль. Так как отряду приходится проходить через местности, занятые разными враждебными племенами, то, в случае надобности, он принужден итти с боями.

VII.

Еще раз подчеркивая скудость, зачастую недостаточную выразительность и отчетливость имеющегося в нашем распоряжении материала, мы все же можем притти к достаточно существенным выводам о междугрупповых хозяйственных отношениях австралийцев, принадлежащих к одному из наиболее примитивных народов, существующих сейчас на земле и живущих по своей материальной культуре еще в каменном веке.

Вместе с постоянными и очень оживленными сношениями разных групп идет широкая и глубокая циркуляция всех хозяйственных благ, как с'естных продуктов, так и различных сырых материалов, а равно и всякого рода изделий.

Повидимому, наиболее элементарная и примитивная форма междухозяйственных взаимоотношений приурочивается к визитам и состоит в том, что хозяева предоставляют гостям возможность пользоваться всеми дарами природы, находящимися в их обладании, или гостеприимно наделяют и одаривают чужаков. Так начинается обращение хозяйственных благ между различными группами. Здесь, однако, уже и благоприятная почва для возникновения двустороннего обмена, в котором гости являются с нарочитыми приношениями и получают в обмен недоступные им предметы, имеющиеся у хозяев.

Как вообще всякое взаимное общение, так и специально обмен тесно соприкасаются у австралийцев с празднеством. Мы видим, что обмен здесь составляет не только один из существенных элементов торжественных сходбищ разных групп, но и, очевидно, один из поводов к устройству празднества. Можно предполагать, что самый обмен представляется этим дикарям своего рода особым празднеством.

В этом сказывается, между прочим, широко присущий вообще примитивному человеку так называемый «церемониализм»: все более или менее значительные акты, в особенности те, в которых участвуют разные группы, облекаются в форму особой церемонии, принимают характер обряда.

Встречи разных групп в постоянных пунктах в определенные сроки со специальной целью обмена, т.-е. прообраз базаров, наблюдаются, как было уже отмечено, у племен, обитающих преимущественно на окраинах материка; следовательно, эту форму осуществления обмена надо считать более высокой экономической формой, созданной более развитыми племенами, если, впрочем, она не является заимствованием.

Точно так же и свидетельства своеобразного посредничества или представительства относятся к той же группе племен, обитающих в береговых областях страны.

Таким образом надо признать вообще, что у центральных и окраинных австралийцев мы наблюдаем различные по уровню развития стадии меновых отношений. На это указывают также и Спенсер и Гиллен: ссылаясь на сделанное Ротом описание обмена в Квинсленде, они замечают, что, повидимому, обмен здесь более развит или, как они выражаются, «лучше организован», чем в центральной области Австралии.

Что говорит нам изображение вооруженных экспедиций австралийцев за разными редкостными продуктами природы? Очевидно, что к обмену как таковому эти явления никакого отношения не имеют. По всей вероятности такие военные походы вообще имеют место только в случае крайней необходимости. Как уже было правильно замечено Гребнером [1]), австралийские походы за пичери или охрой не представляют собой вооруженного грабежа, ибо нет никаких указаний на то, что самые предметы добываются насильственно. Только дорогу приходится отряду пробивать силой тогда, когда на пути лежат области враждебных групп. Только это последнее обстоятельство обращает мирную экспедицию в военную.

Экономические взаимоотношения разных хозяйств основываются прежде всего на географических различиях разных местностей. Вместе с тем, в австралийском хозяйстве мы имеем перед собой совершенно явственно выраженную дифференциацию производства. Судя по тому, что это явление покоится на естественных основаниях различия среды, мы должны, кстати сказать, считать подобную хозяйственную дифференциацию явлением вполне первобытным. Как мы видели, внутри австралийского хозяйства намечается

---

[1]) F. Graebner, Handel bei Naturvölkern, «Karl Andrees Geographie des Welthandels», B. I, W. 1910.

уже и начало разделения труда. Несмотря на наличие этих признаков, мы ничего не знаем о существовании у австралийцев производства для сбыта или «товара». Таким образом австралийское хозяйство еще нельзя назвать «товарным».

Мы видим, далее, сплошь и рядом достаточно явственно выраженное существование хозяйственной потребности, вызывающей, в свою очередь, спрос и служащей таким образом прямым источником обращения и обмена благ между группами-хозяйствами. Более того, в австралийской экономике определенно проступают, правда, еще слабые, черты взаимной связанности различных хозяйств и зависимости их от обмена.

Что касается самого обмена, то австралийский образец дает повидимому расчлененность его составных признаков. Мы видим здесь начало взаимности, но ничего не знаем об элементе обязательственности. Замечательно также, что в наших источниках нет никаких указаний на то, чтоб этим дикарям было бы в какой-либо степени и форме свойственно обладание идеей сравнения обмениваемых благ и, следовательно, идея ценности.

В общем, судя по многим чертам австралийских меновых отношений, судя по тому, что, повидимому, чуть ли не все хозяйственные блага этих дикарей участвуют в обращении и вовлечены в обмен, что обмен имеет здесь уже свои определенные пути и формы, — ясно, что австралийские меновые отношения представляют собой явления постоянные, а не случайные, что они обладают всеми чертами уже сложившегося и вполне устоявшегося экономического быта.

Все вместе взятое дает нам основание именовать этот экономический строй первобытным, правда, своеобразным, меновым хозяйством.

Правда, имея перед собой такую картину хозяйственных отношений, приходится признать, что они представляют собой несомненно более высокую эволюционную ступень, чем какие-то изначальные, совершенно примитивные отношения. Приходится таким образом признать, что действительно начальный, «самый первобытный» хозяйственный строй мы не имеем уже возможности наблюдать непосредственно на каком-либо живом примере. Нам остается только считать хозяйство племен Центральной Австралии, в частности, их междугрупповые хозяйственные отношения наиболее близкими по своему содержанию и формам к экономическому строю первобытного человечества.

VIII.

Исследование австралийской экономики дает нам возможность и основание сделать еще несколько замечаний, касающихся некоторых ходячих воззрений на примитивный хозяйственный быт и происхождение обмена.

Очень популярный до настоящего времени догмат политической экономии рисует особую эпоху «замкнутого» или «первичного натурального хозяйства», являющуюся первой фазой экономического развития человечества. Одной из отличительных особенностей этой фазы считается «отсутствие или ничтожное развитие обмена», при чем возникновение обмена относится,

вместе с рабством, к гораздо более поздней эпохе «авторитарной родовой общины» [1]). Пример австралийского хозяйства заставляет подвергнуть этот догмат основательному пересмотру.

Далее, условия примитивного обмена изображаются обычно примерно следующим образом: «Первая, простая или случайная форма обмена относится к тому периоду, когда обмен был еще очень редким явлением. Случайно встречаются два человека, обыкновенно представители двух родовых общин; у каждого из них есть для обмена продукт, который случайно оказывается нужным другому» и т. д. [2]). Мы видели, как далек австралийский обмен от этой наивной схемы случайностей.

В противность не менее распространенному воззрению, сохраняющемуся еще со времен Адама Смита, что обмен возник из предложения одним хозяйством образовавшихся у него «излишков», мы на австралийском примере видим, что не предложение, а скорее спрос является первичным и основным фактором обращения и обмена.

Не находим мы также подтверждения и излюбленной многими экономистами и историками культуры гипотезы, по которой самой примитивной формой меновых отношений был так называемый «немой обмен» или «молчаливый торг», — своеобразная процедура, при которой обе обменивающиеся стороны не говорят или даже не видят друг друга.

Очень давно высказанное мнение, будто весь хозяйственный обмен и торговля ведут свое происхождение от первобытной войны и грабежа, стало трафаретным утверждением, бесконечно повторявшимся и повторяющимся до сих пор.

На самом деле, весь вопрос о первобытной войне и характере военных действий у примитивных народов также требует пересмотра. Отметим здесь только, что, прежде всего, настоящей, определенно выраженной войны группового или массового характера, какая хорошо знакома нам, мы совершенно не находим у современных наиболее примитивных дикарей. Если не просто изолированность или глухая враждебность, то скорее мирно-дружественные отношения оказываются характерной чертой первобытных междугрупповых отношений, примитивной «внешней политики». Вместе с тем, никакого массового организованного грабежа действительно первобытные племена вовсе не знают, хотя бы может быть потому, что, за отсутствием в первобытном хозяйстве накопления вообще или каких-либо особых запасов благ и ценностей, и об'екта-то для грабежа не имеется. Приходится сказать, что грабеж представляет собой явление «культурное».

В этом отношении нечего и говорить о таких совершенно отсталых дикарях, как лесные ведды на Цейлоне, кубу на Суматре, андаманцы на одноименных островах Индонезии, бушмены в Южной Африке и проч. Все это народцы чрезвычайно пугливые, избегающие даже встречи с чужими, совершенно неспособные к активному нападению. Но о достаточно экспансивных

---

[1]) А. Богданов, Краткий курс экономической науки, 10 изд., М. 1922, стр. 9.
[2]) Там же, стр. 50.

и хорошо вооруженных австралийцах наши источники не дают указаний или каких-либо примеров, которые могут сойти за намеренный массовый поход чисто военного типа и, в частности, поход с целью грабежа.

Экономические взаимоотношения и связи человечества возникли не из войны и грабежа. Эти явления не составляют исконной и необходимой принадлежности менового хозяйства. Совершенно противоположные факторы лежат в основе того экономического процесса, который, начавшись с ранних дней существования человечества на земле, приводит к созданию единого мирового хозяйства.

В Бутырках.

(Из воспоминаний).

М. Абрамович.

I.

Тюремные порядки.

Я помню яркое светлое утро 18 октября 1905 года, когда бесчисленные толпы народа, состоявшие, главным образом, из рабочих и учащихся, запружая Долгоруковскую и Новослободскую улицы, в стройном порядке, с красными знаменами, с пением революционных песен подошли к Бутырской тюрьме.

Помню, как оказавшийся около тюрьмы московский губернатор полковник Джунковский был взят толпою в качестве заложника, как по его приказу была отодвинута от тюрьмы пехота и удалены казачьи и жандармские войска, дефилировавшие небольшими раз'ездами по Новослободской и прилегающим к ней улицам, помню, с каким торжеством, с каким неописуемым восторгом были освобождены из тюрьмы политические.

Помню крики ликования, необычайную радость, написанную на всех лицах.

Как будто бы все сразу на много лет помолодели, ожили.

Это было на второй день после выхода манифеста.

Но уже через несколько дней картина резко изменилась, и подлинные намерения царского правительства начали обнаруживаться с достаточной определенностью.

Прокатившаяся по всей России волна еврейских погромов и массовых избиений рабочих и учащихся наглядным образом показала, что правительство Николая II, первоначально растерявшееся и как бы капитулировавшее перед восставшим народом, решило, однако, после некоторой передышки бороться не на жизнь, а на смерть. И к началу декабря все российские тюрьмы были полны значительным количеством узников.

Не отставала от других тюрем и тюрьма Бутырская.

Еще с конца ноября были арестованы и заключены в ней некоторые из членов всероссийского почтово-телеграфного союза. Далее подошла оче-

редь союза железнодорожников. А затем разразившееся в начале декабря московское вооруженное восстание дало такое количество заключенных, которого Бутырки не видали с самого своего основания.

И одиночный корпус, и башни, и все камеры пересыльной тюрьмы, и находящаяся при Бутырской тюрьме тюремная больница были переполнены заключенными. Тут была полная «смесь племен, народов, состояний».

Главное ядро заключенных составляли рабочие самых разнообразных профессий. Тут были и металлисты, и текстильщики, и деревообделочники, и типографщики, и рабочие железнодорожных мастерских. Словом, все промышленные предприятия Москвы как государственные, так и частные имели в Бутырках своих представителей. Далее следовали студенты поголовно всех российских высших учебных заведений. Последние выделялись своей разнообразной форменной одеждой: блестящими пуговицами, погонами, значками, петлицами. Далее шли представители интеллигентных профессий. Среди них были и врачи, и инженеры, и адвокаты, и литераторы, и народные учителя, и служащие различных учреждений. Среди последних большинство составляли земские служащие. Затем в числе заключенных находилось довольно большое количество военнослужащих: солдат, матросов, офицеров, военных чиновников. В пересыльных камерах был также значительный процент крестьян, высылавшихся из мест, охваченных сильным аграрным движением. Если бы мы далее пожелали выяснить партийность заключенных, находившихся в то время в Бутырской тюрьме, то можно сказать с уверенностью, что все как революционные, так и оппозиционные партии были представлены в Бутырках полностью.

Словом, в это время тюрьма Бутырская, как и большинство российских тюрем, сильно видоизменилась как по количеству заключенных, так и по тем порядкам, которые в ней установились.

В предреволюционные годы и внешний облик тюрьмы и уклад ее жизни был совершенно иного характера, чем в описываемую эпоху.

В эти годы тюрьма и в особенности тюрьма политическая жила традиционной, десятилетиями установленной, размеренной жизнью.

Жизнь политического заключенного, попавшего в эти годы в тюрьму, поражала своею регулярностью, монотонностью, однообразием. За небольшими исключениями во всех тюрьмах бывшей Российской империи проводился приблизительно один и тот же режим.

День начинался часов в семь—восемь утра. Часу в девятом подавался кипяток, выносилась параша, выметалась камера. Часов в двенадцать, в час— подавался обед. Вслед за обедом. обыкновенно шла прогулка, где часовая, где получасовая. Время прогулки устанавливалось обыкновенно в зависимости от количества заключенных. Если заключенных было сравнительно немного, срок прогулки удлинялся, если же тюрьма была переполнена, то само собою разумеется, что предназначенное для прогулки время распределялось между большим количеством арестованных и, таким образом, на долю каждого из них приходился сравнительно небольшой промежуток времени. Часам к четырем -- пяти вторично подавался кипяток, часов в семь — восемь — ужин, и

затем сношения заключенного с внешним миром прекращались до следующего утра.

Многим, может быть, это покажется и странным, но нельзя не отметить, что в некоторых случаях такой размеренный образ жизни имел свои положительные стороны для партийного работника, попавшего в тюрьму после кипучей, не знающей отдыха подпольной жизни. Если заключение продолжалось не слишком долго, если условия пребывания в тюрьме были сносны, если не было излишней придирчивости или каких-либо эксцессов со стороны тюремной администрации, если, наконец, у заключенного было достаточно материала для умственной работы, то пребывание в тюрьме давало возможность подпольному работнику иногда даже несколько и «поотдохнуть» от той усталости, тех временами очень тяжелых переживаний, с которыми была связана работа в подполье. По крайней мере пишущий эти строки, имевший возможность неоднократно побывать в различных тюрьмах, как столичных, так и провинциальных, должен констатировать, что иногда, при особо благоприятно сложившихся условиях, тюремное заключение благодаря регулярному образу жизни действовало благотворно: усталость прекращалась, нервы становились крепче и тюрьма по выходе из нее как бы давала импульс к более интенсивной подпольной работе. Само собой разумеется, что так бывало при особо благоприятно сложившихся обстоятельствах, и, наоборот, очень и очень часто случалось, что тюрьма вписывала в память побывавшего в ней кошмарные, на всю жизнь незабываемые страницы, что пребывание в ней становилось мукой нестерпимою. Но, не касаясь различных сторон тюремной жизни и говоря только о регулярном распределении времени в тюрьме, нельзя не отметить, что такое распределение имело свои положительные стороны. В особенности удобно было при наличии такого регулярного образа жизни заниматься научной работой, которая у большинства подпольщиков предреволюционной эпохи заполняла в тюрьме почти все время.

И мы можем с уверенностью сказать, что пребывание в предреволюционной тюрьме имело громадное воспитательное значение для всех, имевших случай попасть туда. Тюрьма являлась буквально школой и пребывание в этой школе давало себя чувствовать потом на всю жизнь.

Не меньшее воспитательное значение имела тюрьма во время революции 1905—1906 годов, но только в это время порядки в тюрьме были не те, что в предреволюционную эпоху, и потому жизнь политических носила несколько иной характер. Попавши в Бутырки в ночь с 9 на 10 декабря 1906 г. в самом начале вооруженного восстания в количестве более ста человек, мы в эту же ночь были размещены по одиночкам. Строгой изоляции при наличии такого количества заключенных провести, конечно, нельзя было и общение товарищей друг с другом было установлено с первого же дня. Да, впрочем, о строгой изоляции тюремное начальство в первую неделю и не заботилось, и это видно было из того, что на прогулку нас выводили не по одному, как это практиковалось раньше, а по пяти — шести человек сразу.

Пребывание в тюрьме в течение первой недели при непрерывном грохоте орудий и трескотне пулеметов и мелкого оружия, доносившихся к нам

с воли, оставило на долгое время очень тяжелое, незабываемое впечатление. Сидя в одиночках, мы в продолжение этой недели мучительно переживали все этапы московского декабрьского восстания.

Все одиночные камеры, помещавшиеся в четырех этажах одиночного корпуса, отстроенного незадолго до декабрьского восстания, выходили на тюремный двор, образующий собою правильный прямоугольник. С трех сторон двор этот был окружен стенами одиночного корпуса с выходящими окнами одиночек, а с четвертой была стена тюремной ограды и часть Пугачевской башни. Форточки в одиночках не запирались, и одиночники, взбираясь при помощи табуреток на окна, помещавшиеся довольно высоко, могли свободно между собою разговаривать.

Первоначально этим разговорам мешал ряд обстоятельств. Во-первых, в январе и феврале были сильные морозы, благодаря которым нельзя было долгое время стоять около открытых форточек. Во-вторых, тюремная администрация в лице дежуривших в коридорах надзирателей старалась на первых порах чинить всяческие препятствия к тому, чтобы политические разговаривали друг с другом. Но спустя некоторое время обе эти причины, мешавшие непосредственному общению заключенных, отпали. С одной стороны, установилась теплая погода, с другой — ослабла бдительность надзирателей. И благодаря этому заключенные большую часть дня стали просиживать на окнах, проводя это время в оживленных разговорах. Надо заметить, что это были не только одни разговоры. Здесь шла все время упорная, выражаясь по современному, политико-просветительная работа. Прежде всего обитатели одиночного корпуса ежедневно слушали чтение газет, которые читал кто-либо из товарищей, обладавших сильным голосом. И это чтение сопровождалось самым оживленным обменом мнений по текущим злободневным вопросам. Время тогда было бурное, кипучее, события следовали за событиями, и вся тогдашняя общественная жизнь была предметом самого обстоятельного и всестороннего обсуждения. Иногда, при чтении газет, бывали и кое-какие товарищеские проказы.

Сплошь и рядом читавший газету сообщал от себя заведомо неправдоподобные сведения. Случалось, что это делалось по наитию. А иногда некоторыми из товарищей предварительно самым детальным образом разрабатывался номер газеты, сплошь состоявший из всевозможного рода сенсационных событий. Номер этот тщательно переписывался и нашивался на газетный лист. Во время чтения этого номера всем сидевшим в одиночках был виден в окне товарищ, читавший действительно подлинную газету. Но никто не мог заметить рукописного листа, нашитого на эту газету.

Сначала на лицах слушавших выражалось полнейшее недоумение, затем раздавались крики: «провокация», и номер, если он был удачно составлен, прочитывался под громкий хохот всего одиночного корпуса.

Особенно в этом направлении изощрялись некоторые товарищи, сделавшие себе своего рода «специальность» в мистифицировании как отдельных лиц, так и всей тюрьмы. Среди них выделялся упомянутый выше председатель

почтово-телеграфного союза тов. Парфененко, получивший шутливую кличку «обер-провокатора».

Приблизительно такая же картина, как и в одиночном корпусе, была и в пересыльной тюрьме, но только в пересылке весь уклад жизни сильно отличался от уклада жизни одиночной тюрьмы.

У одиночников прежде всего по сравнению с пересыльными был целый ряд преимуществ. Если одиночник хотел работать, если он желал серьезно заняться изучением какой-либо научной дисциплины, то он просто закрывал свою форточку, и работа его протекала при абсолютной тишине.

Если же одиночник, наоборот, жаждал общества, то ничто не мешало ему хотя бы целый день сидеть на окне, разговаривая с товарищами. Совершенно иное положение было в пересылке. Уединиться куда-либо для работы здесь не было никакой возможности. Здесь вся жизнь заключенного была на глазах у товарищей. И вполне поэтому понятно, что обстановка пересыльной тюрьмы мало располагала к занятиям, тем более, что в каждой камере находилось от восьмидесяти до ста, а иногда и более ста человек. Само собой разумеется, что в этой постоянной толчее, шуме, гаме совершенно не было возможности сосредоточиться, так что об изучении какой-либо научной дисциплины здесь не могло быть и речи. Далее, ни один заключенный пересыльной тюрьмы и не мог себе ставить каких-либо заданий по изучению той или иной дисциплины по той простой причине, что пребывание его в пересылке носило кратковременный характер. Состав пересылки все время менялся: одни партии приходили, другие уходили. Даже тюремная библиотека не отпускала книг для пересыльных, и потому они должны были довольствоваться собственными книгами. И, конечно, при указанных условиях заниматься научной работой было абсолютно невозможно. Но пульс общественной жизни зимою 1906 года бился в пересылке пожалуй более интенсивно, чем в одиночном корпусе. Рефераты и дискуссии здесь ставились чаще, споры были оживленнее. В пересылке далее очень много митинговали в связи с теми или иными политическими событиями. Одно время, именно незадолго до открытия первой Государственной Думы, было даже такое положение, что все камеры пересыльной тюрьмы были распределены между социал-демократической партией и партией социалистов-революционеров, и представители каждой из этих партий систематически, чуть ли не ежедневно, проводили в предназначенных им камерах митинги, устраивали рефераты и дискуссии по целому ряду как злободневных, так и общепрограммных вопросов.

II.

Два побега.

Несколько иную картину по сравнению с одиночным корпусом и пересыльною тюрьмою представляла собою находящаяся при Бутырской тюрьме тюремная больница.

Она была расположена на довольно большом участке земли, окруженном с трех сторон высокой каменной стеной. С четвертой стороны этот уча-

сток, или, попросту говоря, больничный двор, примыкал непосредственно к Бутырской тюрьме и соединялся с нею особым ходом.

Помещение больницы состояло из каменного двухэтажного корпуса и пяти деревянных бараков, расположенных один от другого на расстоянии шагов около пятидесяти.

В первом этаже главного корпуса помещались контора тюремной больницы и кабинет начальника. Второй этаж был занят больничными одиночками, аптекой, ванной комнатой и дежурной комнатой медицинского персонала.

Состав политических, населявших тюремную больницу в зиму 1906 года, был очень пестрый и очень текучий. За исключением небольшого количества хронических больных, нуждавшихся в постоянном, систематическом лечении и живших в больнице месяцами, весь остальной контингент больных менялся чуть ли не каждую неделю. И это происходило, главным образом, по той причине, что Бутырская тюремная больница была единственной на всю Москву, и потому сюда привозили больных изо всех московских тюрем и арестных домов. А так как таковых больных было очень много, то вполне естественно, что срок пребывания в больнице каждого из них был относительно непродолжительным. Режим больницы был значительно мягче тюремного. Особенно свободным режим был в деревянных бараках, находившихся вдали от начальственного ока.

Больница далее отличалась от тюрьмы некоторою благоустроенностью и относительною чистотой. В особенности это отличие бросалось в глаза при сравнении больницы с пересыльной тюрьмой, оставлявшей желать очень и очень многого по части санитарии и гигиены. Действительно, все камеры пересыльной тюрьмы были очень грязны и полны массою насекомых, не дававших покоя ни днем, ни ночью. В одиночках, правда, было несколько чище и опрятнее, но и там гигиена стояла далеко не на высоте. В больнице в этом отношении было куда лучше, и заключенные смотрели на больницу, как на своего рода «дом отдыха». Всякий, желавший переменить обстановку, отдохнуть от шума тюремной жизни, пожить в несколько лучших условиях, стремился попасть в больницу. Было и еще одно обстоятельство, которое привлекало товарищей в больницу. Из больницы было легче убежать, чем из тюрьмы. В первую половину 1906 года из Бутырской тюремной больницы было совершено два побега, и оба эти побега вышли очень удачными. У нас в революционной литературе имеется ряд описаний побегов. Например, побег Дейча, Стефановича и Бохановского из Киевской тюрьмы, описанный Степняком в его «Подпольной России», побег П. А. Кропоткина из Николаевского госпиталя, описанный им в «Записках революционера», побег Бориса Савинкова.

Побеги эти обыкновенно принято считать «классическими».

Можно, однако, сказать, что два побега, устроенные в 1906 году из Бутырской тюремной больницы, и по своей организации и по технике выполнения, и по той «дерзости», которую обнаружили бежавшие, не уступают только что названным побегам.

Первый из этих побегов был совершен членом РКП В. И. Забрежневым, привлекавшимся в то время по процессу анархистов-коммунистов и обвиняв-

шимся помимо принадлежности к анархической группе в оказании также и вооруженного сопротивления при обыске.

Судебный процесс Забрежнева был назначен к слушанию в конце января, и в день суда тюремной администрацией Бутырской больницы была получена от Московской судебной палаты повестка, согласно которой Забрежнев должен был быть доставлен в Кремль, где помещалась тогда судебная палата.

Будучи в то время анархистом и потому принципиальным противником всякого суда, Забрежнев, получив эту повестку, категорически заявил, что на суд он добровольно не поедет, а если тюремной администрации будет угодно отправить его силой, то он окажет этому самое решительное сопротивление. Конечно, если бы это было в тюрьме, то разговор был бы короткий: не едет человек добровольно — повезли бы насильственно. Но здесь как никак была больница, хоть и тюремная, но все-таки больница, и во все это дело силою обстоятельств был втянут медицинский персонал. Первоначально главный врач Бутырской больницы Лебедев, вызванный к Забрежневу, заявил, что он не видит никаких об'ективных данных к тому, чтобы Забрежневу не ехать в суд, так как находит его вполне здоровым. Но сидевшие с нами в пятом бараке кадеты оказали на доктора Лебедева давление, дав ему очень недвусмысленно понять, что в случае если Забрежнев будет увезен насильственно, да еще и притом после оказания сопротивления, то они обо всем этом сообщат в медицинский союз и в печать, и таким образом случай этот получит огласку на предстоящем Пироговском с'езде.

Подействовала ли на врача Лебедева эта угроза, или, быть может, начальник тюремной больницы подполковник Станкевич не пожелал подымать истории, но во всяком случае Забрежнева оставили в покое и в судебную палату было сообщено, что он по состоянию своего здоровья в суд явиться не может. Вот тут-то, после всех этих происшествий, и возникла мысль о побеге. Идея побега принадлежала самому Забрежневу и зародилась у него по следующему поводу.

Однажды Забрежнева вызвали в тюремную контору для свидания с пришедшим навестить его приятелем. Во время свидания в контору неожиданно явился судебный следователь, имевший предписание допросить одного из арестованных. Тотчас же был вызван этот арестованный и следователь удалился с ним вместе в кабинет начальника тюремной больницы. Здесь-то как раз у Забрежнева и мелькнула мысль, что он сможет уйти из больницы, переодевшись судебным следователем. Вернувшись со свидания, Забрежнев поделился кое с кем из товарищей своими соображениями относительно возможности побега. Образовалась специальная комиссия, в которую, кроме самого Забрежнева, вошли еще трое заключенных, а именно: К. М. Трояновский, В. Б. Жилинский [1]) и я. План был рассмотрен со всех сторон и разработан самым подробным образом, взвешены были все pro и contra, и под конец мы решили, что план этот по замыслу вполне осуществим и что нужно только тех-

---

[1]) В. Б. Жилинский, автор книги о московском охранном отделении, разбиравший совместно с М. А. Осоргиным (Ильиным) документы московской охранки в 1917 году.

нически проработать самые мельчайшие детали его выполнения. Прежде всего необходимо было приобрести соответствующую экипировку, т.-е. форму судебного следователя. Для этой цели решено было достать судейские пуговицы и петлицы и пришить их к студенческой тужурке Жилинского, имевшей темно-зеленые канты, по цвету очень близко подходящие к кантам судебного ведомства. Далее нужно было достать судейскую фуражку с кокардой, портфель и документы на имя судебного следователя. К назначенному сроку все это было доставлено. Передавались все эти вещи во время свидания с родственниками, при чем и передававшему и принимавшему их нужно было проявить максимальную ловкость, так как свидания происходили в присутствии надзирателей, очень бдительно следивших за тем, чтобы в тюремную больницу не было передано что-либо недозволенное. Эта часть была полностью поручена товарищу Жилинскому, обладавшему очень большою ловкостью и все время проносившему со свиданий всевозможного рода вещи, в тюремном обиходе недозволенные.

Все необходимое для побега было добыто через старую подпольщицу, максималистку Е. П. Ефрон [1]). Выполнению побега помогали различные партийные организации. Так, ордер Московской судебной палаты был отпечатан в большевистской типографии, паспорт на имя судебного следователя был доставлен, кажется, эсерами, а браунинг, которым Забрежнев решил запастись на случай провала, был прислан максималистской организацией.

Конспирацию при этом приходилось соблюдать исключительную, так как в больничной палате было свыше двадцати пяти человек, тогда как в организации побега вначале принимали участие только трое перечисленных товарищей. Да, сверх того, в этой же камере сидел агент охранного отделения Шилов, хотя этот агент был совершенно не на высоте своего положения. Побег был назначен на 18 февраля. В этот день, утром, часов в одиннадцать Забрежнев должен был изменить свою наружность, т.-е. одеться в форму, сбрить бороду, надеть очки, а часов в двенадцать должно было начаться непосредственное выполнение задуманного плана.

Для того, чтобы ясно представить себе полную картину побега, необходимо прежде всего ознакомиться с расположением больничных зданий.

Бежать нужно было из пятого барака, находившегося как раз против того входа, которым соединялась тюремная больница с пересыльной тюрьмой. Барак этот был разделен на две половины, и двери, ведущие в каждую из этих половин, находились рядом. Двери эти днем никогда не запирались, и больные все время переходили из одной половины барака в другую. Около этих дверей всегда ходил дежурный надзиратель. Шагах в пятидесяти от пятого барака, на одной с ним линии, находился главный корпус больницы, в котором, как известно, помещалась больничная контора. И, наконец, шагах в ста от главного корпуса, тоже на одной линии, находились ворота, у которых постоянно дежурили два часовых. Всякому, стоявшему у дверей пятого

[1]) Елизавета Петровна Ефрон, член партии «Земля и Воля», урожденная Дурново, двоюродная сестра П. Н. Дурново, бывшего министра внутренних дел в 1905 г., покончила жизнь самоубийством в 1910 году в Париже.

барака, было видно все, что делается около главного корпуса и около ворот, и обратно—у часовых, стоявших около ворот, была, как на ладони, вся площадь, где находился и главный корпус и пятый барак.

Бегущему прежде всего необходимо было выйти из пятого барака таким образом, чтобы выход его не был замечен надзирателем, находящимся около этого барака. Это можно было сделать сравнительно легко. Надзирателя всегда можно было «заговорить». В то время между заключенными и надзирателями отношения были хорошие. Сплошь и рядом надзиратели исполняли различные поручения заключенных, носили на волю и передавали с воли записки, покупали для заключенных кое-какие вещи. Все это в большинстве случалось делалось за плату. Случалось далее, что иногда между несколькими заключенными, вышедшими на крыльцо пятого барака, и надзирателем, дежурившим у дверей, завязывалась очень оживленная беседа. Во время такой беседы всегда можно было незаметно выйти из дверей одной половины барака. Нужно было только, чтобы надзиратель повернулся к этим дверям спиной. И об этом, конечно, должны были позаботиться разговаривавшие с надзирателем товарищи. Но товарищ, собирающийся бежать, должен был думать не только о надзирателе, стоящем у барака, но и о часовых, дежуривших у ворот. Он должен был улучить такой момент, чтобы выход его из барака не сразу был замечен часовыми, а спустя лишь некоторое время. Такой момент, конечно, тоже можно было улучить, тем более, что часовые не все время смотрели в направлении пятого барака, а иногда, осóбенно в дурную погоду, сидели даже в будках, находившихся у ворот тюремной больницы.

Расчет наш в данном случае строился на том соображении, что если в первый момент часовые не «углядят», откуда вышел «судебный следователь», то у них создастся представление, что он вышел не из пятого барака, а из Бутырской тюрьмы, тем более, что ход, которым тюрьма соединялась с больницей, находился как раз против этого барака, и этим ходом судебные чиновники иногда пользовались.

Расчет этот оказался как нельзя более верным. Но тут же выяснилось, что для выполнения всего этого плана народу нужно несколько побольше, так как нужно было и отвлечь внимание надзирателя, дежурившего у пятого барака, и следить за часовыми, стоявшими у ворот, и следить за агентом охранки, и обрить Забрежнева и своевременно его выпустить. И поэтому мы привлекли к этому делу еще несколько товарищей.

Утром 18 февраля Забрежнев был обрит и переодетый в форму судебного следователя был спрятан в уборной, а мы разместились частью около нее, частью в передней, держа наготове все необходимое для выхода. Как сейчас помню: у Садовского в руках была шуба, у Жилинского — фуражка, у Трояновского — портфель, и у меня браунинг, в который я за минуту до этого вставил обойму. Все, таким образом, было уже готово, но в этот как раз момент подозреваемый нами шпион Шилов, оказавшийся впоследствии действительно агентом охранного отделения, стал обнаруживать признаки беспокойства и вести себя крайне подозрительно. Он все время сновал около уборной, и создавалось впечатление, что он о чем-то догадывается. Нужно

его было во что бы то ни стало убрать. К счастью, это было сделать сравнительно нетрудно. У Шилова была исключительная страсть к карточной игре. Особенно он любил играть в шестьдесят шесть, и один из товарищей, студент Московского университета С. А. Горбунов, был его постоянным партнером.

Делать было нечего: нужно было тотчас же обратиться к Горбунову, который до сего времени в организацию побега посвящен не был, и, рассказав ему кратко суть дела, попросить отвлечь Шилова.

Я тотчас же подошел к Горбунову и, взяв его за руку, произнес приблизительно следующую фразу:

— Товарищ Горбунов, мы устроили Забрежневу побег, все уже готово, сейчас он должен выйти из барака, но Шилов, кажется, кое-что пронюхал и может помешать; берите Шилова и сейчас же садитесь играть с ним в карты.

Горбунов быстро вскинул на меня широко-открытые глаза, произнес: «хорошо» и тотчас же побежал звать Шилова играть в шестьдесят шесть, на что последний сразу же согласился.

Как только Шилов был удален, об этом тотчас же дали знать товарищам, находившимся в другой половине барака, и они, выйдя на крыльцо гурьбой, вступили в самый оживленный разговор с надзирателем, предлагая ему пять рублей на чай, если он достанет бутылку коньяку. От коньяку разговор перешел на другие предметы, и мало-по-малу в процессе разговора, надзиратель повернулся спиною к двери, ведущей из нашей половины, из которой и должен был выйти Забрежнев.

В этот-то как раз момент и нужно было Забрежневу спешно выходить и двигаться по направлению к воротам, но — увы! — этого сделать было никак нельзя, так как часовые, стоявшие у ворот, все время смотрели как раз в сторону пятого барака.

Прошла минута, две, три. Мы уже думали отложить на некоторое время побег, но на счастье в калитку ворот раздался стук, часовые открыли ворота и на двор тюремной больницы в'ехали розвальни.

Вполне понятно, что внимание часовых, отпиравших и запиравших ворота, было отвлечено от пятого барака. Медлить нельзя было ни секунды. Мы дали условленный сигнал. Забрежнев мгновенно одел шубу, фуражку, взял портфель, браунинг и, выйдя из барака, медленно пошел по направлению к воротам. Спустя несколько мгновений, часовые, запиравшие тем временем ворота, обернулись в нашу сторону, но момент уже был схвачен, и они увидели Забрежнева уже после того, как он успел отойти на несколько шагов от крыльца пятого барака. И благодаря этому у часовых вполне могло создаться представление, что «судебный следователь» появился не из барака, а из Бутырской тюрьмы.

Тяжело дыша и страшно волнуясь, мы приникли к дверям и стали следить за Забрежневым, и вдруг к вящшему своему изумлению увидели, что он вместо того, чтобы итти к воротам, дойдя до под'езда главного корпуса, неожиданно направился к дверям конторы и вошел в нее.

Прошел довольно значительный промежуток времени: минут около десяти. Но эти десять минут показались нам очень длинными. Мы уже начали

строить всяческие предположения, что Забрежнев узнан и арестован, как вдруг он столь же неожиданно вышел из под'езда конторы и медленной походкой направился к воротам. Одно мгновение нам показалось, что у ворот произошла какая-то заминка, но почти тотчас же мы увидели, как один из часовых, взяв под козырек, широко распахнул калитку, и Забрежнев нетоопливою походкой вышел из больничного двора.

Впоследствии часовые рассказывали, что неожиданное появление судейского чиновника на дворе тюремной больницы показалось им подозрительным, и они, вероятно, бы задержали его, если бы он не повернул в контору. Только длительное пребывание Забрежнева в конторе дало часовым уверенность, что они имеют дело с настоящим судебным следователем, пришедшим из пересыльной тюрьмы. Забрежнев, которого я увидел только через двенадцать лет, по приезде его из эмиграции, с своей стороны тоже рассказывал, что, приближаясь к воротам, он заметил слишком уж явно выраженное изумление на лицах часовых, и это заставило его зайти в контору. Само собой разумеется, что появление Забрежнева в конторе не могло внушить никаких подозрений, так как все присутствующие в конторе были твердо убеждены, что «судебный следователь» пожаловал в больницу обычным порядком.

Что же касается внешности Забрежнева, то сбритая борода, очки, форменная одежда — все это изменило его до неузнаваемости и дало ему возможность недурно разыграть роль судебного следователя, приехавшего в больницу допрашивать арестованных, которые якобы накануне были переведены из Таганской тюрьмы.

Арестованных этих, конечно, не оказалось, и, когда после десятиминутных поисков по всем регистраторам канцелярии это было выяснено, Забрежнев, проворчав что-то неодобрительно по поводу бестолковщины, заставившей его даром приехать в больницу, простился с администрацией и вышел из конторы.

Только к вечеру во время поверки обнаружилось, что Забрежнева нет в больнице. Суматоха поднялась колоссальная. Надзиратели искали его на протяжении всей ночи и на дворе и во всех помещениях тюремной больницы, и, конечно, безрезультатно.

И только через несколько дней тюремная администрация, тщетно искавшая разгадки таинственного исчезновения Забрежнева, вспомнила о судебном следователе, посетившем контору как раз в самый день побега.

Второй побег из Бутырской тюремной больницы был совершен месяца через четыре после первого, т.-е. в начале июня.

Побег этот и по своему замыслу и по технике выполнения был куда проще, но он был сопряжен и с большим риском для бегущего.

В особенности очень проста была здесь роль самого беглеца, которым в данном случае был товарищ Парфененко, привлекавшийся по делу всероссийского почтово-телеграфного союза, председателем которого он состоял. Его роль в побеге была строго пассивная. Активная же роль выпадала на долю одного из его товарищей.

Как раз в начале июня многих товарищей, привлекавшихся по делу о московском вооруженном восстании, стали выпускать до суда, под залог, на поруки их родственников.

Процедура выпуска под залог была относительно несложна. Обыкновенно родственники обвиняемого, бравшие его на поруки, вносили залоговую сумму в депозит судебной палаты, после чего судебная палата выдавала им ордер об освобождении обвиняемого. Ордер этот пред'являлся начальнику тюрьмы, и он тотчас же давал распоряжение об освобождении заключенного, значащегося в ордере.

Конечно, каждому заключенному, о котором хлопотали его родственники, уже за несколько дней было известно о скором освобождении, и все кандидаты на освобождение начинали готовиться к выходу.

Как это ни странно, но у большинства выходивших на волю товарищей подготовка эта отнимала довольно значительное количество времени. Дело в том, что за время пребывания в тюрьме у каждого заключенного накапливалось довольно много вещей. Попадая в тюрьму, в большинстве случаев неожиданно для себя, каждый из арестованных являлся туда с очень небольшим багажом. Обычными при этом вещами были: одеяло, подушка, две-три смены белья. Но если заключение затягивалось на долгий срок, то мало-по-малу вещей становилось значительно больше. Особенно много накапливалось книг. Я помню, что у некоторых товарищей в одиночках находилось иногда по два—три десятка книг. В описываемую эпоху тюремный надзор значительно ослаб по сравнению с эпохой предреволюционной, и если раньше заключенному не полагалось иметь в камере больше двух—трех книг, то в зиму 1905—1906 г.г. это правило не соблюдалось. Затем многие из товарищей попадали в тюрьму зимою, а уходили из нее летом, и благодаря этому в одиночках у них была одновременно и зимняя и летняя одежда. Далее, во время заключения прибавлялось носильного белья, появлялось белье постельное. Таким образом в результате у каждого заключенного при выходе его из тюрьмы оказывался довольно основательный багаж.

Я помню, как при мне выходил из тюремной больницы Жилинский, освобожденный под залог ранее других, и помню, как трудно было вначале запаковать все его имущество. Действительно, когда размеры последнего были приведены в полную известность, у него прямо опустились руки, так как вытащить все эти вещи, запакованные в пять громоздких и раз'езжавшихся тюков, одному человеку было не под силу. Вывел его из затруднения дежурный надзиратель, указавший, что весь этот скарб можно уложить в корзину, которую надзиратель этот тут же и вызвался купить. На наш недоуменный вопрос, допустит ли тюремная администрация покупку корзины, надзиратель сообщил, что подавляющее большинство арестованных всегда при выходе из тюрьмы покупают корзины, чтобы удобнее было вытащить вещи. При этом он указал, что тюремное начальство привыкло к этому, так как такой способ все время практикуется и успел уже войти в обиход тюремной жизни. Действительно, расспросив других надзирателей и кое-кого из товарищей, побывавших в Бутырках и до 1905 года, мы обнаружили, что у большинства

выходивших из тюрьмы происходили такие же затруднения с багажом и что все выходили из этих затруднений обычным способом: покупалась корзина, иногда даже очень солидных размеров, и в ней вытаскивался багаж уходившего на волю товарища.

Вот этот-то «обычный способ», все время практиковавшийся в Бутырках, и навел товарищей на мысль, что в корзине вместо багажа можно вынести кого-либо из заключенных.

Как раз в начале июня на волю должен был выходить один из обвиняемых по фидлеровскому делу, товарищ В. И. Пржиходский, выпускаемый судебной палатой под залог. И тут-то и было решено, что он попробует унести в корзине товарища Парфененко, которому, как обвинявшемуся по 100 и 102 статьям российского уголовного уложения, грозили каторжные работы. Вся предварительная организация побега была проведена в 2—3 дня. За день до выхода Пржиходского на волю был призван надзиратель Царьгородцев, и ему было поручено купить корзину елико возможно большую, так как у Пржиходского, мол, очень много вещей. Корзина была куплена, действительно, очень солидная по своей вместительности. В ночь, предшествующую побегу, была сделана репетиция. Прежде всего нужно было установить, насколько долго сможет Парфененко пролежать в закрытой корзине. Произведенный опыт показал, что пребывание в корзине около часу не грозит для него никакими серьезными последствиями, так как корзина была очень большая и воздуху в ней было относительно достаточно. Далее были предусмотрены некоторые случайности, которые смогли сорвать побег. В первую очередь обращал на себя внимание исключительно большой размер корзины, и было опасение, как бы тюремное начальство не пожелало перед самым выходом Пржиходского вскрыть корзину и осмотреть ее содержимое. Хотя прецедентов в этом отношении не было, но ни за что нельзя было поручиться. Поэтому товарищи решили устранить даже самую возможность подозрения и для этой цели прибегли к следующему приему. Минут за двадцать до выхода Пржиходского из тюремной больницы было приступлено к упаковке корзины. На дне корзины лег Парфененко, которого прикрыли не то простыней, не то одеялом, и сверху наложили некоторое количество белья. Создавалось таким образом впечатление, что корзина наполовину запакована. Затем по какому-то делу был вызван в камеру надзиратель, и дальнейшая упаковка корзины продолжалась уже при нем. Когда корзина была уже упакована и заперта на замок, Пржиходский обратился к надзирателю с вопросом, сможет ли тот вынести корзину. Была произведена проба, которая наглядным образом показала, что одному надзирателю с такой ношей не справиться. Решили поэтому прибегнуть к помощи еще одного надзирателя. Минут через десять Пржиходскому было сообщено, чтобы он с вещами шел в контору, где его уже ожидал приказ об освобождении.

Пржиходский быстро оделся, и через несколько минут состоялся «торжественный выход».

Впереди шел Пржиходский, за ним два надзирателя несли корзину с Парфененко, шествие замыкал старший надзиратель.

Было и жутко, и в то же время смешно, и на всех лицах заключенных отражались эти противоположные переживания.

А далее пошло все как по нотам, несмотря на то, что на пути встретилось одно обстоятельство, несколько усложнившее обстановку побега.

Дело в том, что ранее, и как раз вплоть до того дня, в который состоялся побег Парфененко, обычай в Бутырках был таков, что если освобождение заставало заключенного в тюремной больнице, то его освобождала непосредственно контора больницы. Но за день до побега был издан приказ, что выпуск заключенных на волю производится только через контору Бутырской тюрьмы.

Об этом приказе товарищи еще не успели узнать, и сам Пржиходский узнал о нем уже в конторе тюремной больницы. Обстоятельство это, однако, не оказало влияния на благополучный исход побега и только несколько усложнило самую процедуру выхода из тюрьмы. Корзина не менее торжественно была вынесена надзирателями из конторы тюремной больницы, затем она опять продефилировала мимо пятого барака и была внесена в дверь Бутырской тюрьмы, находившуюся против этого барака. Сопровождавшие корзину надзиратели тюремной больницы, получавшие всегда щедро «на-чаи», отнюдь не пожелали уступить ее надзирателям Бутырской тюрьмы.

Корзина была внесена в тюремную контору Бутырок и после десятиминутных формальностей была, наконец, вынесена за ворота тюрьмы и поставлена на извозчика.

Затем Пржиходский щедро расплатился с надзирателями и благополучно уехал.

Корзина была привезена им на квартиру товарища Печковского, где беглец и был, наконец, извлечен из нее.

Хватились Парфененко в больнице так же, как и Забрежнева, только при поверке, и опять, конечно, все поиски не привели ни к каким результатам. И снова тюремное начальство ломало себе голову, стараясь разрешить вопрос, каким же, наконец, образом был совершен второй побег.

После побега Парфененко режим в тюремной больнице изменился значительно к худшему. Вся прежняя администрация была раскассирована.

Начальник больницы был отстранен от должности, его помощник был куда-то переведен. Были уволены также старший надзиратель и несколько младших, и к осени в Бутырской тюремной больнице установились уже совершенно другие порядки.

III.

Бунт.

Когда месяца через полтора после побега Забрежнева я опять вернулся из больницы в Бутырскую тюрьму, я первое время был буквально ошеломлен теми порядками, которые я застал там. Никогда не приходилось мне видеть в тюрьмах таких порядков ни до этого времени, ни после.

Той тюремной дисциплины, того порядка, того размеренного уклада жизни, которые были столь характерны для прежней тюрьмы и которые на-

блюдались в Бутырках еще два-три месяца тому назад, теперь не было и в помине. Можно было даже сказать, что теперь вообще никакой дисциплины не было. Тюрьма просто утратила свои специфические, характерные особенности. Первое, что бросалось особенно в глаза, это было большое количество народа, толпившегося в коридорах, которые раньше всегда были пусты и безлюдны. Одиночки, оказывается, были совершенно отперты, и заключенные беспрепятственно дефилировали по всем четырем этажам одиночного корпуса. Надзиратели все были на своих местах, и стражи, пожалуй, в тюрьме было больше, чем прежде, так как помимо надзирателей в коридорах можно было видеть и жандармов конного полка в их бросавшихся в глаза синих с серебряными галунами мундирах. Но у всей этой стражи совершенно не было того напряженного, подтянутого и вызывающего вида, который наблюдался ранее. Напротив, здесь можно было отметить, что взаимные отношения заключенных и тюремщиков теперь носили необычайно мирный, можно даже сказать, дружественный характер. Видно было, что влияние революции, всколыхнувшей все слои населения тогдашней России, не миновало даже тех, которые по роду своей службы должны были бороться с революцией. И это особенно было заметно по тому интересу, который и надзиратели, и конвойные, и даже конные жандармы проявляли к текущим политическим событиям, к существовавшим в то время партийным группировкам, к предстоящим заседаниям Государственной Думы.

Само собой разумеется, что вся эта публика получала от арестованных исчерпывающие ответы на все их вопросы. Мало того: все они присутствовали во время споров и дебатов, происходивших между заключенными как в коридорах, так и в одиночках, в которых товарищи сидели теперь небольшими группами по два-три человека. Далее, в каждой одиночке газеты (этот запретный в тюрьме плод) лежали кипами, а многие из товарищей по прочтении тут же передавали их и надзирателям и жандармам, которые с жадностью прочитывали указанные им статьи. Но не только тюремная стража, но даже и высшая тюремная администрация искала теперь общества заключенных, у которых можно было получить об'яснения всех текущих событий. И, зайдя в одну из одиночек, я застал там необычайно «трогательную» картину. Двое товарищей сидели за столом и пили какао, а на кровати сидели один из заключенных и помощник начальника тюрьмы и, держа на коленях развернутую газету, о чем-то горячо между собою спорили.

Таких порядков никто из нас действительно в тюрьме никогда не видывал, хотя многие имели случай не раз побывать в этом почтенном учреждении. И на меня, человека свежего, только что пришедшего из тюремной больницы, все это производило весьма и весьма сильное впечатление.

Пожимая плечами и приходя все в большее изумление, я спустился в нижний этаж одиночного корпуса и беспрепятственно вышел на тюремный двор. Двор представлял собою картину тоже весьма необычную. Он был весь полон заключенными, которых было не менее полутораста человек. Некоторые из них, разбившись на кружки, оживленно между собою разговаривали, другие ходили небольшими группами вдоль двора туда и обратно,

а третьи, подойдя к окнам пересыльной тюрьмы, перекидывались отдельными фразами с сидевшими на подоконниках товарищами.

Тут же на дворе шла игра в лапту, в чехарду и т. д. Оживление везде царило небывалое. Во всех углах двора шли непрерывные разговоры как по поводу текущих событий, так и злободневных партийных вопросов. У некоторых товарищей была только что выпущенная свежая партийная литература, среди которой я увидел «Записки социал-демократа» Плеханова, брошюру Троцкого: «Господин Петр Струве в политике» и две только недавно выпущенные максималистские книжки теоретика максималистов Тагина. Первая из этих книг называлась «Принципы трудовой теории», вторая — «Ответ г. Виктору Чернову». У кое-кого из товарищей была также и нелегальная литература, которая теперь уже читалась вполне открыто. Подойдя далее к окнам пересыльной тюрьмы и перекинувшись кое с кем из товарищей отдельными отрывочными фразами, я узнал, что в пересыльной тюрьме господствуют те же порядки, что и в одиночном корпусе. Камеры пересылки были тоже все открыты, и публика все время ходила из одной камеры в другую.

Несмотря на то, что вначале тюрьма всякого новоприбывшего поражала тем хаосом, который царил в ее стенах, хаоса этого тем не менее при ближайшем, более внимательном рассмотрении не оказывалось. Напротив, здесь был установлен вполне определенный порядок, только поддержание этого порядка исходило от самих заключенных.

Еще зимою среди заключенных был организован институт старост. Вся Бутырская тюрьма возглавлялась центральным старостой. Далее, в каждом коридоре одиночного корпуса был свой коридорный староста, во всех камерах пересыльной тюрьмы были также старосты. И вся эта выбранная товарищеская администрация сносилась непосредственно с администрацией тюремной. В случае возникновения каких-либо конфликтов или недоразумений между заключенными и представителями служебного персонала тюрьмы заключенный обыкновенно обращался или к своему коридорному старосте или к центральному, и уж на обязанности старосты лежало выяснение спорных вопросов и улаживание тех или иных шероховатостей.

В конце апреля товарищам, привлекавшимся по делу о московском вооруженном восстании, были вручены обвинительные акты, после вручения которых были допущены к обвиняемым их защитники.

Я помню, что одним из первых, посетивших нас, адвокатов был В. А. Маклаков, тогда еще только что начинавший делать свою политическую карьеру. С первых же слов он заявил нам, что суда по нашему делу, вероятно, не будет, так как несомненно (для него, по крайней мере, никаких сомнений нет) в самом ближайшем будущем предполагается самая широкая амнистия.

К возражениям некоторых из товарищей, имевших на этот счет другие взгляды, Маклаков отнесся очень снисходительно, заявив, что по этому вопросу даже и споров никаких быть не может, так как у правительства Николая II иного выхода нет.

То же самое нам говорили и другие адвокаты, члены кадетской партии. И даже тогда нам, в то время юным студентам, было видно, насколько просчитались здесь в своих предположениях крупнейшие представители этой партии.

Действительно, последовавшая сессия Государственной Думы наглядным образом показала, что правительство Николая II ни о каких уступках даже и не помышляло.

Миновал май, а об амнистии не было ни слуху, ни духу. И, напротив, борьба стала принимать все более ожесточенный характер.

В июле вспыхнуло восстание в Свеаборге, затем в Кронштадте, а спустя некоторое время была разогнана Первая Дума и началась оргия карательных экспедиций в Прибалтийском крае. Реакция наступала уже по всему фронту, и это наступление, конечно, не могло не отразиться на тех порядках, которые установились в Бутырках за последние месяцы.

Во всяком случае приехавший неожиданно в Бутырскую тюрьму главный тюремный инспектор нашел, что там царят порядки недопустимые.

И перед тюремной администрацией круто был поставлен вопрос о немедленной ликвидации этих порядков.

Помимо главного тюремного инспектора нажим в этом отношении был сделан также градоначальством и прокуратурой. К этому примешались также и некоторые трения и конфликты, которые стали чаще возникать между заключенными, начинавшими проявлять повышенную нервозность, и тюремным начальством, стремившимся даже и без нажима со стороны высших властей перевести тюрьму как можно скорее на прежнее положение.

Так или иначе, но в один прекрасный день Бутырское тюремное начальство заявило о своем твердом намерении вернуться к прежним порядкам.

Само собой разумеется, что одно это заявление встретило самый решительный протест со стороны заключенных.

А когда на следующий день одиночники не были выпущены из своих камер, в тюрьме началась обструкция, которая перешла в самый настоящий бунт. Сразу загудели двери всех одиночек, послышался звон разбиваемых стекол, и в несколько минут все рамы одиночного корпуса во всех четырех этажах были перебиты вдребезги. Далее такой же участи подверглась вся тюремная обстановка. Столы, табуретки, параши, все это было переломано, перебито, перековеркано. Гул, звон и треск пошли по всей тюрьме. Уговоры и увещания тюремного начальства не привели ни к каким результатам. И тогда после кратковременных телефонных переговоров между тюремной администрацией и градоначальством в дело была пущена военная сила.

Но тут-то как раз и выявились результаты двух месяцев «тюремных свобод». Дело в том, что за эти два месяца между заключенными и тюремной стражей установились очень дружественные отношения. Ведь и надзиратели и жандармы все время в течение этих двух месяцев находились под непрерывным действием самой интенсивной пропаганды. Ведь все время они были невольными свидетелями и слушателями всех тех бесконечных дебатов, которые велись заключенными по различным вопросам. Далее, все время их

пичкали и газетами и всякой литературой, как легальной, так и нелегальной. Большинство из них было крестьянами. Все они очень интересовались и общим политическим положением, и в особенности аграрным вопросом.

Так или иначе, но результаты этой пропаганды выявились сразу, так как и конвойная команда и конные жандармы, когда был поставлен вопрос об усмирении заключенных силою оружия, стали обнаруживать колебания. Некоторые из товарищей даже говорили, что конные жандармы будто бы даже категорически отказались принять участие в усмирении. Сведения эти потом частично подтверждались также и надзирателями. Во всяком случае, как факт можно здесь установить, что и конвойная команда и конные жандармы были немедленно удалены из тюрьмы, как войска ненадежные, и в тюрьму были введены две роты Перновского полка под начальством капитана Дзенконского.

Появление в коридорах перновцев было встречено еще большим шумом, треском и свистом. И тут-то и началось усмирение.

Некоторые товарищи, сидевшие в первых этажах одиночного корпуса, слышали голос капитана Дзенконского, который кричал: «Бейте, стреляйте их, мерзавцев».

Другие передавали, что усмирение начал сам Дзенконский, открывший форточку одной из одиночек и собственноручно застреливший из нагана одного из товарищей.

Этот выстрел и подал сигнал к общему массовому расстрелу заключенных. Быстро «забахали» во всех коридорах выстрелы из винтовок, покрывшие собою тот гул, который производили своим стуком заключенные. Порядок усмирения был таков. К каждой одиночке подбегали солдаты, ими открывалась дверная форточка, вставлялось дуло винтовки, и производилось где два, где три выстрела. Если в момент открытия форточки заключенный находился около двери или вообще против форточки, то пули попадали в него, и заключенный падал убитым или раненым. Если же заключенному удавалось стать таким образом, чтобы очутиться вне действия выстрелов, то для такого товарища дело кончалось благополучно, так как солдаты, произведя два, три выстрела, тотчас же закрывали форточку и затем бежали к следующей двери. В результате же усмирения получилось большое количество убитых, еще большее количество раненых, и таким образом был установлен желательный начальству порядок. Среди убитых товарищей особенно выделялся рабочий Михайлов — натура недюжинная, с большими способностями и решительным энергичным характером. Подлинный сын рабочего класса.

На расстрел в Бутырской тюрьме эсеры ответили террористическим актом. Месяца через полтора после расстрела в Бутырках, в районе Новинского бульвара тремя выстрелами из браунинга был убит капитан Дзенконский, застреленный рабочим Гавриилом Александровым, который два месяца спустя был повешен по делу о неудачном покушении на московского градоначальника Рейнбота.

Убийство Дзенконского, несмотря на упорное расследование, кажется, так и не было раскрыто судебными властями

Но, конечно, убийство это совершенно не оказало никакого влияния на тюремные порядки, которые после усмирения стали непрерывно ухудшаться. И когда начальником Бутырской тюрьмы был назначен капитан Багрецов, бывший во время расстрела одним из помощников начальника (тот самый капитан Багрецов, в которого тоже стреляли, но не совсем удачно), то тюремный режим в Бутырках сделался куда хуже режима предреволюционного. Форточки были наглухо заперты, сношениям между заключенными ставились всевозможные препятствия, свидания с родственниками допускались только раз в неделю, передача продуктов подвергалась самому придирчивому контролю, и даже библиотека несколько пострадала, поскольку в ней были произведены некоторые опустошения. А когда, приблизительно через год, в ноябре 1907 года мне пришлось по дороге в ссылку вновь посетить Бутырскую пересыльную тюрьму, то порядки, господствовавшие в ней, можно уже было назвать вполне каторжными. Реакция в то время уже неистовствовала во-всю, шла усиленная ликвидация последних, уцелевших с 1905 года очагов революции, и, конечно, общее политическое положение должно было неизбежно отразиться на быте всех российских тюрем в смысле значительного ухудшения тюремного режима. Да, сверх того, в Бутырской тюрьме спустя некоторое время было выстроено каторжное отделение для политических, которых уже перестали посылать в Сибирь, и порядки этого каторжного отделения мало-по-малу распространились и на всю остальную тюрьму, как одиночную, так и пересыльную.

Маленький двухэтажный домик.

(Листки из дневника).

Борис Зильперт.

Переступил порог моей судьбы, надолго или навсегда...

Все народы о судьбе имеют свои легенды: итальянский гондольер рассказал мне, как древний рыцарь выехал со свитой из ворот замка искать судьбу, у ворот стояла закутанная фигура, он ее небрежно оттолкнул.

Судьбы он не нашел, потому что эта фигура была его судьба.

Еврею надоело возиться с судьбой и он начал ею торговать; покупал, продавал, менял, закладывал, в рост отдавал; кончилось тем, что ему не вернули ни денег, ни судьбы. И вот мотается бедный по трюмам Пильняковских пароходов.

А китаец-рикша из Фуд-зя-дяна (предместье Харбина) считает, что хорошая судьба — это горсточка риса и только четыре удара в день по спине толстой американской подошвой ездока с сигарой, а плохая судьба — это 25 бамбуков за «несоблюдение правил езды» и окровавленное лицо, без риса.

Итак, маленький двухэтажный домик, очень напоминающий барскую дачу Орловской или Рязанской губернии.

Попал я в стан «оппозиционеров» стабилизованной мировой логики. Расхождение с внешним миром не только в вопросах кулака, середняка и строительства социализма на острове, окруженном кипящей слюной ненависти, но несравненно более глубокие разногласия.

Например, юноша Г. ходит странно выгнутый не спроста: он об'ясняет убедительно и популярно — два раза два 6, а не 4. Основы культуры, техники, жизни ошибочны на одну треть, а потому все криво, не устойчиво. Вот почему он выгнут по верной линии. «Не смотрите на меня, — сказал он, — что внешне я как бы шатаюсь, это Вас обманывает привычка, внутренне я крепче, я вернее, математическая истина».

Порывистый Б. играет как бы на не существующей струне. Удивлен. Спрашиваю. Оказывается: 5-я струна самая чуткая и музыкальная, она передает ритм и ощущение нового свободного человека. Остальные 4 — дряхлы, избиты, «капиталистический гнойник». А что касается самой нужной, пятой, то пока еще нет декрета привинтить ее к скрипке. Б. не понимает, почему медлит Совнарком, без пятой струны музыка не удовлетворит нового человека.

Здесь мыслят конспектами новых теорий, тезисы пишутся по новой форме (не литера «А», как значится на многих трафаретках многих учреждений). Жаль, что сюда не подается требуемый подсобный материал. Я бы рекомендовал лишить многих завов вовсе не нужных им секретарей и прислать их сюда. Если бы только материал и секретаря отсюда, вышло бы много новых, сложных и замечательных теорий.

Об этом домике, людях мне придется еще много писать, сегодня кончаю.

Засыпаю с тремя неразрешенными вопросами: во-первых, почему улица, ведущая сюда, называется «Эльдорадовская»? Почему вздорожал Моссельпромовский шоколад? (Как дела с червонцем?) И какое место я займу в этом «мире»?

Не могу заснуть. Многие первые ночи бессонны; будь это первая ночь любви, где попадаешь в об'ятия перин и тела, первая ночь тюрьмы — в об'ятия вшей и железной когорты перегарных преступлений. Первая ночь среди безумцев, выражаясь стилем Маяковского, «тоже доложу вам — ночка».

С верхнего этажа несутся звуки Шопеновского ноктюрна, преломленные через шизофрению.

Запах тяжелый. Сестры стерегут. С левой стороны одна уже уснула. Кропоткин сказал: «если есть что-нибудь невозможное на свете — так это бежать из Петропавловских казематов». Я скажу: «если есть что-либо легкое — так это бежать из этого двухэтажного домика». Такая уверенность ободряет.

Буду ждать с исключительным нетерпением будущих недель, месяцев, а может быть и лет.

Они руководят нашим временем и жизнью.

Он — начальник и психиатр. Маленький, весь в движении, как пульс мятущейся под обстрелом лошади. Вместо глаз — глубокие норы, где танкообразно передвигаются фосфорящиеся кроты. Брови и ресницы по обилию своему могут смело украсить с избытком плешь Чемберлена. Весь он с зимней шапкой, с психоанализом, наукой и опытом не выше двух аршин. Говорит он быстро (как будто щелкает белка орешки), быстро, быстро глотая зерна, т.-е. концы или, вернее, смысл слов. Психиатры должны быть дипломатами, но это не значит, что каждый больной должен сразу почуять их лукавство и хитрость.

Его жена, крупная женщина с лицом, слегка испуганным, с другой стороны «готовая к услугам», а центр прорезывает линия осторожности. У нее все колоссально — как спереди, так и сзади, у нее масса ключей (неужели и от правильного мышления?), она ходит твердой поступью и умеет ценить свое положение. Меня интересует вопрос, как она смотрит на нас, только ли как на производство? (источник дохода).

Сын тоже психиатр. Любит бега и пирожные, его лысина и лоб напоминают мессинский лимон, крупный, или, как торговцы его называют, «самец-лимон». Глаза его — фальшивки, которыми легко надувают аферисты всех

наций котиковых дам с Петровки. Я бы этого сына рекомендовал лейб-врачем «красных дерби», приводить в чувство обморочных дам.

Надзирательствует женщина с седыми прекрасными волосами, напоминающими арабскую поговорку: «Седина — коронованная краса, только не продолжительная». Глаза холодные, как у Ангары, недалеко от Иннокентиевского монастыря, где она страстно сговаривается с жутью Байкала о едином фронте суровой замкнутости. Руки у нее были когда-то очень красивы, — их, вероятно, много целовали. Теперь эти руки приспособились к быстрому короткому замыканию смирительной рубашки. Теперь ей вообще безразлично, что делать.

Наши сестры—премилейший народ, одна из них по-моему достойна кисти художника. Она чутка, нежна и ласкова, вместе с тем строго деловита. Как видно, она много работает над собой, чтобы быть более чуткой, более умелой.

Остальная прислуга еще не ликвидировала свою безграмотность, а безграмотных людей труднее узнать, чем грамотных, как говорит мой друг Россель. «Вся энергия, которая у нас уходит на чтение книг и писание, у них уходит в глубь хотя и мало извилистого мозга». Эти слова он всегда подтверждает примером: «В Шанхае жил у англичан китайский бой, примерно и преданно служил 20 лет, стал членом (на нашем языке, потомственным рабом) семьи бритта и вдруг в одну ночь всех перерезал». Отомстил так сказать за безграмотность. Безграмотные люди всегда таят в себе кусочек от ножа или колдуна. Надо скорее ликвидировать безграмотность, тов. Калинин.

Когда вы окружены упорными взглядами со всех сторон, тогда вы умудряетесь смягчить свой взгляд или вернее на глаза набрасываете «тогу». Я затаился, мне это удается.

Сегодня был на верхнем этаже, там уютная семейная обстановка с ученицей школы II ступени, она привыкла к блуждающим людям. Она только замечает их тени, кроме одного, с которым она охотно беседует. Он нервно перебегает из угла в угол, он выбрасывает героическую быль свою целыми пачками событий; у него косые глаза и неприятные морщинки у углов рта; он, вероятно, умеет симулировать ограбление казенных денег, а потом в третьеразрядном ресторанчике будет изощряться с дешевой проституткой. Он по моему скорее неприятный здоровяк, чем жалкий больной.

Девушка Э. Когда-то была по всей вероятности очень красивой и пользовалась успехом (какая отжившая фраза), владеет языками, корректна и по звериному скрытна. Когда к ней приходит ее мать, старомодная болтливая еврейка, ее глаза заостряются, как режущий хрусталик. Зато она нервно ожидает прихода своего брата, бросается к нему и доверяет ему тайну о том, что у нее под полом в комнате целая фабрика удушливых газов. (Не Веджвуда ли отголоски?)

Фабрика работает только в одну смену — ночью, а Э. является об'ектом экспериментов химизобретателей. Ночью у каждого окна стоит почетный караул, а в два часа раздается гонг, смена приступает к заготовке смертоносной пищи. Брат слушает рассеянно, жутко молчит, слушает только потому,

что ему придется все слово в слово передать психиатру, понятно, под строжайшим секретом, чтобы больная не знала. Такие секреты у нас здесь на каждом шагу: родственник по секрету говорит с врачем, врач по секрету с больным, больной по секрету с сожителем, сожитель или сожительница с надзирательницей, та все врачу и так далее.

Оригинальная старушка является моей соседкой. Ей надлежит разрешить четыре проблемы, после этого она будет способна вновь выйти в «свет».

Первое — был ли обрезан Христос, второе — почему старец Амвросий из Оптинского скита уехал умирать из своей хибарки в Шамардинский женский монастырь, третье — разработка типа антихриста (понятно, не в зарисовке Мережковского), а четвертое — взаимоотношения папы римского с Михаилом Архангелом. Эта старушка образованна, как библиотекарь Стемфордского университета, показавший мне однажды такой каталог прочитанных им книг, от которых мой мозг поседел.

С нею говорить приятно, у нее более веские аргументы, чем у «древнего апостола» Введенского, когда он на рапирах дерется с товарищем Луначарским.

Она знает порядок и сроки всех месс Ватиканской капеллы. Она собственногубно целовала 14 раз драгоценный перстень на пальце Святого Петра, одеваемый лишь раз в году (29 июня). Кроме того, эта оригинальная чудачка знала, как любят 8 отцов церкви. Впрочем, вчера она мне сообщила новость: новейшая мода Парижа — это черный маникюр и зеленый педикюр, а вопрос губ пока остался открытым. Чувствую, что мы сдружимся, ей 68, мне — 34. Вот тебе и раздвоение! Проклятая шизофрения [1]).

Мне разрешили читать газеты и журналы. Мысли здоровых людей, инструктаж строительства и борьбы буду смешивать с своеобразием моих соседей. От такого обмена веществ может получиться что-нибудь интересное.

Больше всего нас раздражают посетители, родственники, друзья — потусторонние. Зачем они сюда приходят и что делают? Какие они хмурые и скучные. Я не завидую нашим визитерам. Нам лучше; а когда они уходят, видишь из окна — бегут как от падали.

В Париже на улице Руж, говорят, есть домик, где престарелый Ренд в тысячный раз комбинирует элементы иприта, чтобы получить новейший блеск смерти (не луч — это старо). Тогда он его назовет своим именем «Рендид». В Лос-Анжелосе на берегу бухты, где так много пальм, а через километр апельсиновые рощи, сидит Кельмон и стругает свои фиолетовые лучи, чтобы они были гибки до уменья залезть в гортань танка и дирижабля, парализуя их энергию на расстоянии 25 километров.

В Сардинии до сих пор еще сидит гравер Арнетти и заканчивает на маленьком кольце того рыцаря, который должен защитить женщину от гнева божьего. Он работает над кольцом 18 лет, я с ним беседовал еще до войны и революции об этом кольце, он был полон экстаза и веры в своего рыцаря.

---

[1]) Раздвоение личности

Великий мастер проспал эпоху «черных блуз» и их фильтрацию коммерческим банком, их новую присягу собственникам лиры, проспал отдел работниц и крестьянок при ЦК ВКП, проспал чадру, которую изорвала в Стамбуле на глазах многотысячной исламтолпы прекрасная Ля-ти-фэ. Жалкий гигант Арнетти! Женщина защищена без твоего рыцаря сельсоветом и новым законом об алиментах. Что касается бога, то решили подавляющим большинством голосов на одной шестой части территории мира, что его нет и никогда не было.

Это не он обидел твою любимую, а толстяк — хозяин Фаринечи, уплатив ей за это 55 лир (большие деньги для довоенной эпохи), так что твой рыцарь теперь никому не нужен. Придется продать коллекционеру Митчелю из Бостона, но разве он оплатит твой гений?

Я отклонился немного — а у нас в маленьком домике тоже вырабатывают схемы, новые теории неотносительности, жаль, что мы разрознены, надо работать коллективно, возьмусь об'единить. Мы организуем ячейку, мы двинем наши мысли в мир, мы будем вам давать зарядку, остов, хребет, а черную работу, отделку вы произведете, на то у вас есть рабочая сила, научные секретари, спецы по разработке сырья, машины и даже Госплан.

«Если вы будете так много читать, мы вас этого лишим». «Вы не так жестоки, милый доктор, сказал я ему» — но он уже убежал, ведь ему не важно, что мы говорим, — важно только то, что он говорит. Придется повоевать с этим упорным старичком. Средства не важны — важна цель.

Когда у Кира Персидского спросили: «где искать красоту», он ответил: «В моем лагере прокаженных человек со сгнившими глазами вам укажет на самое красивое». Я это вспомнил сегодня, когда мой сожитель, художник С., показал мне набросок своего Ленина. Сложенные кирпичи кремлевской стены, гигантская фигура Ленина тоже из кирпичей, он подымает Кремль над миром, наверху маяк, а сзади костляво-уродливые ручища смерти из великой головы Ленина, из затылка вынимают кирпичик за кирпичиком и зияющие, страшные, четырехугольные дыры в мозгу Ленина приводят в жуть. Эта картина — самый страшный человеческий протест против смерти Ленина.

Девушка Э. перестала есть, она еле двигается и все обнюхивает кругом, газы мерещатся. Так, вероятно, вынюхивают агенты мировых военных департаментов новые изобретения в области удушливых газов. Страшно видеть, как человеческий мозг протестует против цивилизации. Во время империалистической войны, при обстреле Вердена, упало какое-то дерево с гнездом. В гнезде оказалась живая птичка; зоолог Фиено сказал, что во время войны много птиц умирали одиноко в своих гнездах и не спасались, не улетали, как бы в знак протеста. Девушка Э. мне напоминает эту птичку. Героические эпохи всегда полны такими «птичками». Переварить 1914—1924 не каждый мозг сумел.

Рабочий В., ответственный работник, тоже не выдержал. Был закаленным бойцом, но сколько можно выдержать свет сильнейшего прожектора? Пролить кровь во время боя, когда кругом сама природа гранатна, на это

способны сотни тысяч. Но увеличивать пуговичную продукцию со дня на день — труднее. Герой Казани и Уральска не выдержал дирекции на небольшом заводе пуговиц, простых брючных пуговиц, запутался; теперь ходит и все считает дюжины и гроссы, подводит итоги, изучает законы построения балансов, все его разговоры кружатся вокруг мировой пуговичной конкуренции.

«Надо изучить рынок, а затем уже нетрудно победить», все время говорит В. Да, много ярких, как ты, падут, пока мы изучим рынок, но ничего не поделаешь. Когда ломают эпоху, то каждая старая пуговица, как вампир, поглощает жертву, но это неважно, победа за нами.

Наумчик в бухарской шапченке всех веселит, хотя вся жизнь его была невеселая. В нищенские лохмотья литовского гетто его мать Бейла пеленала. Она торговала дегтем, ее дневной оборот не превышал, даже в дни ярмарок, 50 коп., потом подмастерье в синяках у фанатика сапожника Меера, затем демонстрация, участник, суд, каторга. Побои, насилия вместе с учебой и закалом. Октябрь — Иркутск, пом. комиссара тюрьмы, бунт, Лезбин убит, голова Наумчика продырявлена. Зажило. Чехи у Нижне-Удинска: пуля в руку, у реки Белой в ногу. Разоружал анархиста Пережогина в Благовещенске, контужен. Зажило. Партизан тайги. Победа у Омска. Начальник. Заведывающий. Редактор. Секретарь. Директор. А пули внутри сверлят, припадки эпилепсии. «На фронте не отдыхают, а только погибают», и какой веселый; поет, со всеми на ты. «Поскорее бы выйти, работа в управлении дороги ждет». Но главный врач знает — этот уже не выйдет. Ночью он бредит, — ласкается к матери, впивая горький запах ее жизни и дегтя.

Труднее всего писать дневник. Звенья дней соединяются глубоко скрытно в артериях, а наверху кожица дат и разрозненных мыслей, с трудом улавливаешь позвоночник.

Мы пресыщены впечатлениями, редкими в истории человечества. Теперь понос. Организовать никак невозможно. Нам нужен тот, который обязательно все это свяжет «крепкими сваями».

Пока пишутся дневники в разнообразнейших формах, начиная с замечательной книжечки Тайча «Хроникбух» и кончая «Барсуками» Леонова.

Пока дневники — получеловеческие, полускелетные документы. Настоящих художников и творцов не так быстро найдешь даже в «Вызовах на беспризорных».

Остроумнейший и искреннейший философ Дель-Кастильо строил свой мир или мирок (называйте как хотите) на принципе контрастов. Мой сожитель, врач К., оригинальный псих (мы называем друг друга «психами», а девушка Э. — наш «обер-псих», без жаргона иногда трудно сговориться).

К. не прекратил гражданской войны, не признает передышки, продолжает войну с империалистами и бело-бандитами. Может, он и прав. Не могут ведь все быть такими дипломатами, как Чичерин. Ночью К. часто вдруг просыпается, ищет бинты, марлю, в свой походный ранец заталкивает тряпье

(а ведь заменяло оно на войне бинты и марлю), перескакивает через мою кровать и осторожно бежит на фронтовый участок, поближе к огню. Или гримируется, натягивает вместо погон какие-то веревочки и ползет — это он отправляется в лагерь белых на разведку.

К. рассказывает: «Отступали мы ненастной осенью. Кругом трупы лошадей, пушек, людей. Все это каждым новым отрядом затаптывается глубже в грязь. Силы слабеют. Прикурнул на пне. Вижу сон: широкая дорога, чистая, гладкая, залитая ярчайшим солнцем, куски солнца зацеловали глаза, потом дальше в душу, все просветлело... Очнулся от терпкой жидкости вокруг глаз, кровь струилась из какой-то части тела товарища, упавшего рядом со мной. Архитектор Жюльни говорит, что сила стропил в контрастах»...

За завтраком разгорелись прения вокруг Барбюса. Некоторые говорят, что он больше из «Лиги прав человека», чем из ФКП. Девушка Э. считает, что разница между этими организациями только временная и все расхождения только в вопросах «дисциплины» для своих членов. Рабочий В. волнуется, кричит: «использовать их необходимо, а потом сами испугаются канонады, устанут и отстанут, знаю по опыту». Я предложил отложить прения до первых баррикадных боев в Париже. Итак, вопрос остался открытым. Кажется, за разрешение его взялся талантливый Поль Моран, — посмотрим, что выйдет. У Морана всегда неожиданные концы.

Самый страшный из всех — это наш Л. Он выдвигает проблемы. Жутью отдает от его слов, каждое из которых — переживанье.

Ему кажется, что в него вошли двое: рабочий и крестьянин, напирают с обеих сторон, пожатие их рук легло на его сердце и перегруженный мозг давит. Он с ними беседует: «разберите меня по частям, дайте раствориться в вас». Иногда припадки циклотемии. «Я гигант, великан, почтенное место мне в исторической карете, иначе вам грозит гибель. Видите: леса и сетки, на которые забралась целая страна, открывая новый строительный сезон веков, шатаются. Эх, вы, хамы! — без науки и техники!..».

Забавный А. Музейный работник. Попал сюда прямо с антропософского «радения». Разветвление Арбата, Малый Кисловский, под руководством летающего котика или Котика Летаева (с трудом разбираюсь в их стиле). Тайный пароль Дзер-Рудз-Рыбри (начальные буквы деятелей революции — Дзержинского, Рудзутака, Рыкова, половинка от Бриана пришпилена для большей международной авторитетности). От революции взята основа в лице буквы «р». Связь с Атлантидой постоянная, послы от земли Хоггаров живут в одном общежитии на Пречистенке. А. не дождался последнего прыжка и запутался в трех соснах (РРРодина, РРРоссия, РРРеволюция).

Впрочем, талантливый международный шарлатан Конан-Дойль, по поручению банковских ассоциаций Парижа и Лондона, открыл недавно Международный с'езд спиритов.

Присутствовали делегаты от 5 милл. духов, пока, к сожалению, на нашей земле занимающиеся паразитизмом. Интеллигенция музеев и архивов течет туда гнойным разливом.

Скульптор Ф. лепит наших обитателей. Хочет сделать группу. Назовет «Щель между двумя полюсами». Щель становится все ўже, между — нет, или, или... Мозг щели просит помощи!

Характерная мелочь: недавно на углу Поварской видел нищего старика с большой бородой в синих очках. Он просит не «именем Христа», а во имя коммунизма, равенства, братства. Даже нищий почуял эпоху.

Странно, почему я не подумал, зачем меня поселили сюда, что я здесь делаю и какую графу заполняю в этом жутком паноптикуме; а может еще пусто. Месячный стаж — испытательный, как во всех приличных учреждениях, состоящих на госбюджете. Мне безразлично. Вспоминаю беседу с поэтом Венедиктом, он мне как-то раз сказал, что, когда у него нет работы, он идет в психиатричку, уверяет профессора, что на него надвигаются толпы быков и зверей, а когда дежурный врач — татарка, с глазами как точки пустыни — спрашивает: «а мыши или другие мелкие звери?», он замахивает руками с криком — «их тысячи, миллионы, беленькие как в Сибири, также английской породы шотландка». Его помещают, месяц подкормится и «вылечивается». Но здесь жутко, щупаю мою голову, проверяю мои мысли, кажется логически с начала до конца: пробую наизусть Овидия, части моей гавайской баллады, итальянские стихи Кастеса, которые я любил до последних лет, перевожу в мозгу с немецкого «Капитал» Маркса и пишу японскую поэму о злом боге Тайфуна Сусаноо-Микото.

Где заноза? Как теперь в украинском театре Гамлета национализируют: «чи буть, чи ни буть, о це заковыка», где заковыка? Завтра будет профессор К. прощупывать меня своими глазами на подобие рентгеновского луча, будет бегать зрачками по нервам и искать занозу, заковыку.

Психиатрия еще темная область; когда-то я заперся в Берклейском университете с доктором Ливай, и мы месяц не выходя штудировали тайны мозга. Буду говорить с профессором как маленький спец, во всяком случае терминологией, как водится в таких случаях, он меня не возьмет.

Партия, и я вне партии. Этот вопрос иногда прокалывает мой мозг больнее, чем палочки Коха, легкие в третьей стадии. В 16 году написал пьесу «Поверни штык» (до Циммервальда), американское правительство запретило к постановке. В 17 году выезжаю в революцию. Транзитная страна задерживает как большевика. Ноябрь 1917. Работаю в окраинном совете, член ревкома, комиссар печати, нелегальная работа во главе тройки, военно-революционный трибунал, затем партизанщина в далеких тайгах. Нелегальная жизнь в отдаленном порту; у меня парт'явка, связь с партизанами, затем ответственные посты. Их много, смешно сказать «доверие оправдано», когда это дело твоей жизни. Опаснейшая работа рекомендует больше, чем парт-

билет. Потом, когда стало тише, когда начали работать пуговицы, чтобы застегивать концы с концами, потребовался партбилет. Все время я о нем не думал. Я пришел и сказал: «примите, ваш и с вами давно», но этого было мало. У меня «происхождение» (от совокупления мелкого купца с мелкой купчихой)...

Я знаю, что много, очень много из интеллигенции (не боюсь этого слова) живут и дышат партией, болеют партболями, парттревогами, гордятся партпобедами, но по уставу они вне. Не пора ли подумать об этом? Что-то надо сделать с этим преданнейшим, нужным, культурным человеческим материалом, надо эту многочисленную группу приобщить к родникам сегодняшней жизни. Советская работа вне партии тоже нечто очень большое, но это еще не то, это живое вращение вокруг оси, но в самую ось... Там, где энергия и сила — творческая, яркая, многоцветная. С партболью, но без партбилета тяжело. Многим это будет непонятно.

Сегодня у нас большое событие. Девушка Э. разбила дюжину тарелок, а еще три женщины устроили истерику, целую ночь возились. Кого-то будут завтра искусственно питать, отвратительная картина.

Сегодняшний вечер провел со старухой, долго беседовали о Риме, она великолепно знакома с историей древнего Рима и с католицизмом.

Но с какой быстротой индустриальный Милан вытесняет гондольерскую Венецию. Впрочем, американский доллар зажимает Милан, пожалуй, не хуже, чем Берлин и Лейпциг. Если стабилизироваться, — это значит стоя выслушивать долларский гимн «Май каунтри», то вся Италия, Франция и Германия стоят строго на ногах, как оштрафованный солдат под ружьем в казармах Алжира и Конго. От такой стоянки ноги побаливают, вернее, отнимаются, а пульс? Он равен тошноте и рвоте голодного желудка.

Ночью я проснулся. Вижу, художник С. стоит на кровати и произносит речь: «Об'являю заседание Парижского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов открытым». Он делает прекрасный анализ положения Франции, наизусть читает баланс «Комитэ-де-Форж» синдиката, сосредоточившего в своих руках почти 90 процентов французской металлургической промышленности, затем он открывает секцию искусства при Парижском Совете и с криком «ура» соскакивает с кровати. Какой восторг, какой экстаз в глазах!

Утром бледная, как тень, девушка Э. тихо шепчет мне: «Не за себя боюсь, а чтобы газы не задавили наши завоевания, нашу свободу, я хочу написать статью о противогазах, подымем страну на защиту революции». Нет, милая, я и ты уже ее не подымем, но вся она — поднятая целина и сумеет защитить себя.

Кто поставил вопрос — с кем интеллигенция?!

Наумчик сегодня рассказал мне, как убитый недалеко от Хабаровска калмыковскими казаками китаец-красногвардеец просил перед смертью передать Ленину, что он, Ли-Ху-Чжан из Чифу, умер, как большевик — гордо и счастливо. Как товарища Халфина разрезали унгерновцы на несколько

десятков частей, а он с отрубленными конечностями лепетал: «Месть палачам». Наумчик любит говорить о матери; она была длинной, сухой, тощей еврейкой, платила городовому гривенник в неделю и очень уважала трех человек—рабби Ицхок Элхонона, банкира Бунимовича и сапожника Меера — их соседа, более великих, знатных и интересных людей она не знала. Наумчик часто забивается в угол, тогда главврач говорит: «нельзя его трогать».

Новая больная — жена нэпмана. Ей здесь будет так же скверно, как ему при выборах в Моссовет. Она в прекрасном халате и с тупыми глазами. Какой чужой человек какой раскрошенный вдребезги класс, какое лишнее существо!

Сегодня меня посетил профессор. Его лицо страшно похоже на лицо шоффера, бритта, которых теперь выписала французская автомобильная компания Ситроен в Сахару. Эта компания устанавливает рейсы по пустыне до Тимбукту. Пусть, мол, мелюзга забавляется в Ницце, Монако и Венеции, мы вам доставим ощущения туриста, прорезывающего Сахару. Мчимся по следам тигров, пантер, гиен; звук автомобильного рожка заслушает рев диких зверей. Ведем мы весьма откровенный разговор о грани ума и безумия с разницей в том, что для него это тяжелая практика, а для меня — спорт. Впрочем, будь у меня виски — я бы его угостил, он вероятно любит виски, и тогда мы можем поменяться ролями. Я разговариваю парадоксами, он азбучными истинами. Он скучен, трафаретен и неинтересен. Мне кажется, что так же осторожно и разведывательно участковый врач разговаривает со стрелочником, который у последнего мига остановил крушение поезда и, пережив спасение сотен, сам запутался в мозговых семафорах. Один из наших обитателей вчера целый день что-то писал, вышло письмо, нацарапанное селькоровским стилем. Впрочем, почему не обзавестись безумкорами, они бы писали интересные письма. Я где-то читал, что в Париже, в центральной психиатро-лечебнице больные издают свою газету, и что из этой газеты была украдена мысль о структуре подводной лодки нового типа. Надо непременно поднять кампанию за стенную газету в нашем «общежитии». Сегодня жена врача вышла с опухшими глазами, — неужели и она когда-нибудь плачет?

Жена нэпмана говорила вчера о семье, она выразила такую мысль, что сегодняшняя семья напоминает предвесенний снег, тусклый, бледный, весь в дырах и заплатах, вечерком иногда вновь покроется пушком, но надолго ли? Вообще боится солнца, а какая ценность тех предметов, вещей и понятий, которые боятся солнца?! К жене нэпмана пришла в гости малюсенькая дочурка, я давно не видел цветов, не думал о них, при виде ее затосковал... Беседовал с нею о книгах, игрушках и шоколаде. Спросил ее, кто ведет поезд, трамвай и автомобиль, она верно ответила — машинист, вагоновожатый, шоффер. Потом вдруг этот пятилетний человечек спросил у меня: «А кто вел и ведет трудящихся к победе?». Я как-то запнулся, она отчеканила: «Ленин», а после его смерти «ленинизм»...

Мать просветлела, я за неделю не видел ее улыбающейся; кто знает, может в ее душе, в этой малюсенькой душе, в уцелевшем от котиковой шубы и компанионов мужа уголке, тоже сверлит искорка. Один иностранец описывает СССР, как страну героизма, трагизма, противоречий и солнца. В трамвае рассказывал милиционер, что к нему в участок привезли буйного пьяного инвалида, его никак нельзя было успокоить, пока ему не сказали: «как тебе не стыдно, вот на тебя смотрит Ильич», инвалид поднял голову на портрет Ильича, упал на колени, зарыдал и замолк. Я слышал от одного следователя, как какой-то убийца упорно отрицал свою вину. Клялся богом, матерью, детьми. Когда ему сказали: «поклянись Ильичем», он побледнел и замкнул губы. Ленин — не только разум и воля угнетенного человечества, он и совесть его. Одному из наших больных часто снится Ильич, назавтра он бодрее, здоровее, человечнее.

Талантливый А. Газетный работник и поэт. Характерно освещает жизнь наших редакций. Структура: Ответ. редактор, он никого из рядовых работников не видит (может, и не замечает), и они его. В «присутственные дни» где-то совещаются, он может и очень нужный, но очень далекий от повседневной жизни редакции.

Замредактор так занят, так занят, что еле успеваешь два слова ему сказать. Я знаю замредактора, который редактирует 15 изданий, плюс масса работы по заседаниям, совещаниям, разным комиссиям. Не следует забывать, что нашим замредакторам нужно самим еще многому учиться, а у них нет времени даже газетки прочесть, не говоря о более серьезном. Редактора полос не имеют даже библиотеки, нет нигде порядочного архива. Все делается на память, впопыхах, вырезки за год часто хранятся в карманах брюк.

Журналисты, хроникеры, репортеры, ответственные двигатели этого великого станка мысли, не только не повышают свою квалификацию, не увеличивают свои знания, но в этой повседневной сутолоке теряют то, что имеют. Вырабатывается трафарет, и по нем гонятся строчки.

Рядовой работник совершенно оторван от редактора, главное, нет времени. С этой суетой необходимо как можно скорее покончить.

У нас много талантливейших молодых сил, «но нет времени» им самим продумывать строки и о них подумать. Дом Печати с его «специальными билетами» на вечера журналистов должен иначе поставить работу, менее формально и более товарищески.

А. все время бредит: «побольше времени для журналистов». В его мозговом разжиже можно много выбрать кое-что поучительное.

5 лет я не был ни на одной фабрике, не варился в пролетарском котле, этого нового хозяина человечества, этого нового корононосца.

Тяжело мне, потому что я не нерв ячейки, а облипающая ее кора -- чиновничье-обывательская. Тяжело мне, потому что я не у источников творчества, как часто задыхаюсь у моего канцелярско-писательского стола, как часто мне нехватает воздуха, который накачивается только

оттуда, из источников КП. И как иногда стража у источников не понимает жаждущих...

Беседовал с профессором. Разговоры психиатра с больным — это своеобразный шахматный турнир. Наступление, атака, оборона; сколько раз армии перестраиваются, иногда удары идут с тыла, из глубокого тыла. У больного только инстинкт самосохранения, а у психиатра — наука, детально разработанный топографически план, все атаки. У вас спрашивают, какие пирожные вы больше всего любите — с кремом или миндальные, предпочитаете ли вы автомобиль извозчику, какие книжки вами легче читаются — в переплете или без оного и сколько раз в неделю вам нужна женщина. Ясно, что ни на один вопрос вы не даете прямого ответа, и то, что вы думаете о пирожных, вы отвечаете на вопрос о женщинах. Я раньше тоже напрягал свой мозг, но, зная, что я буду бесспорно побежден, я отвечал прямо.

На вопрос о страсти, ответил — есть троякого рода страсти. Восточная, где много цветов, ковров, вина, дрожь мяса, так сказать гаремная, и европейская — оттоманка, несколько капель вина, гвоздика, сложная теория и даже хлыст, дрожь нервов, так сказать анархо-капиталистическая, и третья — двух романов герой — театральной премьерши и комиссариатской курьерши, плюс собственная жена, тоже ответственная работница.

Я против всех этих родов страсти. Предпочитаю здоровую половую жизнь по разверстке Наркомздрава и в приуроченные часы для данной социально-важной деятельности.

По вопросу о смерти, похоронах и обрядности.

Когда мотор останавливается, машину, как бы она ни была ценна тащут на буксире — на слом. Должен прилететь с крыши аэро, туда заталкивают лопнувший двигатель и марш — так и улетит, на небо или в землю, не все ли равно. 3 минуты дается на глазение останков, две минуты на всхлипывание, одна на прощание.

Благодарен «Вечерней Москве» за частые информации о крематории, предлагаю устроить шикарную галлерею под стеклянным куполом (зрительный зал), орган играет средневековую музыку. Для желающих джаз-банд. Когда хоронят женщин — обязательно романс Чичисбея, а главное — чтобы был приятный и аппетитный буфет, на похоронах всегда проголодаешься, что увеличивает горе, а если будет кофе с бенедиктином и вкусный гарнир, то многие детали обрядности разрешаются сами собою (к сведению тов. Вересаева).

Еще десятки стратегических ходов делал профессор, начиная с Чжан-Цзо-Линовских авантюр, шагая через последнюю постановку Мейерхольда к новым веяниям в итальянской скульптуре. Это было большое испытание полит-культграмоты, плюс мозгцельности.

Результаты неизвестны мне. Последние слова были такие: я знаю, что вы культурный человек, вы должны написать подробнейшим образом всю вашу жизнь, но (и здесь он запнулся)... но не так, как вы говорите, а просто, без образов.

Почему? — удивился я. Потому что образы — ваша болезнь. Нельзя их так нагромождать. Этим болеют целые литературные школы и иногда, хотя очень редко, отдельные личности. Эта болезнь опасная, заумная и может довести далеко.

Итак, профессор предоставляет мне слово?

Да.

Заполню анкету просто и ясно...

200

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

О Горьком.

(М. Горький. «Собрание сочинений». Тома XVI, XVII, XVIII, XIX. Госиздат. 1924—1926 г.г.).

А. Воронский.

I.

В годы гражданской войны М. Горький поделился воспоминаниями о Л. Н. Толстом. Воспоминания прошли тогда почти незамеченными. Между тем это было лучшее из всего, что имеется в мировой литературе о Толстом и наиболее совершенное в творчестве Горького. Так вольно, смело, проникновенно, честно и своеобразно никто не писал о русском гении. Но особенно любопытно в книжке о Толстом то, что он оказался у Горького... озорником. Горький писал:

— В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то сбоку таился Чаадаевский скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник Новогородский, а Чаадаевское усмехалось над этими забавами души, да кстати — и над муками ее.

Из воспоминаний отчетливо далее видно, что «Аввакумово начало» по мысли Горького было в сущности чуждо Толстому, — настоящее, живое и подлинное у великого мастера было буслаевское и чаадаевское.

Вероятнее всего Горький прав: учитель и проповедник нового христианства, суровый обличитель и догматик Толстой был прежде всего язычником, скептиком и «озорником новогородским». Но для нас сейчас интересно отметить, что буслаевщину в Толстом нашел Горький, и только он один. Это не случайно и целиком соответствует основному художественному настроению писателя этих лет. Горький пишет теперь больше всего об озорниках. Нельзя сказать, чтобы в этом особо пристальном внимании к озорному и странному со стороны художника обнаруживалось нечто совсем новое. О мятущихся, о неудовлетворенных людях, об искателях человечьей правды на земле, об этих неугомонных странниках, о чудаках и протестантах мы читали у Горького и раньше. Но тогда его герои были обвеяны задорным и свежим романтизмом юности. Теперь в этих «озорных» рассказах, повестях, воспоминаниях преобладает любознательность и любопытство, — в них есть нечто от лукавого взгляда Луки, есть более спокойная наблюдательность, освобожден-

ная от проповедничества. И еще — и это основное — в них есть завершенность, додуманность «озорного» мироощущения. Художественный лик Горького обрисовывается теперь с наибольшей отчетливостью и выразительностью. Как будто писатель старательно удалял от себя все случайное, ему мало-свойственное, очищал свое художественное ядро от скорлупы и шелухи. Когда читаешь его произведения последних лет, становятся более понятными и ясными сокровенные мотивы его творческой тридцатилетней работы, и его художественное мировосприятие предстает в более законченном виде. Итог подведен, художник показал нам, над чем он крепче всего задумывался, что волновало его, чем он больше всего вдохновлялся. Писатель распоряжается исключительно своим материалом. И похоже, что он боится, как бы не затерялось, не пропало и осталось невоплощенным ценное, интересное и любопытное с его, писательской, точки зрения. Может быть, поэтому он так охотно прибегает к новой для него форме, к дневнику, к заметкам, к очеркам и воспоминаниям. Шкловский даже усмотрел в этом прообраз новой литературной формы будущего.

II.

В «Моих университетах» и в других автобиографических рассказах много ценнейших подробностей, фактов, событий, показывающих, как складывалась личность писателя-художника и общественника. Подпольные кружки тогдашней революционной интеллигенции и молодежи, народники, социал-демократы, писатели, купцы, чиновники, крестьяне, рабочие, городовые, жандармы, мещане проходят пестрой и живописной чередой, оставляя и напечатлевая свои следы в думах и чувствах самоучки-художника. Первые попытки войти в литературную среду, беседы с Короленко и Карониным, сомнения и радости — все это превосходно и художественно убедительно. Но самыми поучительными, пожалуй, в этих воспоминаниях являются философские поиски писателя, его представления о мире, как они складывались в пору его юности и первой зрелости, в годы, наложившие наиболее яркую печать на последующее художественное творчество М. Горького, ибо определяющим в этом творчестве были несомненно детство и юность, и юность больше, чем детство.

Наклонность к философским построениям Горький отмечает неоднократно. В очерке «О вреде философии» он рассказывает, до каких мучительных и необычайных фантазмов дошел он в поисках ответов на «проклятые вопросы».

— Я видел, — рассказывает писатель, — нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой на бок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человеческие ноги, каждая отдельно от другой... летают разноцветные крылья и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков.

Мир предстал пред молодым художником в «хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел». Горький рассказывает — временами ему казалось, что звезды млечного пути вдруг сольются в огненную реку и

она прольется на землю, широкая плоскость лугов свернется неожиданно в свиток, все на земле превратится в столб пыли, образуется пустыня и он останется один посреди ее с глазу на глаз с «четырьмя вечностями».

Настроения эти были столь сильны, что Горький почувствовал себя на границе безумия и стал ждать страшных и внезапных событий. Лошадь извозчика могла заговорить глубоким басом, сам автор превратиться в жабу и т. д.

«Все возможно». Если мир предстает, как некий хаос, он непрочен, в нем все допустимо. «Земля — очень коварна, идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами... Небо — тоже ненадежное».

Мрачные и губительные фантазмы свидетельствовали о потере душевного равновесия и о болезни. Но мы узнаем со слов писателя, что физически он был настолько здоров, что мог «креститься» двухпудовыми гирями. Существеннее, однако, другое. В книжке о Толстом Горький упоминает о таком своем сновидении: «по снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги—пустые». Сон писатель считает самым страшным; действительно, он—в плане его ранних фантазий. В тех же воспоминаниях Горький отмечает, что Толстой всю жизнь боялся смерти и надеялся, возможно, на бессмертие: «почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие?» В рассказе «Карамора» жандарм Симонов сознается, что часто видит и представляет себя чудесным фокусником: из яйца у него вылупливается поросенок, заяц, сова; вдруг у него вырастает две головы. В «Голубой жизни» Миронову кажется иногда, что в мире действует «насмешливо испытующий озорник, какая-то злая выдумка вроде дьявола». Об общей непрочности жизни и темном смысле ее говорит нижегородский миллионщик Бугров. В очерке «Испытатели» банщик Степан Прохоров испугался на всю жизнь своей удачи: «чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость». Ломовой извозчик Меркулов твердит: «Непрочна ваша (людей. *А. В.*) жизнь». Неудачный писатель жалуется: «На все я смотрел недоуменно». Бродяга-интеллигент Рюминский чувствовал «чью-то злую иронию над собой», а горбун уверяет, что существуют разных сортов и мастей черти, в их числе такие, которые подсказывают человеку странное, черти «неосмысленного буйства». Столяру Каллистрату хочется выдумать что-нибудь «вроде сметаны».

У героев Горького упорно повторяются фантазии писателя о непрочности мира.

В описаниях, в изображениях природы у писателя иногда (не всегда) явственно ощущается восприятие природы, как ненадежного и коварного хаоса:

«Над рекой клубятся черные тучи осени. Все вокруг — только медленное движение тьмы, она стерла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно, всею массой текущее куда-то вниз, в пустынное немое пространство, где нет ни солнца, ни

луны, ни звезд»... В другом месте: «У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжелым движением жидкой массы, опрокидывается в нее, а я — с'езжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце». Таких описаний можно найти много. Замечательно изображение пожаров у Горького: огонь кажется живым, сокрушительным, озорным, буйным, злым и веселым существом. Очень часто писатель живописует природу так, как будто за всем окружающим, за всем видимым притаилась и незримо подстерегает человека враждебная, коварная сила: в любую минуту она может нарушить порядок и устойчивость сущего.

Рациональные представления о мире у писателя, разумеется, иные. Он не хуже других знает о законах, открываемых умом человека, он знает, что во вселенной есть свой порядок и своя закономерность, но еще Г. В. Плеханов однажды справедливо заметил, что искусство плохо мирится с рассудком; определяющим для художника является эмоциональное, еще больше, бессознательное начало и, думается, немимолетны у Горького ни эти мучительные фантазмы, ни признания героев его рассказов. Представления о мире, «по Эмпедоклу» — игра художественного воображения, но эти образы, эта игра имеет свой немаловажный смысл.

III.

Мир неверен, ненадежен, непрочен. Вселенная лишена гармонии и упорядоченности. Господствует неосмысленная стихия, неожиданное и непредвиденное. Как в Библии: «земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною». Мир противоборствует и противостоит человеку, как всякая слепая сила. Тысячью смертоносных опасностей угрожает человеку этот безликий, безумный и бездушный хаос.

Прочным и надежным во вселенной является только человек и его разум. Человек стремится взнуздать, подчинить, покорить стихию в себе и в окружающем, установить гармонию между собой и миром, открыть и усмотреть некую закономерность, дать свой закон жизни. В «Рассказе о герое» автор повествования, вспоминая прачку Мокрею, огромную, грязную, страстную, буйную бабу, говорит, что она постоянно пьянствовала и дебоширила, — тогда являлся разум в лице городового татарина; полицейский сбивал Мокрею кулачищами с ног, вязал и унимал ее. Автору казалось, что и природа подобна прачке Мокрее, а человеческий разум — полицейскому татарину: природа — Мокрея — буйствует, а разум — городовой — унимает. «И, разумеется, — сознается далее расказчик, — она (Мокрея. *А. В.)* углубляла мой страх перед явлениями жизни, слишком явно неразумными и враждебными мне — человеку».

Надежен и прочен один лишь человек. Он таит в себе чудесные потенции, силою своего творческого труда он укрощает и подчиняет «разобщенный хаос» и побеждает косность его. «Если в мире, — признается писатель, — существует нечто поистине священное и великое, так это только непрерывно растущий человек, — ценный даже тогда, когда он ненавистен мне». В вос-

поминаниях о Толстом есть необычайной красоты место, где писатель изображает великого художника в Крыму, в Гаспре, у берега моря. В этом изображении мысли и чувства Горького о вселенной и человеке нашли, мне кажется, единственное и неповторимое образное воплощение. Прошу снисхождения за выдержку, но не могу от нее отказаться. Немного таких картин и у лучших художников.

«День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том, когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека, и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и все вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика чудилось нечто вещее, чародейственное, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движениями облаков и тенями, которые, словно шевелят камни, будят их. И вдруг, в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит»...

Опорой во вселенной является только человек. Отсюда у писателя такое острое, напряженное внимание, любознательность и жадное любопытство к человеку и ко всему, что он делает. В «Моих университетах», в «Заметках из дневника», в рассказах 1922 — 1924 г.г. в великой пестроте и разнообразии перед читателем проходят буквально сотни лиц. Поразительна память Горького на все человеческое. Как будто все записано и зарисовано под свежими впечатлениями только вчера. Какая богатая огромная кладовая! И как, наверное, трудно приходится с такой великолепной перегруженностью! Поневоле надобно брать бумагу и перо, чтобы отделаться от наседающей пышности и обилия образов, бесед, случаев, столкновений, лиц. И — заметьте — Горький никогда не повторяется во внешнем изображении своих героев. В диалогах, в рассказах о себе, в своих философствованиях его герои то-и-дело излагают особо чтимые и дорогие мысли писателя, но в обличьи персонажей Горького, в их повадках, в том, как они ходят, сидят, говорят — всегда — свое, индивидуальное и легко запечатлевающееся. Откуда такая удивительная способность у художника? Природа природой, но в памяти обычно остается то, на что по каким-либо причинам направляется внимание; простая созерцательность, глазение для памяти проходят чаще всего бесследно. А внимание и любопытство Горького сосредоточены на человеке. Потому так художественно живы, ярки, свежи и разнообразны его изображения людей.

Неоднократно отмечалось, что в современной советской литературе у молодых писателей человека не видно. Сетования справедливы. Одни у нас агитируют, другие наблюдают, третьи дают клочки быта и «хорошие концы».

Любви, чуткой внимательности, перевоплощения в изображаемых людей, их понимания инстинктов недостает у нас. У Горького человек — в центре всех его художественных произведений и нашим современным писателям есть чему поучиться у него, не только со стороны языка, изобразительности, но и со стороны острого внимания ко всему человеческому.

IV.

Общеизвестная истина — о человеке говорить и писать отвлеченно можно только условно. Нет человека вообще, есть конкретные люди, живущие в бытовых и исторических условиях, есть общественный человек. Как, с какой меркой подходит писатель к этому общественному человеку, кого он любит, кого ненавидит?

В человеке, в его инстинктах, общественных и личных, заложены могучие творческие потенции. Но косность и тупость быта, но инерция и несправедливость окружающих условий, их уродливость, слагающиеся в процессе исторического развития, цепко держат эти творческие силы. В бытовой недотыкомке серой, в мелочных жизненных пустяках, в грязной и тяжелой житейской драме, в животной борьбе, в угнетении человека человеком, в ничтожности и затхлости будней, в нудной серости и суете, как в тенетах, бьется созидающее начало человека. Особенно писателю ненавистна и отвратна наша российская окуровская азиатчина, растеряевщина, уездное, пошехония наша, Миргороды и Глуповы, островщина, чеховский быт, андреевский «Жили-были», бунинская жестокая деревенщина. В художественном очерке «Время Короленко» М. Горький пишет: «терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками, еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь». В этой окуровщине оседает и успокаивается человек, либо превращается в чудака и озорника, в нелепого и неразумного растратчика сил своих, в бессильного и бесплотного протестанта. Люди у Горького поделены на две основных категории: или это охранители спокойной жвачной жизни, или — чудаки, или — озорники. О людях третьей категории речь будет впереди. Об охранителях, об озорниках и чудаках М. Горький писал и раньше, но в произведениях последних лет эта художественная линия доведена до обнаженной четкости и ясности. Очень своеобразен и интересен один из последних рассказов писателя, «Голубая жизнь», не лучший из всего написанного Горьким, но, пожалуй, самый характерный. В российском Окурове живут обыватели — Константин Миронов и столяр Каллистрат. Миронову по наследству достались дом, сад, постройки. Миронов одинок, застенчив, ничего не делает и не тяготится этим, живет замкнуто, сторонится людей, боится жизни, чувствует в ней что-то темное и опасное. «Я тишину люблю». В эту размеренную сонную жизнь врывается столяр. Настоящее знакомство их друг с другом начинается с того, что столяр

испачкал дегтем ворота дома Миронова. Для забавы, со скуки. О себе столяр рассказывает, что он любит озадачить людей: «я, бывало, налью керосину в почтовый ящик для писем, суну туда зажженную спичку, письма-то и горят, а никто ничего не понимает». Столяр тормошит Миронова, постоянно лезет к нему: то он красит на особый невиданный лад дом и окна, то убеждает Миронова жениться и приводит к нему «отличную девицу», составленную из полушарий. Миронову делается не по-себе, он начинает бояться столяра, столяр превращается в представлении Миронова в мистическое всезнающее, беспокойное существо, опасное, буйное и неугомонное; Миронов заболевает манией преследования и сходит с ума. Успешное лечение возвращает ему рассудок, он превращается в сухого и прижимистого хозяина переплетной мастерской. Столяр же спивается, ибо, по мнению Миронова, он был безумный, «вроде вот этих писателей-поэтов». И Миронов и столяр при всем их реализме символичны: они воплощают в себе два человеческих начала: косность и озорное чудачество.

В последних вещах Горького преобладают озорники. Они озоруют от великой скуки, в них жив неугомонный творческий дух, но мелкий быт, докуки жизни коверкают их, и их порывы вырождаются в бесплодное озорство. Они все жалуются на скуку. Скука их главный враг. «Скушно всем, каждому хочется удивить себя и других, а удивить-то и нечем». Они хотят необыкновенного, непохожего, неожиданного. Стремление это порой принимает совсем странные формы. Горький рассказывает, что он видел однажды, как А. П. Чехов ловил шляпой солнечный луч; Лесков бросал в фарфоровую чашку пушинку и старался услышать — даст-ли пушинка звук; один профессор пытался снять рисунок с книги и положить его в карман, А. Блок почтительно уступал дорогу на лестнице кому-то незримому и т. д. Даже Короленко у Горького выглядит немного озорником (разговор об искателях правды). Озорник Леонид Андреев. О Толстом уже упоминалось. Женщина, с которой писатель испытал первую любовь, была заражена «институтско-парижским нигилизмом». Люди, как первобытные огнепоклонники, влюблены в огонь, в его озорную уничтожающую силу. Миллионщик Бугров страдает от скуки жизни, к делу своему он относится, как человек, которому надобно как-нибудь заполнить пустоту жизни. Он боится непрочности жизни, революции, но помогает революционерам.

Можно подумать, что в революции, в революционных типах Горький увидел разумное и целесообразное направление творческих сил человека. Это так, но с большими оговорками, ибо здесь мы встречаемся с неожиданными и скептическими мыслями писателя. Так, писатель вспоминает об одной беседе со знакомым рабочим, политическим «воротилой». Беседа относится к после-октябрьскому времени. Рабочий говорил автору:

— А. М., милый, ничего мне не надо, никуда все это — академии, науки, аэропланы, — лишнее. Надобно только угол тихий и — бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно — душой и телом — отвечала, — вот... — После беседы с ним я невольно подумал: а что, если действительно миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки револю-

ции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда («Мои университеты»).

Подобные настроения у писателя не являются главными, но они и не случайны. В «Рассказе о необыкновенном» участник революционной борьбы, прошедший сложный и тяжкий жизненный путь, партизан, утверждает: все зло на земле и несправедливость оттого, что люди хотят необыкновенного и не могут понять, что спасение в простоте. Каждый хочет быть особенным. Отсюда — сословия, классы, насилие. Революция все это должна сравнять, уничтожить, запретить особенное, отличное, чтобы не было никаких отличий. Другой участник революции мечтает поспать с графиней, а какой-то законник предлагает арестовать во имя свободы всех лиц, которые «обсуждают события». Несомненно, писатель побаивается, как бы революция не привела к новой окуровщине. Тем более, у нас в России, с таким решительным преобладанием «мужика», которого писатель не очень-то жалует, и где рабочий еще связан с деревней.

Может быть, отчасти по этой причине Горький так много уделяет теперь внимания озорникам и чудакам. К ним у него не только любопытство, но и любовь. О Павлах в новой обстановке он молчит, зато с исключительным старанием отыскивает странное, чудное и озорное.

V.

М. Горький знает и людей третьей категории, тех, кто далек и от обломовцев Мироновых, и от озорных и нелепых столяров: Короленко, Каронин, «хохол» Ромась, рабочий Рубцев, Яков, крестьянин Изот, революционная молодежь, Митя Павлов. Они — воплощение разумного, деятельного и преобразующего начала в жизни. Общеизвестно преклонение Горького перед силой человеческой мысли. Если мир непрочен и ненадежен, если в человеке сидит окуровщина и зверь, то верным другом человека является мысль, она призвана осветить темный хаос жизни, создать из животного подлинного человека, она до конца мятежна, неугомонна, бесстрашна и свободна. В очерке о Леониде Андрееве писатель подробно и очень поучительно рассказывает о постоянных спорах и столкновениях с Андреевым, полагавшим, что человеческая мысль коварна, бессильна, обманна, лжива и враждебна человеческому естеству.

Для Горького мысль — лучшее и вернейшее в мире. Но и в этом пункте художник не лишен сомнений и недоумений. Не все у него сведено и здесь в одно целостное и гармоничное мироощущение. В рассказе «Сторож» Горький описывает свои встречи с людьми двух различных миров: на станции Добринка у начальника станции Петровского собираются: помощник исправника Маслов, мыловар Степахин, пьяница — дьякон Ворошилов, проститутка Леска. Происходит пьянство, оргии с раздеванием женщин и пр. Жизнь бросает затем писателя в Борисоглебск, где он входит в группу «неблагонадежных» интеллигентов, изведавших тюрьму и ссылку. Присмотревшись к их

быту, Горький сознается: «жизнь хороших, умных интеллигентов казалась мне скучной, бесцветной... Присматривался я ко всему этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского, где обнаженно до глубины своей разыгрывалась буйная и темная драма инстинктов и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые сердечные песни своего народа, а «философы», «радикалы», «народники» нескладно пели ноющие пошленькие стишки: «Не осенний мелкий дождичек», «Там, где тинный Булак»...

...На одной стороне бессмысленно и безысходно мечется сила инстинкта, на другой — бьется обескрыленной птицей разум. Заперт в грязной клетке быта. Я думаю, что ни в одной стране земли творческие силы жизни не оторваны так далеко друг от друга, как это случилось у нас на Руси».

Схожие признания Горький делает и в других своих произведениях. Для определения художника они имеют первостатейное значение. Умом он почитает культуру, науку, хороших интеллигентных людей, а сердце его склоняется к дикарям, к пламенной, полновесной и буйной игре их инстинктов. Недаром «дикари» в изображении писателя получаются более свежими, сочными, живыми и подкупающими, чем «философы», «радикалы» и «народники». Нижегородский купчина Бугров, пьяная ватага Петровского, деревенская знахарка, поклоняющаяся языческому веселому богу Кереметю, Бреев, старик-отшельник в пещере над Волгой, городовой, поучающий писателя, пекарь Лутонин напечатлены не только в пластичных, в скульптурных образах, но иногда и с явными симпатиями автора к их дикарству. Горький прекрасно чувствует их плоть и кровь, умеет перевоплощаться в них. Про него можно повторить, что он рассказал со слов Сулера о Л. Н. Толстом: увидя на Тверской улице двух рослых в парадной форме кирасиров Толстой возмущенно заметил: — Какая величественная глупость! Совершенные животные! — но затем, не удержался и прибавил: — До чего красивы... силища, красота... — В новом романе «Дело Артамоновых» бывший кулак, российский купец, расточитель своих сил (сила «хвастовством изошла») изображен с явным любованием на него писателя: «до чего красив... силища!..».

Сравните теперь воспоминания Горького о Короленко и Каронине, о Ромасе, о революционерах-интеллигентах — хорошо, но значительно суше, бледней, недостает горьковской изобразительности, а часто о «радикалах» и «философах» он пишет совсем холодно, иронически и отчужденно; то его коробит узкое направленство, то — интеллигентское отвлеченное народолюбие, то неискренность, столкновение болезненных самолюбий и ячество. Купцы, мещане, босяки, чудаки, озорники Горькому удаются лучше людей революции и науки. Это бросается в глаза, это сознает и сам писатель. В его воспоминаниях есть такое ценное признание:

«Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было более тридцати лет тому назад, пишу и ясно вижу пред собой тех и этих людей («дикарей» и интеллигентов. *А. В.)*, я чувствую полное бессилие нарисовать словами фигуры

близоруких книжников в очках и пенснэ, в брюках «на выпуск», в разнообразных пиджаках и однообразно пестрых мантиях книжных слов».

Это — правдиво. И вполне закономерно. Горький срывался на Павлах в своих попытках нарисовать новую рабочую подпольную интеллигенцию: его талант лучше воспринимает «дикарей».

Величественна, свободна и бесстрашна мысль человека, но у нас на Руси она разобщена и оторвана от первобытных инстинктов жизни. В этой разорванности писатель видит и трагедию нашей революции. В революции «разумное начало»—интеллигенция—оказалось вне «народной стихии». «Народная стихия» неисчерпаемо богата силами, в ней — великий родник жизни, но она не оплодотворяется культурой мысли. «Разумное начало» обладает такой культурой, но лишено соков жизни. Стихия есть стихия. Может случиться, что миллионы людей, лишенные «разумного начала», возжаждут покоя, освобождения от творческого труда, отринут равнодушно науку и культуру и превратятся в новых окуровцев, а «разумное начало» будет бессильно хныкать и философствовать.

Отсюда сомнения и колебания Горького.

Горький — писатель не цельный, он не монолитен, как принято теперь выражаться. В рассказе «Карамора» герой говорит: «Цельный человек всегда похож на вола — с ним скучно. Я думаю, что цельность — результат самоограничения ради самозащиты. Цельный человек практически более полезен, но второй тип ближе мне. Запутанные люди интереснее». Эти слова могут быть отнесены и к Горькому. Он тоже любит запутанных людей и в нем уживается много противоречий. В произведениях последних лет они вскрыты самим писателем с большой обнаженностью и правдивостью. Но следует отметить, особенно для наших не в меру «монолитных» художников и критиков, что именно благодаря нецельности и сложности своей натуры Горький и стал большим, огромным, честным и интересным писателем. Его автобиографические вещи показывают, как из столкновения противоречий в душе и в сердце писателя рождались художественный пафос и его эстетические эмоции.

VI.

Горький был и остается большим и по-своему единственным и неповторимым писателем. Приходилось слышать мнения преимущественно со стороны «левых» товарищей, что последние произведения М. Горького имеют не столько художественную, сколько мемуарную ценность. Мнения эти ошибочны. За эти годы писатель возвысился до уравновешенного и законченного мастерства. Он не злоупотребляет больше афоризмами, не перебивает прекрасных страниц риторикой и публицистикой, и он пишет только о том, что наиболее свойственно его таланту. Внимательное отношение к слову доведено до высочайшей строгости, а его изобразительность походит на золотую осеннюю пышность наших лесов и садов, а иногда при чтении вспоминаются погожие солнечные дни, когда предметы кажутся только что отполированными и пах-

нущими еще свежим лаком, но чаще всего это все-таки предзакатная ясность. Верно говорят и пишут — бывает такой предвечерний час — предметы теряют вес, но становятся особо определенными и четкими в каждой своей линии. Таковы вещи художника.

В этом смысле и можно говорить о новом Горьком.

Лучшими вещами, по нашему пониманию, являются: книжка о Толстом, «Пожары», «Бугров», «Сторож», «Мои университеты», «Отшельник», «Знахарка», «Леонид Андреев» и некоторые мелкие вещи семнадцатого тома. «Паук», «Городок», «Садовник» и др. Незабываем этот великий «озорник» Толстой, городовой, философствующий «о незримой нити», тяжелый и опустошенный Бугров, хитренький человеколюб отшельник, ватага Петровского, отпевание в ночлежке, а о пожарах так может писать человек, в котором еще жива душа древнего огнепоклонника. Неудачной вещью является «Карамора». Рассказ возбуждает чувство недоумения и досады. Есть в нем много от настроений Достоевского: «позвольте подлость сделать» и ненароком герой рассказа — провокатор говорит, что он теперь хорошо чувствует Достоевского. И потом, нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в России.

Последним по времени является большой роман «Дело Артамоновых». Это история вырождения трех поколений русского купеческого рода. Родоначальник Артамоновых — выходец из деревни, умный дикарь, кряжистый, ловкий делец с могучими звериными инстинктами, бахвальщик своей силой, но уже во втором поколении идут выродки. Октябрь сметает их как мусор. Роман был задуман давно. В воспоминаниях о Толстом Горький пишет:

— Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда. Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете, непременно.

И глаза его сверкали жадно.

— Но ведь рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью — это чудесно! Это настоящее: вы грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой, скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! Что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а вдруг — убил, — ах, это хорошо!..

В романе есть и монах, горбун Никита, замаливающий грехи семьи по монастырям, и скучающий стяжатель, распутник, любящий всех, но убийца мальчика — Петр Артамонов. Горький вполне последовал совету Толстого. Илья Артамонов, Никита, Петр, провокатор Носков очерчены превосходно. Мастерски написаны свадьба, уход горбуна в монастырь, убийство мальчика в бане. Проведена в романе любимая мысль художника — раздвоенность между природной стихией и разумным началом.

Горький пишет сейчас лучше. Он переживает новый большой под'ем. Но верно то, что для современного, особенно молодого читателя, его послед-

ние вещи звучат глуше. В них недостает для него солености, они не ведут его так, как в свое время наше поколение вел за собой романтический буревестник, автор «Старухи Изергиль», «Коновалова» и др. подобных рассказов. Жить произведения последних лет, надо полагать, будут дольше, но сейчас они «не шумят».

Почему это случилось?

Ответ надлежит искать в отношениях М. Горького к Октябрьской революции. Горький — самоучка. Наука, искусство, культура дались ему в жесточайшей и упорнейшей борьбе. Он поистине грыз молодыми зубами гранит науки. Его автобиографические рассказы показывают этот трудный путь. Они должны быть близки и понятны десяткам тысяч новой рабоче-крестьянской интеллигенции, которая, приобщаясь к культуре и выбиваясь из недр «народной стихии», идет ощупью, часто долго и мучительно блуждая по окольным и запутанным тропам. Своеобразные ощущения непрочности мира и жизни побуждали Горького искать в человеке и в разуме его единственный надежный оплот. Эта борьба за приобщение к культуре вместе с особыми настроениями молодого художника создали и развили в Горьком преклонение пред «разумным началом», правда, больше рассудочное. Но Горький — истинный сын демоса, он был грузчиком и булочником, и сторожем, и босяком. Он пришел оттуда, где первобытные соки жизни еще свежи, могучи и буйны, он сам «крестился» двухпудовыми гирями, был физически крепок и здоров. И он принес с собой эту здоровую игру сил, ощущение ее красоты и своей правды и также затаенное недоверие и скепсис выходца из низов к книжникам и «радикалам». Он увидел дальше, что «народная стихия» живет своей отличной жизнью и своя отличная жизнь у «разумного начала». В годы революции «разумное начало» повернулось спиной к «народной стихии», а «народная стихия» подчас весьма невежливо обходилась с «разумным началом». Горький, как уже упоминалось, остро воспринял эту разобщенность. Он не однажды протестовал против «варварства» и некультурности «народной стихии», но еще более чуждыми показались ему книжники, вставлявшие палки в колеса революции. Сомнения и колебания связали талант Горького там, где шла речь о революции. Поэтому с такой осторожностью Горький касается наших дней, предпочитая более устоявшийся материал прошлого. Этим и об'ясняется то, что последнее произведение Горького не возбуждает острого внимания, несмотря на их мастерскую отделку. Они не злободневны, а у нас от писателя требуют именно злободневного.

С нашей точки зрения художественное миросозерцание М. Горького, как оно оформилось теперь в его последних вещах, нуждается в серьезных поправках и оговорках. Космос, вселенная и человек с его разумом у Горького слишком раз'единены, обособлены и противопоставлены друг другу. Человек и его мысль — часть целого, мира. Живущие на земле — «исполнение ее». Мир закономерен, и человек не устанавливает этой закономерности, а лишь открывает ее. Борьба человека со стихийными силами, враждебными ему, опирается на те же природные силы, человек только умело использует

их. Он не одинок во вселенной и окружен не только врагами в природе, но и друзьями. Нет поэтому основания для принципиального противопоставления человека космосу.

Нашей революции грозит не мало опасностей. Смешно и преступно закрывать на них глаза. В нашей новой общественности происходит борьба разумного пролетарского начала с буржуазной и мелко-буржуазной стихийной потенцией. Торжество этой стихии грозит новой окуровщиной, новым чумазым, с его «законно-зверячьей» жизнью. Эта стихия просачивается и в «разумное начало» революции и сюда она вносит элементы разложения, обрастания, обывательщины и чинодральства «со всеми вытекающими отсюда последствиями». Есть и это. Тут — борьба. Тут — кто кого. Но у нас нет пока основания для преждевременного пессимизма. За нами бетон и сталь заводов, крепость и сплоченность синеблузников. Бывают заминки, отливы, ущербные годы, но общая историческая обстановка такова, что о торжестве самодовольно мычащей сытости и тупого довольства не может быть и речи. Политический «воротило» сколько угодно может мечтать о доме, садике и бабе, — мы-то знаем, что без науки и аэроплана новому властелину нельзя и шагу ступить. В истории он без этих нужных вещей — нуль. «Довлеет дневи злоба его». Мысли А. М. по этому поводу и вправду «несвоевременны».

Писатель слишком и несправедливо пристрастен к нашему «мужику». В нашей деревянной Руси много волчьей злобы, ограниченности, много темноты, невежества и суеверия. Но вот в чем дело. В «Моих университетах» есть прекрасные страницы с изображением работы артели грузчиков на барже. Такие описания встречались у Горького и раньше. Но, насколько помнится, нигде Горьким не описан, не изображен крестьянский труд в поле, в лесу, у себя на дому. В «Университетах» Горький подробно рассказывает о своей страшной жизни с Ромасем в одном большом приволжском селе. В рассказе нет ни одной картины трудовой крестьянской жизни. А ведь крестьянин не только собственник, но и человек угнетенного труда. Одну душу, жадную, собственническую, дикую, Горький видит превосходно, а к другой глух. И у него искажаются иногда революционные перспективы и звучит скептицизм.

Коллизия между «народной стихией» и «разумным началом» — интеллигенцией в процессе исторического развития разрешается тем, что «народная стихия» сама, правда с величайшим трудом, выдвигает свое «разумное начало». Горький был и остается одним из провозвестников этого начала. Не один он проходил путь приобщения к культуре «кухаркина сына». Да и старое «разумное начало» во многом уже изменило за эти годы свое отношение к «народной стихии».

Эти и подобные замечания и оговорки к современному Горькому необходимо сделать. У Горького есть «несвоевременные мысли», но «по кровям», по всему своему художественному облику он наш художник. Недаром так зло и постоянно его ненавидят: Гиппиус, Мережковский, теперешний Бунин и весь белый лагерь. Горький демократичен с ног до головы.

Горький вошел в революционную общественность и в русскую литературу, как буревестник русской революции. Его революционная романтика

отразила нарастание революционной стихии, его «Враги», «Мать», «Исповедь» связаны с русским пролетариатом. Но помимо этого перед нами зрелый и оригинальный мастер слова. Он открыл и показал нам в народной гуще новый русский тип озорника, чудака, человека тоскующего по необыкновенному, искателя и испытателя. Об этом беспокойном, неугомонном начале в русском человеке он сумел рассказать по-своему. Славную галлерею русских национальных типов он пополнил новыми свежими образцами. Прекрасные силы этих озорников расходовались напропалую, зря, нелепо и неразумно, но наличие их свидетельствует о больших творческих дарах «народной стихии». В послесловии к XVII тому, где в заметках и рассказах почти сплошь изображены эти неугомонные чудаки и странные люди, Горький поясняет:

— Я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным, даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов... русский народ самый благодарный материал для художника.

Горький остается нашим лучшим писателем, ибо вместе с нами он верит в «связующее значение труда» и в то, что русский народ, освободившись от пут,

«будет жить сказочной героической жизнью».

Подождем обвинять поэтов.

В. Маяковский.

— Поэты не идут. —
— Поэтов не читают. —
— Поэтов не покупают. —
— Издавать стихи убыточно. —

Эти утверждения считаются бесспорными. Об этом заявляют злорадные издатели. С этим сочувственно соглашаются редакторы. Про это безнадежно причитают поэты.

Не то, чтобы не шли плохие, не то, чтобы не читались начинающие, не то, чтобы не покупали некоторых, не то, чтобы убыточны дорогие — нет, вся поэзия без исключения взята под сомнение:

— Нужен ли вообще в наше время этот способ обработки слова?!

Ссылка, конечно, на цифры, на статистику, на отчеты торгующих книгой.

— Во-первых, нам, поэтам, такое утверждение невыгодно. Во-вторых, мы не хотим верить, что в наше, все еще лозунговое время, время, едва заменившее дни, когда слово, речь, печать — чуть не целиком заменяли и хлеб, и оружие, что в это время республике совершенно безразлична культура выделки слова.

Памятуя утверждение пессимиста и оптимиста: одного, что театр наполовину пуст, а другого, что он же наполовину полон, — я не очень верю статистике. Тем более в области искусства. В наше время небывалого обострения литературной борьбы и плохого состояния статистики даже цифры меняются в зависимости от вкуса. Приходится самому обследовать и издательские навыки в области распространения книги, и книжную торговлю, и способ добывания цифр.

Я воспользовался для того дела моей лекционной поездкой — в Ростов-Дон, Краснодар, Баку, Тифлис. Это совсем не мало. Это около $^1/_6$ всех отделений Госиздата. Разумеется, я не производил, да и не мог производить, строго рабкриновского обследования. Но даже беглое наблюдение характерно. Едва ли есть существенная разница между книжной торговлей этих и других городов.

Ростов-Дон. После 13-летнего перерыва, я первый раз приехал читать стихи. Большие афиши предупреждают каждого. Две ростовские газеты пишут статьи. На две лекции, об'явленные 1 МГУ, билеты проданы полностью. Первая лекция — 1.150 человек, вторая — 1.200. РАПП (Ростовская ассоциация пролетарских писателей) устраивает специальный закрытый вечер. Ясно, местное отделение Гиза, имеющее большой магазин, да еще присоединенное после слияния отделение Ленгиза, должно было бы коммерчески использовать удачный «сезон». Государственные книжники, прочтя это, неодобрительно усмехнутся — разве дело двигать одного автора? У нас на очереди общесоюзный масштаб!

Повременив с масштабом, перейдем к фактам. На витрине магазина, вернее, на огромных витринах, не выставлено ни одного экземпляра, ни одной книги. По тщательному осмотру беллетристического прилавка также ничего не обнаружено. Обследование полки за торгующим беллетристикой, где книги выставлены корешками (какие уж корешки у тощих стихов!), тоже не дало ничего утешительного. На мой робкий вопрос я был отослан к Ленинскому отделу, где, по слухам, должна была находиться моя поэма о Владимире Ильиче в издании Ленгиза. Книга эта одна из самых последних, ей быть надлежит на прилавке, во всяком случае, если даже остальные убраны в виду преклонных лет. Отсутствие и этой книги создало во мне приятную уверенность, что, очевидно, все мои книги распроданы, и я самый расходимый автор.

Радостно открываю свое инкогнито заведующему магазином. Заведующий не разделил моей радости, а сразу огорошил меня всерьез, хотя и не надолго:

— Стихи вообще не идут. Не интересуются. Ваши книги еще спрашивают... Но и то... лежит их сколько угодно.

Нужно отдать справедливость всем работникам магазина, что при первой моей попытке вмешаться в торговлю все они отнеслись к этому с большим интересом и благожелательностью. Было ясно, что здесь, по их мнению, ничего не поделаешь: вина в авторе, которого не читают, в стихах вообще и в какой-то бюрократической центральной инерции, которую отдельные люди преодолеть не в состоянии.

Первые книги мною были обретены только в задней комнате магазина. Это были: 60 экземпляров «Маяковский издевается», 24 экземпляра «Люблю», 1 — «Лирика» и 17 обтрепанных «Про это». Интересно, что все эти книги, изданные до 1922 — 1923 г.г., для своих лет лежащие довольно большими экземплярами, давно уже считаются в Москве разошедшимися, кроме книги «Лирика», изданной «Кругом», имеющейся здесь только в одном образцовом экземпляре, но зато считающейся камнем на шее издательства, не сумевшего за четыре года распространить и пяти тысяч экземпляров. Кстати, ни одной моей книги изд. «Круг» я не видел нигде. Спрашиваю:

— Почему «Маяковский издевается» и «Люблю» осталось так много?

— Очень много получили.

— Сколько?

— Не знаем. Давно было. Карточная система в отделении Гиза ввелась только с первого января 1926 г.

Остальные книги разыскались в подвальном складе: «Тринадцать лет работы» — 18 экземпляров, «255 стр.» — 15 экземпляров, «О Курске» — 7 экземпляров, «Песнь крестьянам» — 3 экземпляра и т. д. Всего 147 книг.

Вопрос:

— Почему не кладете на прилавок?

Ответ:

— Старые. Уже никто не спрашивает. У нас вообще для беллетристики и поэзии места мало.

Я уговорил взять весь остаток моих книг на мое чтение, дав одного продавца, но с условием, чтобы были взяты все, т.-е. опрошены и другие магазины города. В других, впрочем, книг не оказалось.

Вот справка Ростовского отделения Гиза:

Название.	Количество полученных экземпляр.	Остаток на 6-е февраля 1926 года.	Остаток после. лекции.
Маяковская галлерея . .	86	—	—
Для голоса	30	—	—
Маяковский издевается .	?	60	—
Люблю	?	24	—
Ленин	200	—	—
13 лет работы I том . .	20	—	—
» » » II » . .	45	18	—
Летающий пролетарий	10	2	—
Стихи о революции . . .	71	—	—
255 стр.	83	15	—
О Курске	50	7	—
Песни крестьянам . . .	5	3	—
Про это	100	17	—
Только новое	15	—	—
Лирика	?	1	—
Рассказ про то, как узнал	175	—	—
	890	147	—

Разошлись все, в чем и была мне выдана расписка.

Я праздновал маленькую, но приятную победу. Значит, при известном антирекламном нажиме, можно 147 книг стихов распространить в один вечер. Радость моя была округлена телеграммой Ростовского отделения Гиза о спешной присылке моих книг по 50 экземпляров каждого названия.

На покое я с удовольствием изучал распространение других авторов. Выяснилось, что многие книги многих поэтов идут не хуже заносящейся беллетристики. Например:

	Получено.	Остаток на 6.II—26 г.
Жаров:		
Комсомолец	160	18
Мастер Яков	250	7

	Получено.	Остаток на 6/II—26 г.
Безыменский:		
Комсомолия	625	115
Как пахнет жизнь . . .	35	—
Демьян Бедный:		
Собр. сочин. I том . .	135	—
» » II » . .	200	2
» » III » . .	100	15

Но, с другой стороны, и ни одному поэту не приходится заноситься, так как у каждого есть книги, требующие индивидуального толкания. Демьян Бедный «1905 г.» получено — 300, остаток — 187; Жаров «Песнь о червонце» — 644, остаток — 196; Безыменский «Иное солнце» — 270, остаток — 136.

Но опять-таки цифра распространения отдельных авторов не показательна для индивидуального спроса и действительной читаемости. Так, например, библиотечный коллектор в Ростове (орган Губполитпросвета), обслуживающий книгой 699 библиотек Донского округа, берет отдельные книги до 300 экземпляров! Имей таких 10 коллекторов — вот тебе и тираж! Сиди и разговаривай о коллективном читателе. Прийтись по вкусу лицу, или органу, комплектующему такие библиотеки, значительно важнее писателю, чем завоевать целый город читателей. Что с него, с города, толку! 200 экземпляров самого распространеннейшего автора — только и всего!

Что дает такая библиотека читателю? Вот поэты каталога передвижной библиотеки смешанного типа, т.-е. для читателя, квалификацией выше, чем первая ступень. Из поэзии:

№ 4 Бедный — Бесы игривые
№ 5 » — Искупление.
№ 6 » — Мужицкий клад.
№ 7 — Собран. сочинений
№ 45 Орешин — Почему из крупных сел..
№ 46 » — С гуся вода.

Вот и вся поэзия!

Интересно, если рабочему и крестьянину после этих книг попадется даже Пушкин, Лермонтов, не говоря уже об Асееве, Пастернаке, Каменском, будут ли они считать и эти книги тоже за поэзию, или у них создастся на это дело свой взгляд, исключающий всякую возможность остаться вдвоем с «никчемными», «туманными» и «непонятными» вещами. Классиков-то, ведь, спрашивают хуже всего!

Скажут, — это агитационный подбор. Судя по остальным отделам библиотеки (369 книг!), каталог подобран далеко не по принципу примитивной агитации. Так, например, в отделе беллетристики «Углекопы»—Золя, «Ткачи»—Гауптмана, «Новь»—Тургенева. По естествознанию—«Физическая география», «Геология» — Гейки. По географии «Африка» — Березина.

Неужели на-ряду с большой беллетристикой и хотя бы после «Африки» нельзя поместить пару наших лириков? Да, надо ж для развода!

Это бесполезно?

Давайте, поговорим.

Но поэтам приятно было бы знать, кто, когда и где по этому поводу разговаривает. Еще отвечают так: но на них есть спрос! Не сомневаюсь. Но этот спрос природный, что ли? Это спрос, сделанный и сделанный правильно. У нас даже на чай во многих местах нет спроса — отучились, привыкли к морковному. Чай и то приходится сопровождать раз'яснительными агитрекламами о пользе настоящего и о вреде суррогатов. Не только должно быть предложение, но надо уметь его подать.

Для меня бесспорен спрос на Демьяна Бедного (особенно в учебную пору), на Есенина (после смерти), на себя самого, — но я не знаю, есть ли спрос на Асеева? Нет ни малейшего предложения! Его хорошую книгу «Совет ветров» я нашел только в Тифлисе, да и то один экземпляр. А стихов Пастернака нет нигде ни в одном экземпляре.

Не трудно иметь спрос «Цементу» Гладкова. Это немудреная вещь, понятно, при любых обстоятельствах и перед сном, и после работы, приемлема любой serединой и скучна только маленькой группе людей, требующей от литературы водительства, переделки жизни, а не плетения в хвосте с фотографическим аппаратом и снимания людей и пейзажей на всех красиво расположенных остановках. А посмотрите, как эта книга подана! Сколько ответственнейших товарищей, по их собственному признанию, лишь изредка берущихся за беллетристику, расхвалили книгу хотя бы со страниц «Экрана». Трудно ли такой разойтись? [1]).

Впрочем, здесь гипертрофия рекламы. Люди, ждущие чересчур многого, отложат книгу не дорезав. Но, может быть, прочли бы ее без рекламы. Зато эта книга удовлетворяет важному требованию — стандартизации искусства. В самый отдаленный пункт республики может быть послан этот роман в разобранном виде, сборка на месте не будет представлять трудности, так как любая комбинация частей дает средний рев-роман, а поломанные части могут быть с легкостью заменены соответствующими строками политграмоты.

Но кто, когда и где спросит Асеева, Каменского, Пастернака, Сильвинского, Третьякова? Книг их нет, или почти нет, газеты не ведут библиографии, толстые журналы, в которых пишут о них, — дороги. На лекциях говорят про смысл жизни, а у библиотекарей хроническое боязливое недоверие ко всему новому.

Мои альтруистические размышления о тиражах чужих книг были грубо прерваны телефонным звонком Ростовского Гиза. Радостный голос сообщал:

— Тот раз ошиблись, покопали — нашли! В Ленгизе еще целых 208 экземпляров!

---

[1]) Редакция считает нужным оговорить свое несогласие с замечаниями В. Маяковского относительно романа Гладкова «Цемент».

Озверелый я потащил «остаток», в полтора раза превышающий основной запас, на вторую лекцию, продал еще 77 экземпляров. Остальные уговорил полностью положить на прилавок. Неожиданность: за первые же несколько часов помещения на видном месте «старых книг» они были проданы в количестве 36 экземпляров!

В награду за свое торговое рвение я получил новую записку, гласящую:

Справка:

«По приезде тов. Маяковского было запрошено бывш. отделение «Ленгиза», в котором ответили, что книг Маяковского нет. Через три дня, при повторной справке, были обнаружены (!) следующие книги:

	Количество.	Прод. на лекции.	Остаток на 11/II	
1. Только новое	86	16	59	11
2. 255 стр.	9	5	1	3
3. Ленин	52	18	10	24
4. Война и мир	28	21	1	6
5. Песнь рабочих . . .	10	1	8	1
6. Песнь крестьян . . .	7		6	1
7. 13 лет работы	7	7	—	—
8. Стихи о революции .	4	4	—	
9. Париж	5	5	—	—

Кроме означенного остатка ни в одном магазине Гиза в Ростове нет ни одного экземпляра. Тираж проданных книг — фактический, так как они полностью проданы в Ростове. Книги, указанные в последней графе, проданы за 1 день, как только они были выложены на прилавок».

(Подпись зав. магазином).

Если сами хозяева магазина не могут в течение трех дней разыскать такое кругленькое количество, то как найти один экземпляр простому покупателю? Постоять в магазине дня три? Подумаешь, важная покупка — поэзия!

Зато повысилась и продажа — всего 257 экземпляров за пять дней — совсем не плохо.

Краснодар снаружи — наоборот. Все книги на витрине. До того на витрине, что сначала даже не хотят для продажи снимать, — что мы тогда выставлять будем — это же образцовые!

Общее мнение — поэзия не идет.

Жалко — большой книжный район. На одной прямой улице два магазина Гиза, да штук десять других: «Зак. книга», «Военное», «Прибой» и др. Шлют в Новороссийск, на ст. Кавказскую и в десять магазинов на контрагентских началах в округе.

Прошу цифрами подтвердить, что значит — не идет. Цифр достать нельзя. Карточки только заводят. Получение можно проверить — по наклад-

ным. Долго, дней семь-двенадцать по каждой книге. Значит, на 14 книг, имеющихся в продаже (по каталогу Госиздата), надо этак 140

«Но и при таких условиях, — грустно заметил торгующий, — еді получите точные данные. Присылают книги просто: сумма и количе в авторах не всегда разберешься. Иначе говоря, легко может быть т факт: Высылают в Краснодар 100. Из них 95 Троцкого и 5 Доро Троцкий расхвачен. Тощий Доронин лежит украшением, а в Москву ш телеграмма — пришлите еще! Предыдущий присыл распродан полно (Подпись.) Шлют снова 95 Троцких и пять Дорониных, пока не разс шиеся пятерки Доронина составят в складе залежь, достаточную для теста! Тем временем Доронин радуется. В Госиздате подбадривают: і послали, а сегодня опять спрашивают.

Может быть, и обратная картина. К 95 Санниковым приложили Асеевых. Незаметно, в самом магазине взят давно невиданный А Но гордо возвышается Санников, и когда через месяц кто-нибудь спотк о нераспечатанную груду, пошлют Москве телеграмму — предыдущие к легли камнем. Воздержитесь от подобных присылок. Зав. — Вот ви скажут Асееву, мы же вам говорили... на поэзию нет спроса!

Почему такая история невозможна? Осталось подсчитать имеющ в магазине книги и тащить их на торжище. Вот краснодарская справк

Название.	Количество.	Остаток после лекции.
Песни крестьян	3	—
Только новое	56	—
Для голоса	4	—
Люблю	5	—
Мистерия Буфф	15	—
Ленин	24	
Песни рабочих	6	—
О Курске	2	—
Маяковская галлерея	8	—
	123	—

Мимоходом и все 26 оставшихся «Лефов» продали. После справки писка: «Все книги Маяковского в Гизе Краснодара распроданы».

Из Краснодара я уехал спешно. Интересно, сколько экземпл найдено там после моего от'езда? Скажут — ваше движение — это от лек Конечно. Но, ведь, есть и другие способы продвижки.

А в Краснодаре даже обычные торговые плакаты Гиза я видел в щими рядком на стене вперемежку с Луначарским, да с Энгельсом. Очеви и эти плакаты рассматривались, как фундаментальная вещь, нужная многолетнего украшения оседлой квартиры.

Я не буду дальше выписывать дальнейшее движение книг по лекц Оно однообразно — берут обязательно 10—15% присутствующих. То в Баку, то же в Тифлисе.

В Баку опять: поэзия не идет. Осматриваю прилавок большого магазина «Бакинский рабочий». Всего умещается 47 книг. Остальные на полках ребрами. Из умещенных — 22 иностранных: Андри де-Ренье, Локк, Дюамель, Маргерит и др. Русский, так и то Грин. И то по возможности с иностранными действующими и лицами, и местами. Из стихов только одна книга: Маяковский «Стихи о революции», изданная в 1922 г. (!) и благополучно числящаяся разошедшейся (!) в двух изданиях (!). Уже у издательства этой книги давным-давно нет.

Меня интересует, что с такого прилавка возьмет действительный бакинский рабочий? А, ведь, этого рабочего там 150 тысяч человек и какого рабочего! С ежедневным театром, с просьбой устроить литвечера в 12 районных промысловых клубах! Почему же старые стихи о революции? Где «Париж»? Где «Ленин»? Нет и не было! Журнал «Леф» был? Был, но сколько — найти трудно. Скажут — при чем «Леф»? Туда бы «Кузницу»! Была, но разошлась тоже в двух экземплярах.

Зато есть книжка «Лыжный спорт».

Это правильно, если нет снега, то пусть хоть будет журнал, и то освежает. Об этом обычно рассказывается весело, как об анекдоте. Случись такой анекдот с частным торговцем, выписавшим книги за наличный расчет и получившим в Баку «Лыжи» или «Лен». Я представляю себе видик этой драмы! Хозяин заперся. Приказчики ходят на цыпочках. Мальчишка носит на телеграф ругательную телеграмму за телеграммой. Вечером скандал жены: «Каждый день ты мне обещаешь новую шляпу, а теперь опять отбояриваешься, знаю я эти «Лыжи», говори прямо, где пропил!». Такому второй раз не пришлешь. А тут — ничего, ходим, посмеиваемся. Скучно же без курьезов!

А «Льну» тоже ничего: доехал до Баку и обратно едет в Москву с отпускными красноармейцами. Хорошей книге тоже приятно 7.000 верст проездить. Она все равно и потом разойдется.

Прочтя о моей борьбе за какие-то 100—200 экземпляров, именитые прозаики могут поморщиться — продадите, так то же не тираж. Мимоходом — дела массы беллетристов одинаково не блестящи. Вот сведения о трех (Тифлис на 27 февраля):

		Получено.	Осталось.
Серафимович:			
	Живая тюрьма	60	30
	Ледоход	35	25
	Снежная пустыня . . .	65	33
Неверов:			
	Андрей Непутевый . . .	125	65
	Мишка Додонов	100	30
	Рассказ для маленьких .	75	30
О. Генри:			
	Горящие светила	150	—
	Шерст. кошечка	150	—
	Черный Биль	150	—

Безотносительно к упомянутым, но вообще о странности в расхождении может пояснить такая выписка. Это из письма Закниги одному из издательств в Ленинград:

«Что же касается отдельных ваших изданий (городских), то наш спрос много превышает установленную разверстку (например, политсловарь, Невский «История РКП» и др.), с такими изданиями мы и впредь можем работать широко. Но мы, повторяем, абсолютно лишены возможности работать с литературой крестьянской и популярной, так как наши крестьяне по-русски не читают и так как эта литература, помимо указанных причин, попадает в нашу разверстку без всякого учета наших об'ективных потребностей и местных условий, на случай, если бы наше крестьянство вдруг выучилось читать по-русски. К примеру, вы посылаете нам книгу: «Как самому сделать хомут» (у нас крестьяне работают на быках, на которых хомут не напялишь), или: «Простой способ получить двойной урожай озимой ржи» (которой у нас не сеется), или: «Как найти воду» (воды у нас достаточно, и искать ее не приходится), или: «Использование торфа» (его у нас нет) и т. д. Надеемся, что вы согласитесь, что посылать нам подобную литературу — все равно, что посылать в Венецию велосипеды».

Скажут — ведь это же не беллетристика! Беллетристика шлется так же. Ведь лежали же в Тифлисе мои крестьянские агитки «Вон самогон» в 300 экземплярах. Числятся, как стихи. А грузины читать ее не хотят, и правильно, потому что уж более тысячи лет пьют одно кахетинское.

Выводы. Вывод один: неизвестно. Что неизвестно? Все неизвестно.

Неизвестно, кто идет, неизвестно—как идет. Неизвестно—идет ли тот, кто распродан. Неизвестно—распродан ли тот, кто идет. Неизвестно—кто идет самой книгой. Неизвестно—кто двигается рекламой. И, наконец, когда все известно, то неизвестно—получена ли эта известность на основании правильных или случайных цифр. Причин неизвестности много.

Здесь я говорю только об одной — о самих издательствах и об их торговых аппаратах. Книга издается без всяких реальных данных о необходимом ее количестве. Изданная чрезмерно, она рассылается в порядке своеобразного принудительного ассортимента — затоваривая места. Изданная недостаточно, она торопливо переиздается, при чем в удвоенном количестве. И когда от этого чрезмерного количества остается следуемая толика, создается ложное впечатление о лежке книги.

Теперешняя книга, даже поэзия, часто календарна. Пишутся по кампаниям даже поэмы. Есть майские, есть октябрьские, есть туркестанские, есть кавказские. Такая книга никогда не издается к сроку, а, даже будучи приблизительно точно изданной в центре, попадает в провинцию уже безнадежно устаревшей. А если и не стареет, то заваливается вновь до следующей даты поступающей учебной и политической книгой.

Фантастическая статистика, при которой разосланная с центрального склада книга может при желании считаться разошедшейся, а о разошедшейся не получишь сведений и через три месяца, так как послана она и в кредит (свои отделения) и без фамилий.

Применительно к поэзии ничем не об'яснимый выбор издаваемых книг и отношение к уже изданной, как к тормозящему больше масштабную работу чистенькому сору. При перевязке больших пачек особенно хорошо идет на углы.

Издание тяжелых каталогов, совершенно негодных к ежедневной ориентировке печатающих заглавия, уже распроданных книг, разумеется, не поминая о новых.

Перенесение планитаризма первых годов революции на ежедневную торговую работу. Я принужден был продавать стихи на собственных вечерах только ввиду утверждения Гиза о полном отсутствии на них спроса. Я начал торговать только с Ростова, где прошло всего 2.350 слушателей. Дальнейшая продажа показала, что 10—15% слушателей обязательно покупают книгу. До Ростова был Киев. Киев пропустил 5.660 слушателей. И это не первый год — лет пять под-ряд. Хоть один раз за эти годы сам Госиздат догадался продавать на вечерах книги? Конечно, нет. Это мелкое дело. Но, ведь, не испробовав этого мелкого, и меня обвиняют в нерасхождении, снижая до 2.000 тиража. Врете! В год я пропускаю 60.000 слушателей своих вечеров в разных городах Союза. 10% слушателей (минимум!) покупает книги. Если бы Госиздат продавал мои книги только на моих вечерах и то бы он продал 6.000 — средний мой годовой тираж по Гизу.

Правда, устройство лекций, личные автографы, — это не всем доступные сложные способы продавать книгу. Но разве нет других способов? Сколько угодно: вечера книги, библиографические фельетоны, организация специальных писательских вечеров и т. д., и т. д.

Не пойдет. Не правда! Ведь умеет же «Огонек» пропускать все книги с минимальным тиражем в 15.000 экземпляров. Даже стихи. И Безыменского, и Маяковского, и даже Инбер.

Скажете — цена, понизьте цену. Сколько мы видим на обороте беллетристики переправленных цен. Был полтинник, поставили рубль, было тридцать, поставили шестьдесят. Это значит, что рассчитывали издать 10.000, а издали 5.000, и все расходы—гонорар, обложка и т. п.—механически перенесли на мелкий тираж. Цена удваивается, покупка уменьшается. Следующую книгу издают вдвое меньшим тиражем. Удваивается снова цена и снова двойное снижение спроса. Выход один — попробовать издать вдвое большим тиражем по максимально низкой цене. Хорошей книге это очень помогает.

И, наконец, надо повысить квалификацию кадров торговцев. Вы приходите в кондитерский магазин купить пирожного. Войдя, видите: что с пирожного слетает 8 мух, вы брезгливо перерешили и потянулись к плюшкам. В это время ласковый голос продавца: «купите баранок, удивительная вещь к чаю, с маслом просто ничем не заменимо». И вы выходите со связкой баранок, которые не приходили вам в голову год и которым в данную минуту больше всего рады на свете.

Книжный продавец должен еще больше гнуть покупателя.

Вошла комсомолка с почти твердыми намерениями взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль с серой обложки:

— Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь вам предложить Сальвинского. Та же тема, но как обработана!? Мужчина. Но только это все временное, за этой передышкой опять начнутся революционные бои. В мировом масштабе! Поэтому напрасно у вас остыл интерес к доблести армии, попробуйте прочесть вот эту книгу Асеева (слыхали, конечно?). Марш! Тем более обложка так идет к цвету вашего платочка.

Надо, чтобы комсомолка гордо выпрямилась и радостно ушла с Асеевым. Познакомились. Представлен. А дальше — его — Асеевское дело. Дрянь, конечно, никакое покровительство не спасет.

Цель моей беглой заметки — приободрить поэтов. Поэтов винили много. Они совершенно достаточно изруганы критикой. Поэтические перемены мало влияют на тираж. Возможно, не в поэтах дело. Попробуем, временно оставив поэтов в покое, с такой же страстностью обрушиться на продающих.

Первое — надо установить личную ответственность ведающих торговлей за распространение до известного предела всех поступающих к ним книг.

Товарищи-поэты, последите временно сами за движением своих стихов!

Дмитрий Андреевич Фурманов.

Иван Евдокимов.

Дмитрию Фурманову было немного больше 30 лет. Он вступал в тот возраст, когда духовные и творческие силы писателя развертываются полным цветением. Он только начинал. Он не обольщался внешним успехом, который пришел к нему с «Чапаевым» и «Мятежом». Он любил эти свои ранние вещи, но он видел их недостатки. Тщательно коллекционировал Фурманов многочисленные отзывы и статьи о себе, но в нем не было чувства самолюбования, он мало поддавался на похвальбы и скорее останавливался на отрицательных указаниях критики. В последние месяцы он перерабатывал «Чапаева». Надо видеть эти исчерканные и перечеркнутые страницы печатного экземпляра «Чапаева», нуждавшиеся в переписке от руки самим автором, чтобы понять, как был уже требователен к себе растущий художник. Смерть оборвала эту работу... И самое тягостное в этой смерти то, что она отняла у советской литературы, может быть, будущего подлинного художника, а не того публициста-мемуариста, какой уже был достаточно популярен и известен читателю.

Дмитрий Фурманов, как писатель, был у истоков своего развития. Он на виду учился, жадно следил за литературой, любил литературу совершенно фанатически и был привязан к ней, может быть, как никто другой из современных писателей.

Будучи в организации МАПП'а, он не замуровывал своих симпатий пределами только этой организации. Фурманов был широк и об'ективен. И даже больше — он зачитывался попутчиками: Леоновым, Бабелем, Есениным, Пильняком и др. Он считал, что у них надо учиться «мастерству письма» пролетарскому молодняку. И он сам поддерживал самые близкие, товарищеские отношения с попутчиками.

На фоне литературного верхоглядства и самомнения, вредоносно отражающегося на молодняке, Дмитрий Фурманов резко выделялся, как вдумчивый, серьезный, много работавший над собой художник.

Начав с серых и малозначительных рассказиков, он написал первую свою большую книгу «Чапаев», в которой уже были такие сильные художественные страницы, как «Пилюгинский бой», как образ Еланя (Ковтюха), как «бабы в станице», как «расстрел белогвардейских офицеров». Следующей, технически более выдержанной книгой был «Мятеж» с талантливыми описаниями природы Семиречья, с кусками подлинной художественной значимости в изображении героического семидневного столкновения в Верном революции с темными солдатскими массами. Дальше идут путевые очерки о Крымском побережьи, незадолго до смерти его изданные «Молодой Гвардией» отдельной книжкой под названием «Морские берега», затем очерк «Талка», «Как убили Отца» и «Фрунзе под Уфой».

Последние работы были написаны в 1925 году — и, конечно, с точки зрения художественной изобразительности они есть самое лучшее, что успел написать Фурманов.

Помню, как с сияющими глазами он говорил, обсуждая многие страницы этих работ:

— Вижу, что стало меньше воды, меньше газеты. Вот только теперь начинаю понимать, как надо изображать. Переделаю от корки до корки «Чапаева» и «Мятеж». Теперь я их напишу лучше. Я сделал ошибку. Надо было погодить выступать. Надо выступать сразу со значительной вещью, а то потом стыдно. Стыд мне заливает щеки, когда я перечитываю свою книжку «Штарк». Ну как, ну как я не понимал тогда!

И как вывод — переделка «Чапаева» скрупулезная, почти заново. Надо задуматься над значительностью этого факта: «Чапаев» разошелся в сотнях тысяч экземпляров, автор «захвален», «горячие критические головы» возвели произведение в «перл создания», а сам автор мучительно работает над каждой строкой, пишет заново «знаменитую» книгу, строит планы переделок «Мятежа» и обдумывает большую эпопею гражданской войны, которую намеревается «сделать» исключительно в художественном плане с вымышленными героями и героинями, отказываясь от мемуарного метода, за который его больше всего превозносили.

Смерть унесла от нас художника.

Все свое внимание, все урывочные досуги, остававшиеся от большой Госиздатской и партийной работы, Фурманов отдавал литературе. Жил он замкнуто, оберегая каждую свободную минуту для литературной работы.

Из такой напряженной работы, какого-то беспрерывного горения словом, неизбежно должен был получиться соответствующий результат. Это были в нем навыки революционного бойца — комиссара Чапаевской дивизии и предвоенсовета Верпинской дивизии — неустанная, горючая, железная работа. Когда сложено было оружие в козлы, Фурманов перенес в литературу революционные навыки и упорство.

Вот, может быть, потому так и «заражают» читателя художественно несовершенные его книги «Чапаев» и «Мятеж», что в них Фурманову удалось отразить свое революционное возбуждение, удалось передать частицу своего упорного и героического сердца.

Насколько в этой монолитной натуре соединились писатель и боец, припоминается такой случай. Во время одного литературного разговора кто-то сказал:

— А как же твое писательство, если, например, опять начнется война?

Фурманов как-то выпрямился весь и значительно, серьезно ответил:

— Какие тут могут быть разговоры? Рукописи в архив, под замок. Писательство — это дело мирное. Я стал бы проситься на фронт.

Болея, умирая, задыхаясь от высокой температуры в течение десяти дней, он словно и тут сознавал себя на фронте, у него не вырвалось ни одной жалобы, стона, только крепко сжались тонкие губы и слезились тускневшие глаза, «ничего у меня не болит, — твердил он, — мне только трудно говорить» и скромно вздыхал, тая боль от близких.

Перед тем, как впасть в бессознательное состояние, длившееся 66 часов до смерти, он потребовал, чтобы его подняли на кровати. Он ясно и твердо сказал:

— Для меня все стало отчетливо ясно. Не колите мне напрасно руку (впрыскивали камфару. *И. Е.*): наука отстает от природы.

Этот человек с могучей жаждой жизни, несший на своих плечах трудную и непосильную работу, страдавший в последний год неврозом мозга, умерший от менингита, не дрогнул перед неизбежным человеческим концом.

Когда за несколько часов до смерти, ночью, из комнаты его раздавалось тяжелое дыхание, он уже был обречен, близкие ему люди молчаливо слушали последние проявления бесполезной борьбы за жизнь, вдруг за тонкой перегородкой у соседей заглушенно запел чей-то мужской отцовский голос, убаюкивающий ребенка.

В этом был какой-то многозначительный символ жизни: один умирает, другой приходит.

Если бы Фурманов мог слышать, мог говорить в эти минуты — он попросил бы отца, укладывавшего своего ребенка, петь громко.

Над трупом этого писателя-революционера надо сказать: мы зарыли физического Фурманова, духовный Фурманов остался жить в его книгах, он будет влиять на идущие за нами поколения своими революционными «мемуарами», он будет воспитывать в будущем таких же цельных монолитных энтузиастов жизни, каких создала наша эпоха, плеснувшаяся в его книгах. А его книги будущему великому художнику послужат драгоценным материалом для изображения гигантской эпохи, в которой мы живем, которую не можем чувствовать за ежедневностью и даже обыденностью явлений и которую почувствуют наши потомки в исторической перспективе и великом молчании законченного периода.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Всеволод Иванов. Гафир и Мариам. Рассказы. «Круг». М. 1926 г. 253 стр.

Когда писатель, шедший в литературе с одной весьма определенной миной, начинает менять выражение своего лица и дает несколько различных гримас в одном и том же сборнике, то это естественней всего квалифицировать как переломный момент в истории писательского дарования и пытаться установить направление и сущность этого перелома. Сборник Вс. Иванова дает рассказы, во многом различные и характеризующие настоящий этап его творчества в нескольких различных отношениях.

Прежде всего, Вс. Иванов пробует здесь перо на легком сатирическом и юмористическом жанре в рассказе «Чудесные похождения портного Фокина». Портной Фокин путешествует по заграницам в поисках «штатского фасона», потому что Фокин — пацифист. Перед читателем мелькают фигуры польских жандармов, немецких фашистов, русских эмигрантов в Париже и проч. в довольно удачной, не столь сатирической, сколь юмористической зашприховке. Тонкое и сложное, нигде не ослабевающее остроумие иногда подернуто некоторым налетом трагизма:

«А так, что всех большевиков и коммунистов кончают тут незамедлительно, и через это ждет Моисей Абрамыч, мой хозяин, ждет моей смерти и не платит мне жалованья, — родным, говорит, твоим заплачу, а родные, перепугавшись моей большевицкой смерти, возьмут и не приедут, и останется у него, пан, мое жалованье... И к радости скажи моей, пан, скоро русские на Варшаву пойдут?»

В конечном итоге, однако, рассказ о Фокине не больше, как «шалость пера». В нем не чувствуется серьезности авторского отношения к этому жанру, сколько-нибудь глубокой сатиры в этом рассказе нет.

О событии можно рассказать, а можно его и изобразить, воспроизвести на бумаге средствами словесного искусства. Воспроизводить людей и события (описывать, изображать) — это было делом Вс. Иванова «Партизан», «Бронепоезда», «Цветных ветров». В порядке такого же художественного воспроизведения написано и большинство рассказов настоящего сборника. Воспроизведено «Происшествие на реке Тун» — из менее удачных вещей сборника, с весьма дурного вкуса игрой на реализации сновидения, притом без заметного подновления этого мотива. Воспроизведено «Орленое время», «Хабу». Но вот повесть о Фокине уже рассказана. Рассказан, превосходно рассказан также случай под названием «Гафир и Мариам». Начало его— в традиционной интонации рассказа: «Лет этак десять тому назад на одной из улиц Лещинска»... В дальнейшем дается и язык разговорный с характерными для него небрежностями выражения: «Авраам вместо лужения занимается рыбой и мануфактурой». «Сукно тонкое теперь не носят, — как разглядишь настоящего жениха? И к тому же вместо того, чтобы ехать в Минск, она желает в Москву». Написанные от первого лица — маленькая и чудесная «Встреча» и «Когда я был факиром» по существу, однако, тоже не рассказы, а «воспроизведения».

Еще один признак, характерный для настоящего момента эволюции Вс. Иванова. При чтении прежних его вещей представлялось, что Вс. Иванов берет больше природной своей сырой талантливостью, больше натурой, чем мастерством. В настоящем сборнике ряд моментов свиде-

тельствуют уже о другом — о рассчитанном мастерстве. В «Орленом времени» в порядке такого вот эстетического расчета сделано попутное сопоставление ч у ж о г о в деревне Колудино Ефрема, которого деревня эта сначала обижает, а потом реабилитирует, с ч у ж о й собакой, которая в начале рассказа терпит побои за свою беспризорность, а в конце — чувствует себя как дома. Некоторые моменты кажутся сделанными прямо по теории — в согласии с принципом «локализации образа» у московских конструктивистов: «Прославился Ефрем Шигона шубным своим клеем»; а дальше: «такое и житье свое склеил»; «эх, и жизнь ты моя, и почто ты расклеилась». В другом рассказе: — «Медник и циник Авраам Кашевец», а к дочери его Мариам «стали присаживаться казаки с подбородками, гладкими как чайник, и кипящие страстями, как свеже вылуженный самовар».

Переход от натуры к рассчитанному мастерству — в пользу Вс. Иванову, потому что в основе у него все же остается натура, только организованная. Мастерски написанный рассказ «Гафир и Мариам» почти не дает ни промахов, ни натяжки, при чем в этом рассказе Ивановым мобилизовано не только изобразительное, но и композиционное его мастерство. Превосходен здесь (да и в других рассказах) диалог, особенно — ночной разговор Тата с Маймулдой.

Одно свойство Вс. Иванова остается за ним неизменно и в рассказах этого сборника — это объективизм (о котором много сейчас спору). И больше всего это относится к наиболее весомой вещи сборника: «Хабу». Здесь объективизм доведен до темноты — так отсутствует здесь авторское «освещение» вещей, людей, событий. До Лейзерова никакими средствами невозможно добраться. На нем ни одной краски, — только рисунок, только силуэт. Разумеется, Лейзеров — незабываемая фигура, но кажется, будто Всеволод Иванов в этом ни насколько не повинен, и только он, Лейзеров, сам за себя отвечает. Весь рассказ передан вам по телефону — в телефоне часто не узнают по голосу даже друзей.

Н. Юргин.

Вл. Юрезанский. Зной. Рассказы. Государственное Издательство Украины. Харьков 1926 г.

Первая книга рассказов Ю р е з а н с к о г о «Ржи цветут» вышла в 1924 году в г. Виннице. Перед нами теперь вторая его книга.

Материалом для рассказов здесь автор берет уже современность, и это, конечно должно усугубить интерес читателя к ней. Книга написана светлыми, легкими, акварельными красками. Словом автор владеет, как искусный скрипач своим смычком: звук получается всегда художественно точным, математически-музыкальным. В наши дни такой писательский язык, как у Юрезанского — редкость. С этой стороны у автора все данные, чтобы стать большим писателем.

Но внутренне — Юрезанский крайне субъективный писатель, ограничивший себя выбором материала и его окраской. Он — лирик прозы. Его герои, это всегда его с о б с т в е н н а я человеческая норма, которую он и наделяет различными переживаниями. Автор никогда не рисует людей-уродов, он никогда не покажет, отталкивающих читателя, отрицательных переживаний. Автор не ощущает загруженности человека вещами, не видит отвратно-бытового мещанства, людской «социальной» извращенности. И все различие в людях — это лишь их разная приближенность к глубине жизни, к ее прекрасным, космическим зовам. Мир, по автору, это — «огромный, непостижимый океан, прекрасный, волнующий, который всегда таинственно и чудесно бьет в человеческое сердце своими волнами».

Мироощущение ни с какой стороны не может быть квалифицировано, как отрицательное. И в основе оно для художника очень благотворно. Но благодаря о д н о т о н н о с т и и однокрасочности, благодаря отсутствию у Юрезанского характерности и типичности при его зарисовках людей — оно становится слишком безмятежным и порой завидно-идиллическим.

Наш мир, это — осажденная революционная Троя. Ну, может ли троянца безраздельно захватить книга, где эта троянская война изображается всего лишь, как волна вечного, мирового прибоя? Она

справедливо покажется ему вкусной, но досадно несоленой пищей. Одну бы щепоточку острой, крепкой, по современному, приправы — и какую силу и вкус обретет читатель в талантливом рисунке Юрезанского! Эта соль должна быть найдена автором в более резкой стройке сюжета, нахождения еще более типичных и характерных фабул, выдвижения на свое полотно более разнородных людей.

А у автора есть это здоровое ощущение подлинной, многоликой и неидиллической жизни. Есть вера в ее неистребимый, неиспользованный запас сил.

Об этом свидетельствует первый рассказ книги «Зной». Он может быть и автором и другими молодыми беллетристами взят за образец того, как надо «художественно» обнаруживать в людях их социальную суть.

Сущность героини — Татьяны Алексеевны, жены инженера — дана читателю не зарисовкой плакатно-отрицательных ее черт, — с этой стороны внешне она кажется очень человечной и симпатичной, — а ее отношением к чувству любви: там, где рабочий Плотников берет жизнь цельно и глубоко, она оказывается тонко и хитро расчетливой, по существу — трусливой, пустой и бесплодной, «игрушечной, кукольной», как правильно думает о ней Плотников.

В других произведениях, к сожалению, отсутствует этот глубокий социальный стык людей. Даже в рассказе «Могила в огнях», написанном прекрасно, где взята острая фабула из гражданской войны: крестьяне убивают пятнадцать человек-продотрядчиков, — автор весь фон второй половины рассказа покрывает изображением тоски и боли Мережина по поводу смерти своего друга. И позыв к мести у героя слишком субъективен. Не борьба, а житейский испуг.

Очень хороши сами по себе рассказы в книге «Человек» и «Мед». Описание дня пятилетка Бори в первом из них дано местами в «классических» тонах.

Юрезанский, несомненно, писатель с будущим. Вторая книга его неизмеримо больше первой. Он еще не может быть назван большим писателем, да их и нет еще среди молодых беллетристов. А ему для этого недостает смелости в подъеме больших и острых по глубине тем, но он несомненно — писатель. Писатель со своим внутренним ликом и крепким и хорошим словом.

Книга издана очень хорошо, но цена, 1 р. 45 к., кажется все же высокой. Это, повидимому, вызвано небольшим тиражем издания — 3.000.

В. Правдухин.

Бор. Пильняк. М а т ь с ы р а-з е м л я. Повести и рассказы. Изд. «Круг». М.—Л. 272 стр.

Основными вещами этой книги по художественной значимости и объему являются повести «Мать сыра-земля» и «Заволочье», о которых мы уже писали, когда они появились в Круговских сборниках. К данной положительной оценке прибавить по существу нечего. Хочется лишь отметить, что повторное чтение этих повестей оставляет такое же выгодное впечатление, как и первое с ними знакомство.

Значительно ниже по качеству и содержанию остальные работы, напоминающие, без всяких оттенков новизны, старого давно знакомого Пильняка. Формально — здесь излюбленные приемы писателя: смещение сюжетных планов, обилие цитат из старых книг и дневников. Темы тоже кажутся давно использованными. Вот почему и «Старый сыр» — о первых днях революции, и «Ледоход» — эпизод махновщины кажутся устаревшими этюдами к давно написанным полотнам. Совершенно выпадает из обычного пильняковского стиля «Смертельное манит» — рассказ, помеченный 18-ым годом, в котором автор продолжает традиции чеховского письма. С невыгодной стороны показала себя чрезмерная любовь Пильняка ко всякого рода цитатам в «Числах и сроках».

Чтобы сказать несколько слов о князе Кирилле Дасиевиче Смоленском-Порреченском, вместе с урядником в первые хаотические дни революции обиравшем проезжавших мимо его поместий крестьян, писателю понадобилось, без всякой сюжетной необходимости, делать выписки из X тома свода законов и какой-то

древней поваренной книги. — Надо умерить Пильняку этот «археологический» аппетит: — он не всегда у места.

А в заключение вот что: — как бы ни был интересен художник, он должен стремиться к преодолению самого себя. Бесконечные повторения хотя бы и очень хороших оригиналов расхолаживают внимание читателя.

Федор Жиц.

———

Даниил Крептюков. Поджигатели. Повести и рассказы. М.—Л. Гиз. 1926. 228 стр.

Формалисты придумали принцип затрудненности речи, как один из отличительных признаков речи поэтической от практической. Нужно-де задерживать читателя на каждой фразе, на каждом обороте речи, чтобы он успел всласть налюбоваться этим оборотом, этой фразой. — Если этот принцип применять к каждому произведению художественного слова, как абсолютное и обязательное без всяких исключений требование, то, разумеется, он не верен; просто, есть жанры, где нужна речь легкая, быстрая, сигнализирующая, и затрудненная речь нарушила бы жанр. Кроме того, в литературной эволюции изменяются не только приемы художественного творчества, но и принципы: сегодня для некоторых жанров это нужно, а завтра для них же — нельзя, и, может быть, нужно для других жанров, может быть, и ни для одного не нужно.

Но помимо всего этого (обращаясь уже не к теоретику литературы, а к писателю) нужно сказать, что в речи каждая фраза должна иметь основание, иметь право на затруднение. Надо, чтобы читатель, задержанный на фразе, был вознагражден за эту задержку той красотой, ради которой автор его задерживает.

Многие современные писатели чрезвычайно злоупотребляют принципом затрудненной формы. Даниил Крептюков — в их числе. Он пишет с нарочитой тяжеловесностью. И слишком часто он обманывает доверие к нему читателя. Он походит на человека, говорящего со значительной миной тривиальные вещи. Если писатель ставит в неурочном месте двоеточие, то эта графическая «значительная мина затрудняющая восприятие фразы, об зывает к тому, чтобы и содержание было значительным. «А по деревням дома в дом ходила смерть. Видели ее: — говорит Крептюков и ставит двоеточие: — с косой ходила». — Видали вы когд нибудь в своей жизни смерть без косы Ни на одной картинке не видывали! — Кроме двоеточий и других знаков пре пинания значительную мину Крептюко строит при помощи неестественной рас становки слов, экспериментов со словарем перерыва фразы и т. д.

Бывают, впрочем, люди, значительна мина которых делает чудеса: она банально превращает иногда даже в парадоксальное Америку умеет открыть в тысяча первый как в первый раз. Может быть, самое высокое искусство и заключается именн в этом: обыденные в жизни вещи возвест в степень значительных вещей. Но тольк едва ли достижимо это теми чисто внешними и обнаженно-искусственными средствами, к которым прибегает Крептюков и многие другие; той подхлестнутой патетикой, которая воспринимается только как досадный посторонний гуд, не трогающий ныне и младенца. Особенно, если сюда присоединяется «Коса смерти», или вот это:

«Плечами дергал Микиша, залезал пальцами, жесткими, закорузлыми в голову. Рылся там долго и внимательно. Разинув рот, перекосив челюсти, — в носу ковырялся вдумчиво, словно решая неотвязный, как болячка гниющая, вопрос...

«Был Микиша прост, наивен, непосредственен, как среда, взрастившая его».

Тоже знакомо. Вспоминаете картинку? Мужик чешет у себя в затылке, это значит — мужик думает! Потому что он: «прост, наивен, непосредственен»...

Эта манера чрезвычайно портит рассказы Крептюкова. Все они выходят у него зачесанными под одну гребенку — вернее в данном случае под одни и те же грабли. А между тем, бесталанным этого писателя назвать нельзя. Все-таки его роман «Попы и подпопки» вовсе не плохой роман. Да и в настоящем сборнике есть рассказы, которые могли бы быть не плохими («Обстоятельные люди», «Ваганва», «Ляхкоминэ», «Ван-Ден-Шин из Чан-Ли»). Инте-

ресен материал, использованный автором: русский север во время гражданской войны; Архангельск, Вологда, Карелия.

Н. Юргин.

Д. Четвериков. Бурьян. Повести. Изд. «Прибой». Л. 190 стр.

Пресная книга Четверикова вызывает полнейшее недоумение. Кому нужен этот передвижнический бытовизм, совершенно не проработанный искусством? Никому абсолютно. Пусть совершеннейшая правда в том, что описывает писатель. Но нельзя же ведь без отбора совать в книгу все то, что мелькает перед глазами. От писателя даже и со скромными средствами мы вправе требовать некоей преображенной правды, поворота жизненного факта таким образом, чтобы на нас глянуло наиболее типическое, что в нем заключено. «Опять азбучные истины преподносит нам критика», — скажет недовольный читатель. Не наша вина, отвечаем, что писатель наших дней растерял элементарнейшую писательскую грамотность. Азбучные знания порождают необходимость повторения азбучных истин.

Нечто похожее на мастерство пытается дать автор в «Алексее Сакулове», истории одной писательской карьеры.

Не выразителен «Ирбит» — повествование о первых днях революции в далекой провинции с примазавшимися к ним земскими начальниками.

«Веденьковский клуб» — стенная газета, заполненная одним человеком.

«Бурьян» — беспомощный лепет о беспризорных.

Книжка Четверикова «Сытая земля», о которой мы когда-то писали и в которой отмечено было несколько неплохих рассказов, давала право думать, что автор более вдумчиво и строго отнесется в дальнейшем к своей работе. — «Бурьян» этих надежд не оправдал.

Федор Жиц.

Московский Альманах. Книга первая. Изд. «Московский Рабочий». Москва—Ленинград 1926 г. 327 стр.

В противовес Архимеду, искавшему точку опоры, чтобы опрокинуть весь мир, беллетристы и поэты из «Московского Альманаха» ищут точек опоры, чтобы утвердить, конечно, не весь, а только советскую часть мира. И хотя авторы, повидимому, не сговорились по этому поводу, так как сборник не предварен на сей счет никакими широковещательными манифестами, но жажда художественного утверждения проходит через весь альманах.

Константин Минаев в повести «Змеевка» избрал точкой опоры новичка-селькора, с кропотливой добросовестностью проследив его мытарства на одной из неутоенных ненакатанных дорог деревенской общественности. Маяковский в стихах о «Флаге» отыскал шпиль нашего парижского посольства, чтобы утвердить на нем «в серпе и молоте ситцевый стяг» и рассказать читателю, как на одном конце Парижа «Интернационал через забор махнул и пошел гулять по кварталам», а на другом кошачий концерт завыл и поэту крикнуть хотелось: «Орете не вы, а долги орут». Лев Никулин в повести «Гнилое лето» наметил две точки приложения для своего художественного рычага, при помощи которого он пытается извлечь прообраз советског мира из «гнилого» хаоса 17 года. То он упирается в подпольщика, чахоточного политкаторжанина, сына паровозного машиниста, то в артиллерийского прапорщика — фронтового большевика. Н. Асеев, сверяя прошлое Ленинграда с его настоящим, проектирует опорную базу его мощи в будущем. Любовь Копылова математически прощупывает точку опоры советского мира в собственном сердце, «вздрагивающего бубном», когда «по улицам, на площадь с четырех идет сторон краснолиственная роща златобуквенных знамен».

Вера Инбер, пользуясь приемом наложения или совмещения фигур, сливает воедино «мальчишку наших городов» с Гаврошем парижских баррикад, на которых пятьдесят лет тому назад, как и у нас в дни Октября, «был убит не один Гаврош, не тот, так другой».

И, наконец, Алексей Окулов в рассказе «Хлебушка» проводит через кромешные голодные поволжские дороги неприкаянную мужицкую семью и в детскую советскую пристань вводит только двух уцелевших детишек.

Можно сказать, торжественный литературный парад утверждения советского мира. Однако художественная ценность этих утверждений далека от законченной и покоряющей убедительности, несмотря на разницу в дарованиях и в их реализации в данном альманахе.

Константину Минаеву больше удались фигуры и сценки побочные и эпизодические, чем центральная фигура селькора и пореволюционный облик советской деревни. Есть, правда, жутко схваченная в воспроизведении юродивого-дурачка Ивашки с его «цаво» и «не хоцу», опаиваемого самогоном и подстрекаемого к убийству. Отчетлив и натурален исполкомовский сторож Ивантий. Предисполкома Овсянин — деревянен, бедняк Лапаев — оловянен. Селькор Светляков изготовлен на игрушечных фабриках Резинотреста. Остальные фигуры не сделаны даже из такого осязаемо-ощутительного, хотя и не совсем пригодного материала. Драма селькора зарегистрирована фактами преследования, не спроектированными в душе его. Автору нельзя отказать в достаточной последовательности, с какой он, хотя и медлительно, разворачивает действие.

Л. Никулин — в этом последнем смысле грешит в своей повести «Гнилое лето». Она спутана и не связана. Сжато, коротко и более или менее метко передана «гнилая» среда — салонная, ресторанная. Куда меньше точности и четкости в изображении среды солдатской, казарменной, в попытках пунктирного обозначения прообраза победителей-большевиков. Повесть перегружена обстановочными описаниями.

Резко, определенно и с ясностью, не допускающей никаких кривотолков, зарисованы эпизоды голодного хаоса в рассказе А. Окулова. В сцене опаивания голодной Марфуши, ее изнасиловании, передачи ее «пропащей» участи, в повешении ее матери, проспавшей изнасилование дочери — нет излишней подчеркнутости.

Если бы вещи участников альманаха расположить по некоторой шкале, взяв критерием наименьшую тенденциозность и наибольшее художественное воздействие, то на первом месте из поэтических вещей очутилось бы стихотворение Асеева, а из прозаических — Окулова.

С. Пакентрейгер.

———

Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. Зеленым. Введение, примечания и редакция Н. К. Пиксанова. Изд. «Московск. Рабочий». М.—Л. 1925. Тираж 5.000. Стр. 143.

С выходом в свет этой книжки мы имеем теперь письма Чернышевского к Некрасову и Добролюбову, напечатанными полностью (плюс его письма к литератору Зеленому).

Новое собрание писем Чернышевского составила коллекция рукописного фонда музея имени Чернышевского в Саратове. Из этого фонда редактором настоящей книжки Н. К. Пиксановым извлечено целых 22 письма, доселе нигде не напечатанных. В целях придания публикуемой переписке Чернышевского целостного характера, редактором кроме того прибавлено восемь писем, уже появлявшихся в печати; впрочем, часть из них была опубликована ранее не без некоторых дефектов, каковые в настоящем издании исправлены. Переписка комментирована проф. Н. К. Пиксановым весьма тщательно. Помимо отдельных примечаний и вступительного предисловия в книге имеются еще три небольших статьи, посвященных взаимоотношениям Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и Зеленым.

Содержание писем весьма значительно. Письма открывают нам ряд совершенно новых черточек в общем облике Чернышевского, устанавливающих глубокое богатство его даровитой натуры. Письма открывают его широкий взгляд на поэзию вообще. В письме от 5/11—1856 г. мы находим, например, следующие строки: «...поэзия сердца имеет такие (же) права, как и поэзия мысли...» и далее: — «я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения».

Письма Чернышевского подчеркивают огромнейший интерес его к творчеству Некрасова, показывают то большое значение, каковое имела для Чернышевского лирика Некрасова. Совершенно справедливо пишет редактор переписки, что «через переживания Чернышевского историк начинает острее понимать как психику социальной среды, воспринимавшей поэзию Некрасова, так и глубокие основные особенности его поэтического творчества». Некоторые фразы и намеки, разбросанные в разных местах писем Чернышевского, указывают на то, что личная жизнь играла для нашего знаменитого публициста в некоторые моменты его существования несколько бо̀льшее значение, чем это было принято думать до сих пор. Эти признания самого Чернышевского могут послужить хорошим дополнением к известной книге Пыпиной о жене критика. Эпизод с Т. Гринвальд, фигурирующий в переписке Чернышевского с Добролюбовым, дает нам новую конкретную иллюстрацию к постановке женской проблемы у шестидесятников. Помимо всего указанного, письма Чернышевского содержат в себе ряд сведений по изданию журнала «Современник» и ряд отзывов Чернышевского о Белинском, Полевом, Каткове (К. — «положительно глуп»), Герцене (сообщая Добролюбову о своей тайной поездке в Лондон, Чернышевский так выразился о виденном им там Герцене: «Кавелин в квадрате — вот вам все»), в письмах содержится ряд сведений о цензуре и цензорах.

Письма датируются 1855—1862 г.г.

Арк. Глаголев.

Е. В. Сказин. Восстание 14 декабря 1825 г. Изд. «Московский Рабочий». Москва—Ленинград. Стр. 84. Тираж 7.000.

С. Малиновская. Декабристы. Исторический очерк с портретами декабристов. Гиз. 1925. Стр. 56. Тираж 10.000.

Декабристы (1825 — 1925). Сборник статей и материалов. Под ред. и с предисл. С. Я. Штрайха. Изд. «Молодая Гвардия». Москва. Стр. 286. Тираж 5.000.

К. Раткевич. Первые борцы против самодержавия (декабристы). Изд. «Прибой». Ленинград 1925. Стр. 216. Тираж 6.000.

О. К. Буланова. Роман декабриста. Декабрист В. П. Ивашев и его семья. Изд. Всесоюзн. Об-ва политкаторжан. Москва 1925. Стр. 256. Тираж 5.000.

«Наш скорбный труд не пропадет: из искры возгорится пламя... и вновь зажжем огонь и с нею грянем на царей, и радостно вздохнут народы», — так отвечал декабрист А. И. Одоевский Пушкину на его знаменитое стихотворение, посвященное декабристам и посланное им на каторгу. Одоевский был прав. Из искры, брошенной декабристами в 1812 г., разгорелось большое пламя свободы. Спустя 100 лет, русский пролетариат с гордостью вспоминает эту небольшую группу революционеров, ринувшихся в неравный бой с самодержавием, первыми поднявшими знамя вооруженного восстания для свержения царизма и уничтожения режима рабства и гнета.

Но недостаточно, выражаясь словами Пушкина, «радостно принять декабристов», «мало вернуть им меч борьбы». Необходимо понять, осознать это крупное событие в истории революционного движения в России, нужно изучить историю декабрьского восстания 1825 г., основные лозунги которого нашли место и на революционных знаменах предоктябрьской борьбы.

Этой цели и должна служить литература, выпущенная к 100-летнему юбилею восстания.

Небольшая работа Е. Сказина представляет собой живо написанный популярный исторический очерк подготовления и хода восстания декабристов. Последнее рассматривается им, как, главным образом, военное вооруженное выступление, почему изложению фактической истории выступления декабристов автор предпосылает отдельную главу, посвященную организации и быту армии того времени. Это, конечно, правильно. Но у т. Сказина, сконцентрировавшего центр своего внимания на армии, получилась некоторая односторонность в осве-

щении всей истории восстания 1825 г. Реально эта односторонность сказалась на характеристике социально-экономических предпосылок декабрьской революционной вспышки. В том виде, в каком ее дал автор, нужно признать таковую недостаточной.

Тов. Сказин в начале своей работы, правда, подчеркивает основную цель, которую поставили себе декабристы, — «дать мощный толчок экономическому развитию» (6), затем делает небольшое упоминание об антагонистических отношениях между торговым и промышленным капиталом тогдашней России (4, 5), но все это взятое вместе не исчерпывает всей социально-экономической сути движения.

Как известно, конфликт между достаточно сильным торговым капиталом и слабым, почти зачаточным промышленным капиталом России, к концу первой четверти XIX столетия особенно обострился. В то время как торговый капитал в своем политическом выражении олицетворял абсолютное самодержавие и рабскую крепостническую систему того времени, промышленный капитал политически выражал совершенно противоположную тенденцию. Он был в оппозиции всей абсолютистской системе и эти оппозиционные настроения были именно той первой вехой буржуазно-революционного движения, лозунгом которого, по правильному замечанию тов. Сказина, было «ликвидация остного права и самодержавия и установление буржуазно-демократического строя» (5). К этому же, собственно говоря, сводилось и социально-политическое credo декабристов. Мы выделили основной момент, вызвавший восстание. Было, конечно, и много других (франко-русская война 1812 г. и злосчастный Тильзитский мир, развитие внешних сношений и т. д.), о которой в рецензируемой книге мы почти ничего не находим.

Описывая моменты ликвидации восстания на Дворцовой площади, автор, между прочим, останавливается на вопросе об изолированности декабристов. Совершенно прав тов. Сказин, говоря, что декабристы «не привлекли народ к активному революционному сотрудничеству, не организовали народные массы, стекавшиеся к ним на площадь» (65). Но не делалось это не только потому, что декабристы удовлетворялись нравственной поддержкой народа. Вовсе нет. Декабристы боялись масс, они страшились всенародного восстания.

Повторяем: тов. Сказин отобразил декабрьское восстание в определенном, несколько суженном разрезе и в этом смысле дал исторический очерк, заслуживающий внимания читателя.

Исторический очерк С. Малиновской является попыткой изложить восстание декабристов в доступной, популярной форме для детей и юношества. К сожалению, эта попытка автору не совсем удалась. Общеизвестно, что писать популярно, приноравливаясь к определенной категории читателей, — дело достаточно трудное, серьезное и, можно сказать, ответственное. Рецензируемая брошюра как раз и страдает отсутствием необходимой серьезности. В результате мы имеем: неудачное «приноравливание» к уровню сознания читателя, обычные в таких случаях преувеличения, отклонения от исторической истины и т. п. Вот несколько иллюстраций.

Характеристика самодержавия. Оно опирается на дворянское сословие, осыпает его милостями, дарит земли, отдает «в пользование» крестьян. Дворянство же за это «охраняло трон, когда царю угрожала опасность» (3). Павел I «отличался жестокостью злодея», хотя он умел и плакать и произносить пышные речи. Но хуже всего то, что «после своих пышных слов он утвердил рабство многомиллионного крестьянства» (5). Пестель был куда радикальнее Рылеева. Он «считал необходимым всякую даже тень (?!) аристократического порядка, основанного на богатстве, совершенно и навсегда удалить» (26).

Есть еще один существенный момент, невыгодно отличающий этот очерк: автор всячески старается превратить декабрьское восстание в хороший, интересный рассказ. Поэтому декабристы настолько идеализированы С. Малиновской, что, пожалуй, не остается никакого места для критики их политики и тактики. Конечно, никогда не следует отягощать подобную популярную литературу разного рода «философскими» рассуждениями, но нельзя

проходить мимо тех исторических факторов, которые должны преподноситься даже детям в надлежащем критическом виде.

Сборник статей и материалов «Декабристы», составленный С. Я. Штрайхом, должен быть признан очень полезным пособием для всестороннего ознакомления с историей этого восстания, с идеями декабристов и с отдельными крупными фигурами — участниками движения. Составитель избрал удачный метод расположения материала; предпосылая всему сборнику свое предисловие, он расположил все статьи в таком порядке, что читатель может в известной последовательности получить представление не только о самом восстании, о лицах, участвовавших в нем, но также и о социально-экономических и политических предпосылках, оказавших влияние на это первое вооруженное выступление против русского самодержавия.

В этом смысле, составитель дал очень интересное сочетание отрывков: из «Очерков по истории революционного движения в России XX и XX веков» М. Н. Покровского, из записок декабриста И. Д. Якушкина («Помещик-декабрист»), из «Курса политэкономии» проф. Шторха («Влияние рабства на развитие хозяйства»), из письма декабриста Якубовича к Николаю I («Крестьяне») и т. д. Следует также выделить главу «Николай I и декабристы» (199—217), из отрывков которой читателю станет ясной подлая роль этого деспота, под маской «великодушия» которого скрывалось лицо подлинного палача.

Издан сборник хорошо. Опечаток очень мало. Чрезвычайно интересны зарисовки. Мы не задумываясь рекомендуем этот сборник даже и вне зависимости от юбилея.

Почти в таком же духе, как вышеприведенный сборник, К. Раткевичем составлен сборник отрывков из воспоминаний, конституционных проектов и показаний декабристов. Отличаются оба сборника друг от друга построением и тем, что второй из обоих посвящен главным образом произведениям самих декабристов.

Несмотря на достаточную стройность построения этого сборника, в нем все же имеются слабые стороны. Ни из одного приводимого в сборнике отрывка нельзя уяснить, какова же была экономическая структура России накануне XIX века. Правда, на этот вопрос как будто отвечают выдержки из записок Трубецкого и Якушкина (№№ 7, 8 и 9), но, касаясь исключительно крестьянского вопроса, они характерны больше как отклики на уязвленное национальное самолюбие (возмущение презрительным отношением Александра I к русским людям, крестьянству; признание отсталости России от Западной Европы и т. д.), нежели объективные прогнозы. Отсутствуют также в сборнике материалы, которые могли бы дать характеристику восстания с точки зрения нашей действительности. Без этого многое из приведенного материала остается для широкого читателя беллетристикой.

Мы не склонны, однако, считать, что эти слабые места понижают общую ценность сборника. В том виде, в каком материалы К. Раткевичем собраны, проредактированы и снабжены примечаниями, они окажут читателю, которому мы рекомендуем настоящий сборник, несомненную пользу.

Издан сборник удовлетворительно.

Роман декабриста В. П. Ивашева, написанный О. К. Булановой, по указанию автора предисловия к этой книге — С. Я. Штрайха, — представляет собой «яркий эпизод в истории общественного движения первой половины XIX века». Это действительно так. Автор романа О. К. Буланова — внучка декабриста Ивашева, погибшего на каторге в Сибири — собрала в одно целое интересную переписку между сосланным дедом и его родными, а также ряд материалов из семейного архива Ивашевых. В романе, в переписке нас, конечно, интересует не романическая часть ее (правда, она чрезвычайно интересная), а та часть, которая отразила в себе события и идейное бытие декабристов в обстановке каторги. Из писем жен декабристов — Волконской и Нарышкиной,— из ряда других писем можно с особой конкретностью уяснить, как глубока была борозда, проведенная Николаем I в русском обществе, в верхах его, после подавления декабрьского восстания. «Застоявшаяся мысль стала напри-

женно работать, мозги прояснились, и сильный сдвиг произошел в настроении даже самых отсталых людей» (Штрайх). И в этом отношении автор внесла в литературу о декабристах, об общественных настроениях того времени чрезвычайно характерный и интересный для дальнейшей разработки материал.

«Романом декабриста» эта книга названа потому, что в ней изображена первая любовь девушки (Камиллы Ле-Дантью) к Ивашеву, не смевшей, однако, мечтать о браке с ним, ввиду разности их социального положения (Камилла была дочерью гувернантки), и скрывавшей свои чувства от окружающих. Во время острой болезни, в бреду, девушка открыла свою тайну. Об этом узнали родные сосланного Ивашева; чувства девушки нашли у них широкий отклик; они сносятся с сыном, добиваются разрешения жандармских властей на переезд Камиллы в Сибирь, и после долгих хлопот молодые люди, наконец, соединяются. Счастье, однако, оказалось недолгим. Через восемь лет Камилла умерла после родов, а через год умер в тоске по ней и сам Ивашев. Таков трагический конец этого действительного романа.

Рецензируемая книга безусловно заинтересует читателя и не только как роман декабриста, а как повесть о людях, с которыми наше поколение перекликается многими голосами.

Издана книга образцово.

И. Браславский.

М. М. Исаев. Общая часть уголовного права РСФСР. Гиз. Л. 1925. Стр. 199. Отпечат. 7.000.

Наука советского уголовного права насчитывает уже пять-шесть работ и учебников общего характера. Имеются и труды, посвященные отдельным вопросам уголовного права, в частности учению о судебно-исправительных мерах. Среди всей этой литературы книга проф. Исаева занимает свое особенное место, отчасти благодаря историческому подходу, принятому М. М. Исаевым к своему предмету, отчасти же по причине своеобразия некоторых развиваемых автором взглядов.

В предисловии М. М. Исаев сообщает о том глубоком впечатлении, какое произвела на него стачка ткачей в Криммитшау (Саксония) в 1903–1904 годах, впервые раскрывшая перед молодым в то время ученым «всю глубину противоречий капиталистического строя и невозможность изжить их без социальной революции». Участникам Криммитшауской стачки посвящена книга, и воспоминаниями о них навеяна, повидимому, вторая основоположающая глава, в которой автор изучает преступление как нарушение наиболее важных интересов господствующих классов. Это понимание превосходно оттеняется обстоятельным анализом деяний, которые, считаясь в буржуазном обществе вполне законными или в лучшем случае незначительными нарушениями, представляют по существу тягчайшее посягательство на жизненные интересы трудящихся (главным образом на их жизнь, здоровье и трудоспособность, в связи с различными нарушениями фабричного законодательства, и т. п.). Отсюда автор делает вывод о правовом лицемерии буржуазных демократий и заостряет его, квалифицируя существование капитализма как «величайшее в мире преступление» (39). Это сказано немножко сильно, принимая во внимание детерминизм исторического процесса вообще а революционную роль капитализма ... сравнению с предшествующими формами общественного строя в частности. ...о ввиду склонности автора к одному ... видов этической оценки, который он ... значает как правовое осуждение (146). ...добная характеристика гармонирует с о...щим тоном его книги.

В последующих главах автор дает очерк развития советского уголовного права, предпослав ему краткое описание уголовного права, действовавшего у нас до 1922 года. Ценность этих глав книги М. М. Исаева уже признана в литературе, здесь стоит особо отметить лишь характеристику движения преступно... бы с нею в 1917—18 годах, основа... на малодоступных, заботливо собра... автором газетных и журнальных ма... риалах, и являющуюся источн...

ных сведений и тольдля юриста, но и историка исоциол И, наконец, вторая, бóльшаяпо объ часть книги представляет составлени по обычному школьному план и впе отвечающий потребностям юридичес образования в РСФСР опыт общей ории советского уголовного прав.

Для книги характер подчеркивание агитационно-воспитатеого значения уголовного прав (13 по сравнению с его непосредстенно гулирующим действием. Отсюда втека упомянутая уже выше редкая в маркс ской литературе положительная оценкаравового осуждения, как таковго. Оода же и ошибочное суждение повтормое автором вслед за А. Пионтковским), удто индивидуальные посягательства удящихся, направленные на блага прставителей имущих классов (краха, насилование, разбой и т. п.), накаэуютсяишь с целью дисциплинированияи охраны классового сознания самих рудящхся (133). Необходимо раз навсегда покончить с псевдоклассовой и унизительной для пролетарского правосознания теорией, будто жизнь ребенка или половая неприкосновенность женщины из буржуазной среды охраняются только «косвенно», только в целях борьбы с деморализацией трудящ с я, а не потому что эти блага стоят под прямой защитой советского закона.

Сказанным я ограничусь, не касаясь других спорных положений автора, имеющих более частный интерес. С удовлетворением можно отметить, что книга написана ясным и занимательным языком, изобилует хорошо подобранными примерами и оживлена (местами с чрезмерной роскошью) многими фактами из области личных наблюдений автора. С внешней стороны издание прилично, и даже корректура выполнена с необычной тщательностью. Единственное, что портит вид книги, это нелепая обложка, сделанная в каком-то солдатско-календарном стиле.

И. Ильинский.

Редакционная коллегия: А. Воронский. Издатель: Государственное Издательство.
В. Сорин.
Ем. Ярославский.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

От земли и городов:

Литературные края:

Критика и библиография: